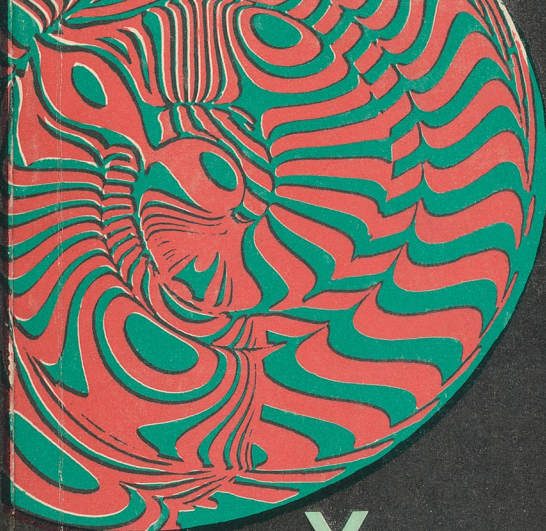


ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА...

ЧЕГО
ХОЧЕТ
ЖЕНЩИНА...

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛИНОР»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ
ЖЕНСКИЙ РАССКАЗ



Книга выпущена по итогам
международного конкурса
на лучший женский рассказ.

Соучредители конкурса:
женский клуб «Преображение»
журнал «Октябрь»
Колумбийский университет
/Нью-Йорк, США/
Акционерное общество «Биопроцесс»

Издательство «Линор»
ООО «Амрита»
Москва 1993

НИНА ГОРЛАНОВА
ЕЛЕНА КАПЛИНСКАЯ
АЛЛА СЕЛЬЯНОВА
ЛЮДМИЛА АГЕЕВА
МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТЛАНА БОИМ
АНАСТАСИЯ ВОЛЕК
НАДЕЖДА ГОЛОСОВСКАЯ
МАРИЯ КИРПИЧНИКОВА
МАРИНА ПАЛЕЙ
РАДА ПОЛИЩУК
ОЛЬГА ТАТАРИНОВА
МАРИНА УРУСОВА
ОЛЬГА ЛОБОВА
ОЛЬГА ЛОЖКИНА
ЛЮБОВЬ РОМАНЧУК

Х
ЧЕГО
Ч
ЖЕНЩИНА..
Т



**СБОРНИК
ЖЕНСКИХ
РАССКАЗОВ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛИНОР»
МОСКВА 1993

ББК 84(0)6

Г 69

Г 69 **Чего хочет женщина...**: Рассказы/Сост. по результатам Международного конкурса; Вступ. статья Е.Трофимовой. — М.: Линор, 1993. — 320 с.

Художник *О. Константинов*

Сборник составлен по результатам проведенного в 1992 году Международного конкурса на лучший женский рассказ. В книгу вошли 16 рассказов писательниц, как уже заявивших о себе на страницах журналов и книг, так и тех, для кого конкурс стал литературным дебютом.

ISBN 5-900541-07-X

© А/О "Биопроцесс". Содержание, 1993

© О.Константинов. Оформление, 1993

© Е.Трофимова. Вступ. статья, 1993

“Чего хочет женщина — того хочет Бог”, — гласит известная пословица. И среди этих желаний есть присущая всякому мыслящему человеку потребность передать свои переживания, чувства, эмоции в художественной форме, в красках и словах...

О женской литературе, причем не только о ее эстетических, стилистических и психологических особенностях, а о самом праве существования этого понятия ведутся давние и до сих пор не утихающие споры. Однако сам факт этих споров, по-моему, является доказательством, что она, женская литература, все-таки существует.

Может быть, как продолжение этого спора и родилась идея провести конкурс на лучший женский рассказ, хотя для этого имелись и другие причины. Драматическое время крушения советской империи сказалось не только на судьбах народов и отдельных людей: изменение политических и экономических реалий с неизбежностью отражается и на состоянии духа, а следовательно — искусства и литературы. В периоды трансформации, когда старое безвозвратно уходит, а новое лишь начинает формироваться, неизбежно наступает ощущение неуверенности, пессимизма, отчаяния. Под влиянием жизненных невзгод девальвируется ценность художественного творчества, возникает ощущение гибели искусства. И здесь, чтобы противостоять гипнозу распада, чрезвычайно важны новые культурные инициативы, помогающие продолжать и развивать интеллектуальную деятельность общества, возвращающие

творческой личности осознание важности и нужности своего труда.

Мысль о проведении конкурса родилась в 1991 году среди членов женского клуба "Преображение", причем определенную роль в ее появлении сыграло участие в конференции, посвященной творчеству российских и американских женщин-писательниц, состоявшейся в Нью-Йорке в начале того же года. Устроители нью-йоркской конференции — преподаватели кафедры славистики Колумбийского университета, с энтузиазмом откликнулись на предложение стать одним из учредителей конкурса. С российской стороны кроме клуба "Преображение" в состав учредителей вошел журнал "Октябрь", в качестве основного спонсора выступило акционерное общество "Биопроцесс", оказавшее значительную финансовую поддержку этому начинанию. Именно благодаря заинтересованному отношению генерального директора А/О "Биопроцесс" А.С.Казбекова, его пониманию важности поддержки новых культурных инициатив была создана возможность организации четкой и бесперебойной работы жюри, группы рецензентов и редакторов, а также подготовки и выпуска этого сборника.

Несмотря на то, что конкурс в первую очередь был ориентирован на писательниц из России, среди более чем пятиста поступивших в адрес жюри рукописей были рассказы, присланные из Америки, Финляндии, Дании, Франции, Испании, Италии, Латвии, Украины, Белоруссии. Россия была представлена также достаточно широко; бандероли с текстами приходили и с Дальнего Востока, и из Сибири, с Севера и с Юга, не говоря уж о Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, такой достаточно активный отклик на эту инициативу был приятным сюрпризом для устроителей, поскольку давал надежду внести свой вклад в еще один важный процесс развития современной российской культуры, а именно — способствовать слиянию в единое целое литературы русского зарубежья с литературой метрополии.

В состав жюри конкурса вошли писатели, поэты, критики, литературоведы — Фазиль Искандер, Владимир Маканин, Зоя Богуславская, Лев Рубинштейн, Галина Белая, Мария Михайлова, Елена Трофимова. Естественно образовалась и "американская" часть жюри, состоявшая из Марины Ледковской (Колумбийский университет) и Елены Гошило (Питсбургский университет). Таким образом, был сформирован состав, который позволял прочитывать поступающие рукописи как бы

под различными углами "творческого зрения" и давал надежду на объективность конечных оценок.

Надо отметить, что уровень многих рассказов был достаточно высоким, и перед жюри стояла проблема выбора лучших рассказов.

Если говорить о рассказах, удостоенных трех первых премий, то как будто здесь особых сенсаций не произошло: их получили писательницы, которые уже заявили о себе на страницах книг и журналов. У пермской писательницы Нины Горлановой вышли два авторских сборника, кроме этого ее рассказы вошли в книги "Не помнящая зла" (1990), "Чистенькая жизнь" (1990), "Новые Амазонки" (1991), "Абстинентки" (1991); у Аллы Сельяновой из Санкт-Петербурга вышел собственный сборник рассказов "Позови меня" (1992) в издательстве "Детская литература", не обошла своим вниманием литературная фортуна и третьего лауреата конкурса — москвичку Елену Каплинскую, известную не только постановками пьес в театрах и на телевидении, но и опубликованными повестями и романами. Читателям несомненно известны имена и Ольги Татариновой, Марины Палей, Рады Полищук и Марины Урусовой, рассказы которых также были отмечены жюри и вошли в этот сборник.

Однако конкурс дал и новые имена. Дело в том, что наряду с первыми тремя премиями учредителями было предусмотрено и поощрение более широкого круга участников путем включения лучших рассказов в сборник. И вот здесь, в рамках более широкого выбора, к нашему удовлетворению мы сможем познакомить читателя с теми женщинами-писательницами, для которых конкурс стал долгожданным литературным дебютом. Это Мария Кирпичникова и Марианна Александрова из Москвы, Людмила Агеева из Санкт-Петербурга, и Светлана Боим из Бостона (США), Анастасия Волек из Парижа (Франция). Также в сборник вошли три рассказа (Ольга Лобова "Лёнины сны", Ольга Ложкина "Первый", Любовь Романчук "Кибер"), отмеченные специальным жюри женского клуба "Преображение" за феминистский подход автора к раскрытию темы, работавшего под руководством президента клуба Дианы Медман.

Несмотря на неизбежную, связанную с самой природой литературного конкурса, непредсказуемость выдвинутых на премию и отображенных в сборник рассказов, можно с удовлетворением сказать, что они составили достаточно объемную и многогранную картину женской прозы, как в отношении манеры и стилистики письма, так и в выборе сюжетов.

Читатель наверняка оценит психологическую точность прелестной миниатюры Людмилы Агеевой ("Мы жили в Самарканде"), где

автор воссоздает всю гамму переживаний ребенка в период расставания со своим детством — “жизнерадостным бессмертием”. Внутреннюю эволюцию переживают и герои рассказа Нины Горлановой (“Любовь в резиновых перчатках”), написанного в оригинальной коллажной форме, составленной из дневниковых записей, разговоров группы людей, связанных общими воспоминаниями о студенческой юности. Однако на развитие характеров персонажей рассказов здесь напрямую влияют политические события — от “Пражской весны” 1968 года до новации недавней “эпохи перестройки”, заставляя каждого делать свой нравственный выбор. В то же время, несмотря на достаточно политизированный сюжет, автора не покидает изящное остроумие.

Надеюсь, что читатели обратят внимание на проникнутый чувством самоиронии рассказ Анастасии Волек “Моя богиня”, где проблема выбора и расплаты разворачивается на фоне совсем иной географической сцены. Автор погружает нас в эмоциональный мир эмигранта, у которого обретение свободы, достоинства и сравнительного достатка неизбежно связаны с потерей родины, разрывом с друзьями и близкими.

Однако не только темы страдания, выбора или потерь становятся предметом художественного исследования современных женщин-писательниц. Среди рассказов, включенных в сборник, мы находим весьма необычный сюжет Марианны Александровой (“Ненаписанное письмо”), где достаточно традиционная для нашей литературы военная тематика обретает совсем нетрадиционную мистическую трактовку. И уж откровенно фантастичен рассказ Надежды Голосовской “Болотный гость”, где спасенный из болота дедом Мазаем человек на деле оказывается упырем...

Хочется отдать дань произведению Марии Кирпичниковой, которая в восемьдесят семь лет написала искрящийся юмором и оптимизмом рассказ “Моя краткая биография”.

Конечно, этот сборник ни в коем случае не может рассматриваться в качестве некоего манифеста нового движения или декларации определенного литературного поколения — возрастной и стилистический диапазон текстов, как мы видим, очень широк. В этом отношении организаторы конкурса не питали излишне оптимистических иллюзий. И все же думается определенное внутреннее единство в нем присутствует. Единство это не связано с формально-техническими качествами того или иного текста: они достаточно разнообразны; связь представленных в сборнике произведений заключена в экзистенциальной, подсознательной и эмоциональной сфере их авторов. То есть в той области, где только и можно искать аргументы в спорах о

правомочности существования понятия “женская литература”. Ведь наряду с некоторыми универсальными, общечеловеческими проблемами, которые переживаются обществом как бы усредненно-социально, “вообще”, существует и, как это принято сейчас говорить, гендерный аспект этих переживаний. Вполне понятно, что женщина одну и ту же ситуацию, общего или частного порядка, видит несколько иначе, нежели мужчина, что часто выражается не столько в самих логических заключениях по тому или иному поводу (они могут в достаточно большой степени совпадать), сколько в эмоциональной их окраске, в качественной, а не количественной их составляющей. Я не думаю, что эта мысль нова, но она дает возможность в определенной степени поддержать сторонников выделения женской литературы в особую категорию и превращения ее в предмет серьезных исследований. Ведь именно эмоциональная сфера, а не строгая логика, лежит в основе художественного творчества, именно в ней рождается образный строй поэзии и прозы, именно она придает тексту полифоничность и глубину, богатство оттенков и полутонов.

Поэтому, кроме всех прочих задач, конкурс женского рассказа был призван выполнить и эту задачу: выявить женский взгляд на окружающую нас жизнь, показать как она воспринимается, ощущается и переживается той частью человечества, которую это человечество продолжает считать лучшей.

Елена Трофимова



Я родилась 23 ноября 1947 года в деревне В. Юг Пермской области (широту и долготу посмотреть) — под созвездием Стрельца, холериком и экстравертом. На счастье, Бог послал меня в жизнь со слабым здоровьем, и это спасло меня от многих и многих бед: так, я всего лишь один раз вышла замуж, могла бы пять. Родила я всего четверых детей от своего мужа, а будь здоровье покрепче, я бы могла родить восемь без мужа!..

А когда я начала писать прозу и бороться с режимом, на мое слабое здоровье наложилось плохое здоровье приемной дочери — мы ее и взяли-то потому, что в детдоме она б умерла..

Недавно я поняла, что здоровье ослабло настолько, что не могу бороться даже за любимую демократию! Остается только писать.

НИНА ГОРЛАНОВА

ЛЮБОВЬ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ

— Я, дети, сама смеялась, грешная, когда читала письмо Капы: “Пишу тебе с вокзала. Народу много. Бога нет...” Вы думаете: повсюду мы искали Высшую Истину, в том числе — на вокзалах? Увы, мы же безбожниками росли и на вокзалах искали эту, как ее, романтику. “Народу много, Бога нет” означало примерно то же, что “в огороде бузина, а в Киеве дядька”. Быть несерьезными нам казалось важнее, чем поиск Истины...

(Н.Г., 1992 г.)

“Все мужчины подлецы, кроме Игоря!”

(Поговорки 1968 г.)

— Ты мне налей, налей еще, и я все скажу!.. Налил! От души оторвал? Душа у тебя бесконечная? Бесконеченький ты наш!.. Эх, сегодня видела во сне: ко мне на день рождения Бродский прилетел. Не Процкий, бля, а Бродский!..

(Грезка — Бобу, 1992 г.)

“68-й год. Наши танки уже в Чехословакии!” — любимая присказка Царева. “Так, это уже 68-й год, Гринблат меня бросила — я жухну, чахну, вяну, хлорофилл иссыкает (все это произносится бурно!), а наши танки уже в Чехословакии”.

(Из дневника Дунечки)

— Слыхали? Крючок передачи получает! Другие ГКЧПисты - тоже! А мы, когда находились под следствием в 69-м, твердо знали: пока не закончится — никаких передач!..

(Рома Ведунов, 1991 г.)

— В КГБ никак не могли вычислить состав клея, на котором держались листовки про события в Чехословакии. А это было малиновое варенье — Игорь от тети привез, из Голованова...

(Ката, 1969 г.)

— Сколько лет? Десять? Я еще вздрагивала, когда в письмах видела фразу: "Наварили малинового варенья". Для всех малиновое варенье — цвет беретта пушкинской Татьяны, а для меня - клей для листовок...

(Н.Г., 1992 г.)

— Какие тонкие люди живут в Перми!

(Л. Костюков, москвич)

— Странные вы, ребята! Столько лет: КГБ да КГБ... А это не самое страшное. Вот когда за тобой никто не следит, не интересуется... тут взвоешь! Хоть что твори. Раньше мною хоть милиция интересовалась — работать заставляли, то-се, а сейчас, как началась перестройка... никто не спрашивает... Бывало, выйдешь на обочину дороги, предложишь свое брэнное тело кому-нибудь — и разговор на всю ночь обеспечен. Русский такой, по душам... А сейчас все СПИДа боятся. Я тут к Бобу зашла в контору — они обсуждают, куда вложить свои капиталы, бля! В портвейн, говорю, как наиболее короткий способ перекачки физического в духовное...

— Грезка, ты так шутишь, что дети могут подумать... черт знает что...

— Не бей меня стулом по голове! Я буду лежать в могиле, и ты пожалеешь, что слишком часто била меня стулом по голове! И ведь в последние годы я уже долго не приходила в себя после этого, обмирала, а ты продолжала — нет бросить бы это дело!..

(Ну вот что с нею делать? Бесплезно просить не шутить при детях — горазнее все шутки становятыся...)

(Пьяные разговоры 1992 г.)

— Арбузники замедляют ход работы, потому что туалет слишком далеко!

(Игорь, редактор стенгазеты)

“Ни одно ископаемое животное не может быть несчастью в любви.

Устрица может быть несчастна в любви.

Устрица — не ископаемое животное.

(Л.Кэрролл)

“Надо ли записывать, почему мы выпускали стенгазету в резиновых перчатках? Вот у Бунина весь пол усыпан мертвыми золотыми пчелами, и ничего не разжевывается. Но Капа писала курсовую — нас замучила вопросами: почему пчелы? Так и получится: почему резиновые перчатки в 68-м году? Да потому что наша деканша дойдет до отпечатков пальцев, то есть до снятия оных с газеты...”

(Из дневника Дунечки, 1968 г.)

— Идем мы по Карла Маркса. Весна. Солнце светит изо всех сил. Яблони цветут тоже изо всех сил. И это розовое биополе группы нас окружает, марево такое. Вдруг Боб решил сорвать одну цветущую ветку! И сразу со всех яблонь все цветы осыпались, как снег. И розовое биополе клочками-клочками... порвалось все... И ветер разгоняется, насколько хочет. Продувает...

(Сон Н.Г., 1992 г.)

— Она его любила?.. Создатель! Она любила мысль свою, что лучше нее он никого не найдет! А Боб? Искал он, как все Дон Жуаны, свою эту, как ее, донну Анну! Но в то же время боялся найти — с донной Анной кто приходит? Командор, бля... Расплата...

(Грезка, 1992 г.)

— Когда было собрание коммунистов, деканша стояла в дверях аудитории: "Какое счастье — культ разоблачен, Сталин развенчан, и наконец-то мы можем быть самими собой! Но... мы еще не знаем, какими самими собой нам можно быть", и она совала свой пульс (рука в руку) доцентам мужского пола.

(Борис Борисыч, 1968 г.)

— Такие фразы надо писать струей мочи на снегу!

(Царев, 1968 г.)

— Мы со студенческого неба смеялись над ними: ОНИ НЕ ЗНАЮТ, КАКИМИ САМИМИ СОБОЙ МОЖНО БЫТЬ! Мы-то знали, какими нам быть, — сложными, все эпатировать...

(Н.Г., 1992 г.)

— Наша деканша, жена профессора-скотоведа (впоследствии — скотоведа), ради коммунистической идеологии все... обрезала всякие проявления человечности у себя. Кроме — эротической сферы. Так весной в городе обрезают ветки деревьев, чтобы не мешали электрическим проводам.

(Игорь, 1968 г.)

— Но деревья за лето снова отращивают нижние ветки. И деканша позволяла время от времени побеждать своему низу.

(Капа, 1968 г.)

— Собрание по культуре личности не худший повод для оргазма! Она говорила мне: ей достаточно дотронуться рукой... Правда, обычно она сразу падала на пол и закрывала глаза, а тут - стояла и стояла в дверях аудитории...

(Борис Борисыч — Нинульке, 1968 г.)

— В этом есть своя эстетика!

(Л. Костюков)

— Идеология была всегда! Даже у первобытных миф требовал жертвоприношений. Но то было как-то более естественно, как более естественна молния, содержа-

щая электричество. Она может убить, но случайно, а электрический стул совсем наоборот...

(Игорь, 1968 г.)

— Я, стыд головушке, я одна во всем виновата! Когда она подала к нам заявление, одновременно подал Волков, он сейчас в МГУ, знаете? Автор двух книг... И вот... он сделал две орфографические ошибки в заявлении. Ну, я решила выбрать эту... стыд головушке, парвеню... Я была ведь секретарем Ученого совета тогда!

(М.В.Гемпель, 1970 г.)

— По-моему, все было проще. В том году дочь деканши подлежала распределению. Пятый курс, что вы хотите! Поэтому мама была не прочь находиться со всем факультетом в отличных отношениях!.. Вот и совала свой пульс доверительно. Оргазмы, возможно, ранее и были, но в то время уже климакс сидел в кустах: пиф-паф!..

(Римма Викторовна, 1985 г.)

— Нет, ребята, слово "эротика" нам было незнакомо на третьем курсе! Это же 68-й год, наши танки уже в Чехословакии! Какая тут эротика?.. А вино "Эрети" мы назвали "Эроти" уже в 80-м году, когда наши танки вошли уже в Афган!

(Царев, 1985 г.)

— Передержанный шелк рвется, это и случилось у меня на медицине. Стала надевать халат — лопнула кофточка на груди. А Капа сказала: это надо запомнить — передержанный шелк!..

(Нинулька, 1968 г.)

— Капа на третьем курсе носила с собой зажигалку, открывалку и складную вешалку, последнюю — для того, чтобы ее вязаное пальто сохраняло формы. На арбузнике Боб грубо натягивал на Капино пальто свою кожаную куртку, сминая к черту все формы и спрашивая уже потом: "Можно?" — "Ну, если тебя это как-то греет".

При этом наши пальто валялись на столах аудитории, как тени.

(Н.Г., 1968 г.)

— Никогда я так его не любила, как во время арбузника, когда руки были стянуты резиновыми перчатками!

(Капа — Людмила, 1970 г.)

— Бабушка Капы была старая комсомолка, из рабфаковок. И Мурзик (отчим Капы) сделал ей бра, которое зажигается дерганьем за веревочку — как поднятие пионерского флага. Она была очень довольна!

(Четвергална, 1968 г.)

— Церковь новая, стены снаружи расписаны глазами: тут глаз, там глаз, как на рисунках молодого Боба, помните? Он все церкви в конспектах рисовал... Вхожу, а там двери, и на каждой написано, как на кабинетах. "Кто в сумлении". "Кто богохульствовал"... Я атеизм сдавала, значит, мне куда? Отпираю дверь к богохульствующим, а там лента Мебиуса как бы, на нее вступаешь, идешь — попадаешь к тем, кто "в сумлении". И вдруг выходишь во дворик, там курочки гуляют, бабочки порхают, бабушка сидит с книгой, молодой, светоносный... Лицо такое знакомое! И мне бы сойти с ленты Мебиуса этой, шагнуть к бабушке, но внутри кто-то говорит: иди дальше, иди, еще не все ты видела...

(Сон Грезки, 1992 г.)

— Грезка, я вот тут думала: а может ли быть счастливо наше поколение безбожников? Видимо, наше поколение будет навозом для других поколений. Мы уже сами поздно пришли к вере... Что ж, пусть гордо реет знамя навоза!

(Н.Г., 1992 г.)

— Нецелованный Сон-Обломов пришел на арбузник весь в звездах. Дети мелом на скамейке нарисовали, а он сел. Ну и на его широкоэкранный заднице много звезд поместилось! Боб сосчитал — не помню, уж сколько там было, но на бутылке коньяка у Боба столько же

звездочек оказалось. Надо сложить, надо, говорили они, уходя в зашкафье коридора с бутылкой...

(Кана, 1968 г.)

— Когда мы учились на третьем курсе, многие прозвища начинались со слова "сон". Самый коммунистический сон Веры Павловны, четвертый, достался нашей комсоргше. Сокращенно: Четверпална. У нее была ведь та же энергетика, что у Веры Павловны, но Господь не допустил повторения! Огромная родинка на кончике носа ставила преграду между нею и мужским полом... А меня тогда называли "Греза"...

(Грезка, 1992 г.)

— На Четверпалну как взглянешь, так вспомнишь, что пора платить комсомольские взносы!

(Боб, 1968 г.)

— Боб — единственный некомсомолец у нас. Поэтому в день юбилея комсомола он поздравил всех так: "От имени и по поручению несоюзной молодежи позвольте поздравить наших славных комсомольцев, каждому из которых сегодня исполнилось пятьдесят лет!" Я это помню — ситуация постороннего, он же всегда как бы ни при чем... А теперь — как он оказался в обкомовской кодле? И на партийные деньги это издательство расцвело, бля... По какой ленте Мебиуса он шел, чтоб туда попасть?

(Грезка, 1992 г.)

"Как церковь увижу, так Боба вспомню".

(Поговорка, 1970 г.)

— В колхозе Царев и Боб перед обедом напоминали Дунечке: "А теленочек плакал, когда его резали!" И она убегала плакать о теленочке, а мальчики делили ее котлету. Мы же разводили руками: самобытность мальчиков, ах, самобытность Дунечки, ах! До самобыДлости один шаг... Массы пока плакали над преступлениями КПСС, Боб и Царев скушали партийные денежки...

(Н.Г., 1992 г.)

— Можно вспомнить то или другое, все ведь случайно! Вот я беру в руку французское мыло и вспоминаю что? Как Гринблат — богоданная! — переметнулась от Царева к внуку проректора и уехала с ним в свадебное путешествие куда? В Париж! А мы на арбузнике делали стенгазету, посвященную Цареву. "Они уехали 39 часов тому назад!" — взрыднул Боб и пошел допивать коньяк... Ну, а сейчас посмотри на свои бусы из можжевельника! Тебе запах что? Писать помогает, так. А любовь Боба и Лариски в колхозе? В кустах можжевельника... Когда она забеременела и факбюро жаждало только сигнала, чтоб Боба оженить, Капа что ей при всех нас крикнула: "Милочка, ребенок — дело сугубо личное!" А мы это съели... Ну да, знаю, есть версия, что Боб спросил: "Как это только древние греки кровать придумали?", и тут Лариска пала... Но, возможно, именно в кустах можжевельника он про кровать вспомнил, знаешь...

(Сон-Обломов, 1992 г.)

— Какой длины был мундштуку Капы? Да вот такой, сколько портвейна осталось в бутылке... Половина. Точно такой длины.

(Грезка, 1992 г.)

— Капа, красивая, как Свобода на баррикадах Парижа, и осознающая себя ею, понесла один конец газеты в коридор. Боб нес другой конец. Он скандировал: "Октябрь уж наступил, уж Гринблат отряхает последние трусы с нагих своих ветвей"...

(Н.Г.)

"ИРОНИЧЕСКАЯ МОЗАИКА. Два слова о Цареве".

— Он старушке не уступит тропинку!

— У него начисто отсутствует чувство третьего лишнего. Мы вчера идем из альма-матер: я, одно утонченное создание и Царев. Уж я ему и так и эдак даю понять, чтоб оторвался. Он хоть бы хны!

(“Гоголевец”, 1968 г.)

— А шла-то с Бобом и Царем — я!

(Капа — Людмила, 1968 г.)

— Когда сняли перчатки, я спросила Капу: “Можно к тебе ночевать?” “Мамочка, ты же у нас общественный будильник, а через пять часов как общежитие встанет на медицину?” Ну, говорю, тогда, Боб, мы доверяем тебе женщин!.. Капу и Дунечку.

(Четверпална, 1968 г.)

“Когда Четверпална сказала: “Боб, мы доверяем тебе женщин”, Людмила расстегнула чехол, достала гитару и пропела:

Эх, кабы Волга-матушка да вспять побежала-а,
Кабы можно было да жизнь начать сначала.

Кабы дно морское да можно бы измерить,

Кабы добрым молодцам да можно было верить!

Какие великие песни у нашего народа! Как я люблю русский народ!”

(Из дневника Дунечки, 1968 г.)

— Вставайте, граф, рассвет уже полощется,

Из-за озерной выглянул воды.

И, кстати, та, вчерашняя молочница,

Уже поднялась, полная беды...

(Из любимой песни Боба, 1968 г.)

— Дунечку мы проводили, а возле ее дома грязыща, Боб поскользнулся и больно ударил меня в ногу. “Осенняя распутица толкнула их в объятия друг друга!” — обнял он меня. От него пахнуло отрыжкой. “Любка, Любка, выходи за меня замуж!” — сказал он.

(Капа — Людмиле, 1968 г.)

— Из всех ваших мальчиков на процессе вел себя достойно только один Боб. На вопросы следователей он отвечал односложно. “Вы состояли в тайном обществе знатоков истории?” “Нет”. “Но вы бывали в подвале детского сада?” “Да”. “Что же вы там делали?” “Пили”. “А о чем говорили?” “О бабах...”

(Рома Ведунов, 1992 г.)

— Году так в 87-м я пришла к Цареву на день рождения. Ну, все уже преуспевали, а у меня одно стихотво-

рение опубликовано... Почему, говорю, мне не везет? Боб как захочет:

— А ты попробуй продать душу!

(Грезка, 1992 г.)

— Мурзик жалобу написал: телеграммы не принесли тут... на его рождение. Они теперь нам мстят: носят по три раза одну и ту же телеграмму, поздно ночью и рано утром в том числе, чтоб досадить. Но на разных бланках. То розы, то гвоздики. Мы с Бобом поднимаемся по лестнице, а почтальон нас обгоняет с телеграммой. Я расписалась, почтальон разочарованно убрел вниз, а Боб: почему поздравительные телеграммы ночью?.. На бланке - каллы. Боб: "Если нас поздравляют, то ... ты мне еще не ответила!" "Совсем тебя развезло", — говорю... Такое уж у него хобби — всем объясняться. Опять его водевилит.

(Капа — Людмила, 1968 г.)

— Капа! Ты ведь не Лариска!.. ТЕБЕ он не посмеет так просто... Вот сейчас явится трезвый, с розами и на коленях повторит свое предложение!

(Людмила — Капе, 1968 г.)

— Сама я уже тогда знала, что Боб не явится ни с розами, ни без оных, потому что... не потому что я без оных была, а просто ... в любимой песне Боба граф что утром думает: "Что было ночью — словно трын-трава... Привет! — Привет! Хорошая погода. Тебе в метро, а мне вот на трамвай".

(Грезка, 1992 г.)

— "Гоголевец" висел на стене и привычно окурился читателями-почтателями. И весь посвящен мне! Капа стоит — брызгает духами на свою статью. Я говорю: хватит! Я польщен, но надо снять! Деканат нас в порошок сотрет! Кстати, познакомься, это Евка, манекенщица...

(Царев, 1968 г.)

— Боб ручку у меня поцеловал и спросил у Царева: "Где месторождение таких длинноногих?"

(Евка, 1968 г.)

— Помню: все читают "Гоголевец", тут же кто-то кому-то наспех пересказывает сюжет "Фауста", и вдруг все замерли. "Как говорил Фауст, чувства превыше всего..." — услышала я последнее из Гете. Галя Гринблат щелкнула волшебным своим зонтом, и он... начал складываться в огромный алый цветок. Волшебное! На всю жизнь я запомнила это чувство зависти! К капиталистическому чуду... В тот миг я просто не могла ненавидеть мир империалистов, понимаешь!.. Галин алый зонт — подкоп под коммунизм, я чувствовала это. Комсомольский значок прямо сжигал грудь. Такое вот раздвоение личности испытала... да-да... А в Париж Галя не ездила — Царек вечно все преувеличивал.

(Четвергална, 1968 г.)

— Ну, что тебе, Капа, сказал Боб? Ничего? Негодяй. Отмстить ему! Око — за зуб!..

(Людмила — Капе, 1968 г.)

— Людмилозавр, ты сегодня кровожадна, как никогда! Разве что женить его надо, чтоб не превращал в хаос жизнь женщин. Разум должен торжествовать над хаосом... Шерерша хорошо умела это делать — женить...

(Капа — Людмиле, 1968 г.)

"Галя Гринблат пришла на медицину и как ни в чем не бывало стоит читает наш "Гоголевец". На Царева просто жалко смотреть! Еще б секунда, и я все ей высказала б... Как можно бросить такого человека!"

(Из дневника Дунечки, 1968 г.)

"Мурзик научил меня от гайморита по-йоговски промывать нос подсоленной водой. Вкуса слез. Очень хорошо знаком мне этот вкус. Спасибо Бобу!"

(Из дневника Капы, 1968 г.)

— В ЦУМе встретила Мурзика. Чудеса! Он всегда ходил на Меньшикова, который с картины Сурикова "Меньшиков в Березове". Но перестройка же — и он

перестроился: ежик на голове, на американского бизнесмена стал похож.

(Н.Г., 1992 г.)

— А я сегодня видела нашу курносую, как смерть, деканшу и не узнала ее!

— Что, Грезка, она так изменилась?

— Нет. Я так изменилась. Склероз. Она первая поздоровалась...

— Грезка, у тебя это специально?

— Что?

— Кофта наизнанку. Помню: в детстве бабушка учила: если в лесу заблудишься, надо платье переодеть наизнанку, чтобы найти дорогу...

— Значит, вы думаете, что я заблудилась в жизни? А вы не заблудились — подстилаясь?

— Что?

— Навозом ложась под следующие поколения? Это самое что ни на есть заблуждение, советское. Опять жить ради светлого будущего... У вас валокординчик есть? Дайте, я выпью... да не каплями, а все.

(Разговор, 1992 г.)

— По коридору больницы ползли полчища пиявок. Там дневной свет еще — пиявки отливают зеленым... Ползут, как слепые в пространстве, словно спрашивая всем своим видом: зачем мы здесь оказались? Куда дальше двинуть?.. И тут встречаю Процкого. Он мне сказал: студенты-медики закончили опыты и слили в унитаз две огромных бутылки пиявок... а они вот ползают теперь по больнице...

(Боб — Сон-Обломову, 1968 г.)

— Боб закричал: "Ты присосалась ко мне, как пиявка! Тебя и в унитазе не утопить, как этих кровососов". Я вижу: с одной стороны, поносящий сын, с другой — словесно поносящий Боб... И тут я поняла: они послали его, чтоб мне показать, какой он негодяй... Чтоб меня окончательно столкнуть в яму. Я

сказала себе: выстою. Поцеловала Боба в щеку и ушла в палату.

(Лариска, 1968 г.)

— За что я не люблю вашего Боба — за несчастные глаза влюбленных в него женщин!

(Посторонняя, 1992 г.)

— Друзья и враги — это просто. Первые разделят и радость твою, и беду. Вторые, наоборот, порадуются твоей беде. А есть еще завистники: они только беду разделят. Но Боб — из тех, кто разделит только радость, приятное. Назовем таких людей — приятелями. Он не клюнул на Лариску и ее больного сына. Потому что он из ПРИЯТЕЛЕЙ. Кто сейчас может быть ему наиболее приятен — Евка!..

(Капа — Людмиле, 1968 г.)

“Литературка” как юмор подавала фразу “Шли годы . Смеркалось”. А уже наступала брежневская зима с ее идеологическими морозами. ОНИ УЖЕ ЗНАЛИ, КАКИМИ САМИМИ СОБОЙ НУЖНО БЫТЬ! А те, кто не знал, то и дело попадали под обстрел. Режим опять искал врагов и врагов! А тут на защите дипломов Римма Викторовна спросила у студентки: “Вот вы долго занимались заговорами, написали работу. А с чем могли бы вы сравнить их в современной жизни?” Студентка руками развела, а Римма: “С лозунгами. “Народ и партия — едины!” Это же типичное заклинание, заговор”. Все только восхитились Римминой мудростью. Это было весной 68-го. Ну а потом танки в Чехословакию, и деканша стала Римму гноить. С каждым днем смеркалось все сильнее...

(Н.Г., 1992 г.)

— Что у вас сделалось с Капой? Она словно все время ищет, на ком повиснуть! То под руку с Людмилой идет, то висит на Дуне!

(Римма Викторовна, 1968 г.)

— В самом имени Риммы я вижу отсветы Древнего Рима, где Сенека впервые выступил против доносительства.

(Игорь, 1968 г.)

— Помните: Мурзик с выражением ужаса на лице рассказывал, как ему не везет в командировках? Только сядет в Москве в купе, сразу вносят на руках пьяного спящего артиста Жженова! И он спит всю дорогу. И так несколько раз... Мурзик не мог найти материалистического ответа этому совпадению. А теперь "Огонек" опубликовал мемуары Жженова про то, как он в лагере мучился. Понятно уже, почему ему иногда хотелось напиться, но почему судьба его забрасывала в купе к Мурзику? Может, надо еще пожить, и это будет понятно...

(Грезка, 1987 г.)

— Казалось, весь мир интересуется только одно: сколько раз в день дитя испражняется, а также сам цвет и консистенция. Еще в соседней палате дитя кричало: "Хочется. Хочется!" Там кто-то всегда на голодной диете. Опять мой Димочка выпустил из заднего прохода струю крови. Врач сказал: "Крови я не боюсь, я воды боюсь!" И осекся, потому что у нас вода с кровью...

Дима уже с кровати не падает: сил нет шевелиться. А сальмонелл этих тысячи, и от каждой свой антибиотик. Но у нас ничто не высеивается — колют от противного. Если три дня колют одно — нет изменений, начинают другое, третье, девятое... Тут не до Боба!

— Подержите свое сокровище! — попросила меня медсестра и принесла капельницу. Но в вену так и не попала, вен уже не видно.

Когда мое сокровище посинело от крика, я оттолкнула капельницу и закричала: "Хочется! Хочется! Хочется!.."

(Лариска, 1968 г.)

— Спасал Игоря кто? Я лично ходила к Гемпель... Марья в одних носках ходила по кафедре с телефонной трубкой в руке: "Опять совет? Говорю тебе, Сережа, внук у меня дрищет..." Это она проректору, значит,

своему однокурснику. Тут сапоги ее разухабисто валяются в разных концах пола. Я вхожу.

— Что у вас, девочка? Да вы садитесь.

— У нас ЧП, Марья Васильевна!

— Опять внебрачный ребенок у Боба?

— Нет, хуже.

— Что — от Борис Борисыча? — Тут Гемпель тряхнула седыми кудрями и гордым шепотом мне поведала: — Поверите ли, на факультете я одна от него абортов не делала!..

— Марья Васильевна! Деканша Игоря затравила за "Гоголевец".

— А он что, у Риммы пишет курсовые? Тогда все понятно. Скоро перевыборы... Но строить карьеру на крови детей! Высшая степень падения... Кстати, как у вас дела с личной жизнью? Женихи есть?

— Так, больше поклонники таланта...

— Это никуда не годится — поклонники. Они же благоговеют! Был у меня один такой, но я прямо сказала: не благоговей! Чего благоговеешь? Вот теперь пятеро внуков у меня, один дрищет... а тут совет, тут ваше дело с Игорем... Счастливо, девочка!

(Тут Грезка роняет от воспоминаний щедрую пьяную слезу, 1992 г.)

— Вот видите: сын Лариски болен сальмонеллезом и внук Гемпель тоже. Перед сальмонеллезом все мы равны... Кислые у нас в саду нынче яблоки уродились — ими только косых править, как говорит бабушка... А то бы уж я отнесла в больницу к Лариске...

(Ката, 1968 г.)

— Игорь — такой академичный, словно его не в капусте нашли, а в библиотеке, прямо в отделе каталогов. Поэтому очень интересно, как, например, он будет целоваться?

(Людмила, 1968 г.)

— Людмилище! Ты чего это? Целоваться с Игорем — это все равно что целоваться с учебником по теории

литературы, причем в шершавом коленкоровом переплете...

(Капа, 1968 г.)

— А не слишком ли трезво Капа мстила Бобу за его пьяную забывчивость? Этот грандиозный день рождения Боба с вручением ордена Дон Жуана второй степени... Все же она расписала по минутам: на сороковой минуте Царев должен быть мертвецки пьян...

(Н.Г., 1980 г.)

— Для меня время воспринимается так: сегодня вторник или осень? Капа закричала: забыл, какой сегодня день! У Боба день рождения! А как я их должен различать, эти дни недели? Если б хоть каждый день был разного цвета: в понедельник небо розовое, во вторник — голубое, а в среду — зеленое... Ну, пошел я в общежитие за простынями, позвонил в учебную часть и попросил аудиторию для репетиции агитбригады, якобы. И вот начали репетировать — куплеты Людмила сочинила, я дирижирую, Царев меня отозвал:

— Старик! Маэстро! Смотри, какой альбом я купил Бобу в подарок... "Немецкий ренессанс"... Какие храмы, вот "Тайняя вечеря". Где Иуда? — Всегда он с детективным интересом выискивал в "Тайных вечерах" Иуду. — Смотри-ка: наш Кизик под копирку! А не стукач ли наш Кизик, а? У него ведь фамилия читается и туда, и обратно... Это о чем-то говорит...

Ну и что: оказалось, что он прав: Кизик был одним из стукачей...

(Сон-Обломов, 1980 г.)

"После лекций мы заперлись на ножку стула в аудитории. Накинули белые простыни, и "академический" хор запел на мотив "Красотки кабаре".

Сегодня у Боба день рожденья!

Предстал он пред нами во всей своей красе!

И создан он лишь для насладенья...

Капа опекала Евку, которая оробела на нашем сборище. Мы вообще-то не допускаем чужих, но сегодня

ради утешения Царева сделали исключение. Он все еще влюбленный, гринблатненный, бедный!

— Кто мне обещал холодец с дрожалочкой? — спросил он громко, а в глазах у самого дрожалочка.

И напился с Людмилой, бедный! И в двери стучат: неужели деканша? Боб закричал: "Так мы едем или не едем в Ордынский район, агитбригада?"

Но это наш доцент Борис Борисыч был. Он сначала грозно посмотрел на чашу дружбы, полную вина, потом увидел Нинульку и расцвел. "Хотите чарочку?" — спросил его Боб. "Как я всех-всех люблю!"

(Из дневника Дунечки, 1968 г.)

"Без Нинульки никуда, а с Нинулькой хоть куда!"

(Поговорка 1968 г.)

— Десять тысяч нашлось! — Грезка подняла с полу бумажку в клеточку, там написано "10 000 рублей. Именно столько. Наличие."

— Это дети играют в инфляцию...

— А я сегодня знаешь кому звонила — Капе! Хотела занять десяточку... Но она не подошла, Мурзик сказал, что у нее руки в земле, рассаду что-то она там... делает...Перезвонит, мол...

(Разговор 1991 г.)

— Рассольчику бы сейчас!.. Хорошо тебе, Игорь, ты не пьешь! Зачем я напился? И Евка, наверное, меня бросила! Кто ее провожал — Боб? А что говорил? "Вечно эти гении привести женщину приведут, а увести..." Ну, это с его стороны...

(Царев, 1968 г.)

— За нами следят. Да. Это точно... Я поймал жест убирания корочки в карман. Мне было нужно к тете ехать, в Голованово, на электричке. Купил билет в кассе, а уже народу мало. Смотрю: человек в штатском в той же кассе уже корочки убирает. Видимо, спросил, куда я взял билет...

(Игорь, 1968 г.)

— Борис Борисыч взял меня под руку и повел провожать. Я думала: будет соблазнять, а он говорит: за вашими мальчиками начинается слежка, вы должны их предупредить. Это КГБ что-то узнало.

(Нинулька)

— Капа взяла меня к себе ночевать. “А то мать опять будет удостоверяться в моей невинности!” Так Капа называла проверки матери: курила — не курила. Но дома все уже, видимо, спали. Капа говорила о Бобе, но почему-то всякую ерунду. “Ты замечала, какой у него гуманный нос?” и прочее. А я думала: о чем он сейчас с Евкой говорит? Ну о чем с ней можно говорить!..

(Четвергална, 1968 г.)

— Боб повел меня в зоопарк. Там у него сторожем работал одноклассник Процкий. Боб сказал, что при Еве должен быть Адам, поэтому нужны звери. Процкий предложил нам пройтись и вдруг шепчет: “За вами следят”. А он был не пьяный в отличие от нас... Боб снял табличку слона “Агрессивный” и повесил себе на грудь. Он сразу протрезвел. Процкий ему еще записал на бумажке слово “кровохлебка”. Трава от поноса, Костя — медик, на 3 курсе. Так я узнала про Лариску и ребенка Боба...

(Евка, 1968 г.)

— В тот день Римма Викторовна начала с чего? Что шла она к нам на лекцию и только что встретила Корчагина. Тот шел вести диспут о бардах. “И он меня спросил: нужны ли такие диспуты?” Я ответила, что иду на лекцию о Достоевском, что Федор Михайлович был бы не против диспута, он споры любил... Я вам сказала про Корчагина, чтобы включить вас сразу, а то вижу - рассеянные вы сегодня. И вам советую потом, в школе, использовать этот прием. Слова “Вот я только что...” сразу включают...” Но на самом деле никто так и не включился. Общего биополя, как обычно было на лекциях Риммы, не образовалось. Мы уже знали про слежку...

(Сон-Обломов, 1980 г.)

“Сегодня мне Царев сказал, что он говорил на допросах то, что было, и то, чего не было! Потому что ему грозили исключением из универа. И он даже пустил слезу при мне, но ничего человеческого в лице не появилось — бывает же сыр со слезой, ну, влага, и все. Якобы Орлов, руководитель тайного общества, сказал Царю: “Ну, сука, нас посадят, но, когда мы выйдем, тебе не жить!” Царев, Царев! Зачем ты говорил то, чего не было? Как я его презираю! Еще б секунда, и я б ему все высказала...”

(Из дневника Дунечки, 1968 г.)

— Вероломство потому так и называется, что вера ломается в людей.

(Рома Ведунов, 1991 г.)

— Потом мы вычислили всех стукачей. Их было пять. Один как раз Кизик, идейный Иуда, он думал искренне, что органам нужно помогать. Второй — трус, испугался отказаться, когда вербовали. Третий — эмбрион Наполеона, маленького росточка, мечтал о компенсации, прославиться хотел... И, представьте, была одна девушка, типа Четверпалны, но предельно некрасивая. Тут сыграли чисто женские интересы. Она надеялась найти жениха в обществе, опасность ведь сближает, говорила: “Я бы перешла на сторону вас, если б кто-то меня выбрал!” Но никто ее не выбрал... Последний, пятый тип — интеллигент, между прочим... Он как все объяснял нам после: “Если б не я, они б все равно другого нашли, а так — я меньше зла причиняю, я же добрый...”

(Сон-Обломов)

— Пора раздобыть передержанный шелк, Евка! И в ответственную минуту ты резко дернешь плечиком, и блузон великолепно разорвется на твоей груди, представляешь!

(Капа, 1968 г.)

— Какие тонкие люди живут в Перми!

(Л.Костюков)

— Я даже сигарету ни разу не взял. На допросе мои кончились, следовательно открыл свои. "Друг". Приемчик старый, я назвал бы его так: пушки времен Кутузова. Но я ответил: такие не курю!

(Игорь, 1980 г.)

— Процкий, оказывается, здесь на практике. Просто, говорит, не узнал меня. Я пошла и в зеркало взглянула: в больничном халате, с узлом волос на затылке — точь-в-точь малолетняя сумасшедшая. За окном больницы вижу — голые деревья, грязь, а среди всего этого реализма — длинные стоят сиреневые столбы света! Началось, говорю себе, Герман сходит с ума. Обернулась: сзади те же столбы. Сиреневый свет давали лампы кварцевые. И Боб — тоже не галлюцинация? Очень заботливое что-то в глазах у него. И принес кровохлебку, заваренную Димочке, чтобы стул оформился. Завтра, говорит, у Димы будет стул — хоть на выставку!.. И точно: выселялись наши саламандры, назначили левомецитин...

(Лариска, 1968 г.)

— Уже после одиннадцати в общежитие пришел Боб. Вахтеры его всегда пропускают, загадка какая-то. Людмила уже на кухне поролон под струны гитары положила, чтоб беззвучно отрабатывать аккорды. Боб, по-моему, трезвый был. Я чайник поставила. Сон-Обломов, зевая, выбрел к нам. Людмила поролон убрала, чтоб показать новый аккорд. Сразу народище собрался. Она запела, озонируя воздух. Всегда озон появлялся, словно белье с мороза внесли, стиранное. Но это тоже уже привычно. Ну, упали с потолка два таракана — один прямо в гитару...

И граф встает, он хочет быть счастливым,

И он не хочет, чтоб наоборот...

Тут Боб вдруг схватил Сон-Обломова за руку и потащил на чердак. Я подошла к лестнице, когда они уже взобрались. И Боб не своим голосом кричит: "Все кончено-о! Больше ничего не покажут!" А эхо чердака отвечает: "Жуть. Жуть. Жуть".

(Четвергална — Капе, 1968 г.)

— В этом есть своя эстетика!

(Л.Костюков)

— Вчера пришла ко мне Людмиленья без гитары и даже без шеи, словно голова в плечи ушла. Миленья, говорю, что случилось?

— Несчастье!

— Что, с родителями что-то?

— Хуже.

— Опухоль? Вырежем и будем жить... Бери колбасу, наливаю чай!..

— Хуже. Этого не вырезать...

— Не томи, а?! Покрепче, значит?.. Индийский чай. Вот сегодня, в три-ноль-ноль, я стала пророком. Да-да...

— Ну, мы не зря назвали тебя "Грезой"...

— Не грезы это, а пророчество. Понимаешь разницу? Вот сейчас встану и начну пророчествовать!

— Начинай. Нет, подожди, я закурю сначала... Давай, я готова!

— Их всех сломают! И Римму Викторовну тоже. Проклятая страна!

— Мистика. Идеализм. Римму-то уж не сломать. Если на одну чашу весов положить мудрость Риммы, а на другую — всех этих деканш и кэзгэбэшников мозги... что перетянет-то?!

— А вот увидишь, Капа! Всех сломают... Ты мистику не гнои!

— Слушай, защищая мистику, ты что-то всю колбасу у нас съела.

— А мистика требует много сил — откуда их черпать-то? А вот из колбасы... восполнять... с индийским чаем...

(Капа — автору, 1968 г.)

— А кто был прав? Вчера я встретила знаешь кого? Игоря! Ну да, он в Москве, но приехал на конференцию, кажется. И на полном серьезе жалуется на своих аспиранток. Значит, так: он как член парткома руководил подтиранием иностранных жопа.

— Грезка! Дети же тут.

— У детей тоже жопы есть. И у иностранцев есть. Их надо подтирать. Вот на время олимпиады сформировали группу из идейных аспиранток — бумажки подавать иностранцам. В общественных туалетах. А эти девчонки сбежали на похороны Высоцкого! Иностранцы, конечно... не знаю... А вот партком Игорю выговором грозит. И он на полном серьезе жалуется на девчонок: какое легкомыслие — так науку не делают, а еще аспирантки...

(Разговор 1980 г.)

— Это у Врубеля? Демон получился потрясный, а потом он в бреду его записал. Лицо стало хуже. Так и жизнь наша бредовая записала светлый лик Игоря. Врубель слишком близко подошел к опасной теме демонизма, а Игорь в партию вступил — и вот результат.

(Н.Г., 1980 г.)

— Между прочим, это все советское — осудить человека. Капитализм привык: поставили тебя делать дело, так делай его!

(Царев, 1992 г.)

— А 19-го августа Игорь пошел к Белому дому! И три дня, и три ночи защищал его. Я приехал Карякина лепить, а какое тут! Пришлось пойти к Белому дому, да дождь пошел... Я бы, конечно, его не узнал, но перекусывали, слышу: рыбу кто-то не ест! А в детском саду мы один раз пили пиво, воблой закусывали, Игорь ужаснулся. Его мать работала ухо-горло-носом и всю жизнь детям рассказывала, как невыносимо ей каждый день доставать рыбные кости — у подавившихся...

(Рома Ведунов, 1992 г.)

— Римма Викторовна нам что говорила? Надо занимать руководящие посты, чтобы негодьям они не достались. И в партию советовала вступать для этого. И сама была зав.кафедрой и прочее...

(Н.Г., 1992 г.)

— Причины найти можно, господи! А вот интереснее загадки, которые нельзя разгадать. Почему Царев ходил поест в коммуны общаги ("Мама уехала в командировку и оставила мне четвертной - не меняй же его!")? Но при этом всю молодость он носился с книгой Швейцара, который уехал врачом в джунгли!

(Сон-Обломов, 1992 г.)

— Ну, мать, заглянула я тут в твои наброски... Это все надо перевыяснить. Мог ли Царев подарить Бобу альбом за пять рублей? Он не мог подарить ничего, что стоило более трех копеек, я думаю. Помню, вручал он содрванное объявление: "Желающим выдаются органы дыхания" — о путевках в санаторий, конечно, но говорил про второе дыхание. Опять же: Сон-Обломов врать не будет, он не умеет. Он мог только приврать... Может, Царев купил альбом себе, но врал, что Бобу. Или хотел себя убедить, что хочется подарить Бобу...

(Грезка, 1992 г.)

— Далее, мать! О вступлении в партию. Деканша тоже ведь нас туда зазывала! Почему ж мы Римму слушали? А тут ты вставь народную мудрость, что хороший учитель объясняет, выдающийся - показывает, а великий — вдохновляет. Римма нас именно вдохновляла...

(Грезка, 1992 г.)

— Я прошу прощения у образа Боба, который у меня сложился... Я его видел всего один раз, поэтому я прошу прощения не у самого Боба, а у его образа в тонком плане... Зашли мы с компанией к ним в Новый год. Боб вышел весь мятый...

(Посторонний, 1992 г.)

— Наоборот: он вышел в новом, хрустящем костюме! Где он был мятый?

(Грезка)

— На щеке он был мятый.

(Посторонний)

— Это его не портило. Как был, так и остается самым красивым мужчиной в городе. И ты не можешь судить о его красоте, сам мужчина.

(Грезка)

— Почему женщины должны судить о красоте мужчин? Еще скажи: растения должны судить о красоте мужчин...

(Посторонний)

— Во время зимней сессии грянула новость: Галя Гринблат умирает после кесарева сечения! Царев схватил халат Четверпалны и нащупал в кармане неизменную двадцатипятирублевку. Неужели ее придется разменять на такси? Он решил побежать. Он бежал, бежал и как человек с невиданной свободой воли, борясь с кислородным голоданием и хватаясь краешком сознания за внешний мир, думал: свобода выбора у меня есть, я в любую минуту могу взять такси! Нетренированное сердце заболело. И все-таки возьму такси! Но осталось уже два дома! Ну и что: не могу больше бежать, беру машину, подумал он, и вбежал в вестибюль больницы.

К Гале, конечно, приходили то муж, то свекр со свекровью, наглаженные и помытые, когда она лежала в крови и гное. "Они думают, что радуют меня, когда приходят нашампуненные. Я не могу спустить их с лестницы, поэтому ухожу сама, отчаливаю от их чистоты".

Когда Царев вбежал в палату, весь в поту и соплях, Галя поняла, что уйти-то она хотела — умереть. Испугалась. Это ведь не погулять выйти. Царев, угадывая невысказанный вопрос врача-женщины, закричал: "Да-да, я сын вашего любимого однокурсника! Пустите немедленно!" (Он был кудрявый блондин с крутым лбом — внешность в духе 50-х годов.) Царев рухнул на колени, потому что ноги от усталости подкосились. Он гордо подумал: и до любимой добежал, и деньги сохранил! Моя тайна — деньги. Многие думают, что деньги — это

банально, но ведь это же власть! А власть — это такой Солярис...

Галя подумала: вот в мире нашелся один человек, который каким-то своим миллионным нервом почувствовал, каким ко мне нужно прийти. Она с той минуты начала выздоравливать. Потом, через несколько дней, Царев не удержался и похвастался, что бежал бегом. Галя поняла, что он сэкономил на такси, и опять захотела куда-то выйти, но уже можно было выйти в коридор. В конце концов она была тоже дочь своего времени и понимала желание Царева намотать еще одну спираль сложности.

(Н.Г., 1992 г.)

— На допросах я вел себя раскованно. Говорю: хочу в туалет. А сам просто думал здание осмотреть. На всякий случай...

(Сон-Обломов, 1980 г.)

— Один из следователей казался мне умным, и я пытался его в нашу веру обратить — убеждал, что вводить танки в Чехословакию не нужно было... Юношеский романтизм...

(Игорь, 1980 г.)

— Ваши мальчики были не готовы платить, не согласны. А взрослеть — значит платить за все. За что платить, если уже они добро сделали листовками? А за то, чтоб оставаться на уровне этого добра. Когда потребовали отказаться от него... Декабристы нашлись: всю правду, видите ли, говорили. Я их просил: меня и Орлова посадят — идите и откажитесь от показаний, напишите: оговорили из ревности или еще чего. А они: но мы же в самом деле собирались и читали... и листовки... Ну, нас и посадили.

(Рома Ведунов, скульптор, 1992 г.)

— В начале 69-го Боб получил из "Нового мира" рецензию на свою повесть. Аж от самого Домбровского. Ну и похвастался ею на творческом кружке. Дошло до

деканши, ее муж-скотовед устроил судилище на факультетском собрании, помните? "Вас сравнивают с Кафкой! Какое пятно на честь университета! Зачем Кафка написал, как человек превращается в гнусное насекомое?" "А вы басню Крылова "Квартет" читали? Зачем звери сели за инструменты?.." — ответил Боб и вышел вон.

(Н.Г.)

— 8 марта Игорь меня позвал в ЦУМ: помоги выбрать духи для подарка. Я думала: для тети или для мамы. Его мама в детстве ему говорила: "Сначала кушать! Пока не покушаешь, уроки делать не дам!" А он очень любил делать уроки, но не любил "кушать". Тетя же приезжала в гости и каждый день умоляла: "Не ходи сегодня в школу, ты очень бледен!" А в это время моя мать что делала? Настраивала свою гитару и орала: "Попробуй только раньше из школы прийти!" Она работала в ночную и когда могла друга к себе позвать? Когда я в классе... Ну, выбрала я духи "Может быть". Игорь: пусть пока в твоей сумочке! К общезнанию подходим, он шепчет: "Эти духи — тебе!" Тут я его поцеловала в щеку и почувствовала себя нехорошо: словно совращение малолетнего происходит...

(Людмила — Капе, 1969 г.)

— Смотрите: ваш кот мне подыгрывает... эх, он, может быть, последний, кто мне подыгрывает!

— Грезка, ты с похмелья? Обычно с похмелья ты апокалиптически настроена... У меня тут настойка боярышника, выпей!.. А вообще-то хорошо быть кошкой, правда? Никакого кризиса цен...

— В кризисное время кошку ловят, обдирают и продают, как мясо кролика. Читала в газетах? Вот так. Из шкуры, такой роскошной, можно горжетку... Хорошо быть драной кошкой — вот что! Меня никто ни разу не остановил вечером с целью ограбления...

(Разговоры 1992 г.)

— Какое лицо у Евки? Красота стандартных форм, словно рожденная рядом пластических операций — по вкусу хирурга...

(Сон-Обломов)

— Спасение России в личностях. А почему они отсутствуют? Вот вопрос... Если мы ничего не поймем в своем прошлом, то останемся такими же, как были, — сложно-безответственными...

(Н.Г., 1992 г.)

— Мать, или я много пью, или ты угасаешь так быстро? Я в твои наброски смотрю: в 68-ом мы были не на третьем, а на четвертом! Я сдавала Маросейкиной научный коммунизм, революция на Кубе... Все составные сложила, а она морщится. Уж потом мне подсказали, что не хватило ей моего восторженного тона, бля! Она же вся влюбленная была в свой предмет, помнишь?

(Грезка, 1992 г.)

— Помню: светлые пенистые волны волос — ангельский вид... ее потом в обком быстро взяли.

(Н.Г.)

— Почему все люди, у которых мало волос на голове, воспринимаются как ангелы, божьи одуванчики такие? Ведь Маросейкина руку приложила... Как подумаю, что они с Риммой сделали, так начинается шевеление волос на голове! Лучше б, конечно, шевеленье мозгов начиналось...

(Грезка, 1992 г.)

— На Римму покатила волна репрессий, слагаемая из сотен претензий, внешне не связанных между собой. Одно дело: она составила сборник научных работ, где была статья в стиле Солжа (но не ее статья!). Другое дело: она являлась научным руководителем мальчиков, идущих по процессу... И так далее. Но внутренне эти факты были неумолимо связаны идеей застоя. Заставить Римму замолчать, не быть собой. Яркие личности уже были опять не нужны.

(Н.Г., 1992 г.)

— В летнюю сессию Капа нашла меня в читалке: есть рубль? Да, а что? Да вот, есть глыбная идея скинуться на букет пионов, а Боб у Евки сейчас в гостях — явимся поздравить, якобы нам было знаменье, что он сделал предложение...

— Так. Мы в роли отца и матери Элен Безуховой? Но чур я буду графинюшка.

— Какая разница, Людмиленькая?

— Ты будешь говорить, а я должна лишь расцеловать жениха и невесту (так вот занудно мы тогда выражались, причем думали, что это вполне смешно).

Честно говоря, мое личное мнение отличалось от всеобщего мнения Капы, но я не смела возражать, а то она б засмеялась: надо-надо вносить в жизнь элементы искусства... Дверь открыл Боб, а Капа молчит, пришлось мне играть графа: знаменье, предложение.

— А нам не было такого знаменья, — ответил Боб и поцеловал меня.

(Грезка, 1980 г.)

— Ваших мальчиков не посадили, и что? Кем они стали?.. Рома отсидел, сейчас — всесоюзная знаменитость, выставка во Франции готовится, я видел уже отпечатанный каталог... Солженицын письмо прислал: как ему милы его работы. Это, конечно, ни о чем не говорит, что нравится, но что написал письмо... уже...

(Посторонний, 1992 г.)

— В тюрьме была библиотека — одна из лучших в городе. Ну, потому что там не разворовали... Я брал по три тома Соловьева в неделю... Где б я имел еще такую возможность читать?

(Рома Ведунов, скульптор, 1992 г.)

— Закон пьяного Архимеда вызрел где? На защите Игоря, да? В Голованово! Или нет, это было на именинах Сон-Обломова, в общежитии? Когда Боб стал Евку выгонять из компании! Людмила заступилась за нее, и что? Боб раз ее гитару об стол — брим! И нет гитары. Капа сказала: вот нутро-то полезло из него. Сколько спиртно-

го погрузилось внутрь человека, столько нутра вышло. Чем больше человек выпил, тем он виднее.

(Царев, 1980 г.)

— На каникулах, перед пятым курсом, наверное, раз Ларискиному сокровищу около трех лет... Я встретила их в слезах. Что случилось?

— Чуть он не упал в открытый люк и не может успокоиться: "Кто бы меня там чесал?" Зачем чесать? Да диатез, нам в больнице прокололи однажды за месяц миллион разных антибиотиков... Он теперь чешется, весь в коростах. Я ночами не сплю. Димочку почесываю...

(Четвергална, 1980 г.)

— Ты, мать, мусор какой-то собираешь! При чем тут коросты, а? Вот посмотри: у меня тоже коросты, псориаз. Эта похожа на Анну Шерер, а эта — маленькая — на топор Раскольниковова? Ну и что?! Как бы я ни пила, как бы ни сужалось количество мыслей во мне, все равно эта часть перетягивает все коросты, весь этот быт голодный...

(Грезка, 1992 г.)

— Вот как это выяснить? Капа слишком трезво судила Бобину пьяную забывчивость, зря она играла графа и графиню Безуховых, то есть меня заставила играть... А мне с Игорем как раз нужны были и граф, и графиня! Кто-то б нас вот так толкнул друг к другу... Почему это было б нравственно? Потому что мы оба хотели? Без портвейна не разобраться...

(Грезка, 1992 г.)

— На пятом курсе, уходя с любого междусобойчика, Боб говорил: "Мне противно смотреть на ваши морды!"

(Н.Г.)

— Наше представление о КГБ было неполным. Вот я прочла, как они избивали профессора Лихачева, старика! Они более не люди, чем мы думали, хотя куда бы уже более-то?

— Раз не люди, значит, не виноваты. Машине ведь все равно, кого бить: молодого или старого. А так нельзя их спасать - не люди, не люди! В том-то и дело, что все люди-и... И все должны за себя отвечать... так-с!

(Трезвые разговоры 1991 г.)

— Игорь женился летом, тихо, перед пятым курсом. Никто ничего не знал. Даже я. В Голованово! На обиженной кем-то соседке, беременной притом. Мы встретились в трамвае за день до сентября. Игорь с кольцом. Пьяный к мальчику приставал: как зовут? Мама сразу: познакомиться захотел — не время и не место! Я Игорю: слышал — не время и не место! А он мне показывает — у пьяного раздавили в толкучке пакет с молоком, белое капает мальчишке на ботинок, и вот так, с пьяной загибулистостью, тот хочет сказать об этом... Значит, Игорь полагал: и время, и место.

(Царев, 1980 г.)

— Хорошее название для моей жизни: "Не время и не место"...

(Грезки, 1992 г.)

— В детстве Капа дрессировала хомячка. Капа-девочка хотела, чтоб он прыгал через веревочку. Нас ведь мичуринцами воспитывали, а природа якобы должна покоряться. Но вместе этого Природа в лице хомячка уползла под тумбочку и там умерла...

(Четвергална, 1980 г.)

— Капа и первого мужа так дрессировала, что он развелся и уехал от нее в Израиль. Трахтингерц, который считал, что "будденброки" — это вокально-инструментальный ансамбль, бль...

— Такие, как он, зачем едут, когда могут все здесь достать? Он мне лив-56 добыл, когда понадобилось...

— Затем, что не доставать, а покупать, как все нормальные люди.

— Эх, хоть бы кто-нибудь остался!

— Нет уж, эта страна обречена, и она должна быть очищена от всего светлого...

— А не изволите ли выйти вон!

(Пьяные разговоры 1992 г.)

— Не верится, что Капа любила Боба! С поразительной энергией она износила двух мужей, а сейчас третьего донашивает...

(Царев, 1992 г.)

— Эта вязаная юбочка в предыдущем перевоплощении чем была? Капиным пальто! Меланж, коричневое с беж, шоколад с орехами... Я с дядей шла в гастроном, а там Капа, и в трех отделах дают кое-что. Капа из своей крошечной сумочки достала три огромных разноцветных пакета, всего накупила. Дядя кричал от удовольствия: "Если б вверенный мне военный госпиталь разворачивался так на месте, как твоя Капа разворачивается в гастрономе..." "То что?" "Хорошо б..."

(Евва, 1980 г.)

— Гемпель меня вызвала: "У вас есть жених, молодой человек или как это называется?" "А что?" "Вас распределили к Римме на кафедру лаборанткой?" "Да." "А ко мне — Царева, ну, вот, приходите с ним на мой юбилей! В кафе "Мозаика". Жратвы будет - во!" И она так залихватски провела рукой возле горла, словно этот жест испокон веков был привилегией профессуры.

Там Марья и рассказала нам, как она ходила к Маросейкиной в обком спасать Римму:

— Девочка, вы помните, как беременная сдавали мне экзамен? Я вас тогда пожалела... А теперь... Римма — душа факультета, нельзя душу вынимать-то!

— Есь юбят — сепки етят! — лепетала Маросейкина — она ж не выговаривала 34 буквы русского алфавита, железный лепет такой...

(Грезка, 1980 г.)

— Лепечущим женщинам и не стоит доверять... Вы думаете, почему Гемпель, которая всю жизнь прожила

в совке, пошла к Маросейкиной? Неужели она думала, что можно с голыми руками идти против этого монстра? Что дворянские крови-с? Нет!.. Братцы, она просто поверила в оттепель...

(Царев, 1980 г.)

— Царь купил в подарок Гемпель фотоэтиюд с видом на заснеженные Уральские горы. А лучше, старик, ты повесь его у себя в туалете и воображай, что уехал в село по распределению и вот в мороз вышел по нужде во двор... Ну, с чего ты взял — ничего мы не завидуем твоему распределению! Старик, брось обижаться!

(Сон-Обломов, 1970 г.)

— Я недавно видела Маросейкину: все тот же божий одувачик! Она опаздывала, видимо, на работу и бегом неслась к обкому. Она же думала: на одну минуту меньше послужит коммунизму — горя-то будет на земле, горя-то!..

(Царев, 1980 г.)

— А помните, как она читала лекции против Солженицына? По всему городу. Лжец он, негодяй, пишет: в лагере голодали, а у Ивана Денисовича кусок хлеба зашит в матраце! Значит — не голод!.. Словно с жиру зашивают хлеб...

— Господа! Лекции эти читала наша деканша, а не Маросейкина. И читала, доходя до оргазма, но все равно общее поле аудитории не сотворилось...

(Разговор, 1980 г.)

— Я на днях встретила Маросейкину... в издательстве! Уж не знаю, что она там делала, если работу ищет, то весь обком давно пристроен по коммерческим структурам. Посредственность занимается посредничеством. Спускается она по лестнице — и к нам: где тут выход? Лепет как будто даже уже не железный... Мы показали, хотя... Чего там искать? Выход там один... Но если б так же легко можно было показать выход из коммунизма... в который они нас втянули. Но! И это

найдем, хотя дверей много... А вот выход коммунистической ментальности как найти — из умов наших?..

(Н.Г., 1992 г.)

— О ментальности этой самой... Я Гемпель недавно букет цветов послала — там, со знакомыми. Она мне пишет в ответ письмо — чуть ли не по-французски, благодарит, но — на бланке почтовом, где сверху именно наш Пермский обком...

(Грезка, 1992 г.)

— Наверное, букет подснежников Грезка послала. Не больше.

(Н.Г.)

— Я вот что Цареву не могу простить — то собрание насчет Кубани. Когда мы повесили объявление: “Желающие поехать на уборку фруктов — 20 мужчин — приходите в аудиторию 2-“а”! Желающих-то набралось... А Царев выскочил на кафедру:

— Глупцы! Вы думаете, что из этих филологинь под солнцем юга получатся нежные любовницы? И ошибаетесь! Из них даже жен хороших не выйдет! Они же будут под одеялом с фонариком в руке Сартра читать ночами. Мы-то их знаем... Боже мой, если я проснусь ночью, а жена не спит — читает с фонариком! Да я выброшусь в окно!

Капа встала:

— Так, кто не испугался, пусть все обдумает и напишет заявление.

— Да сейчас записывайте!

— Моя фамилия Трахтингерц!

— И меня запишите в Сартры!

Но Боб тут как тут: мол, наши девственницы останутся девственницами! Не переживайте. Время есть...

А тут деканша запретила нам ехать... Мальчики рассосались... Один Трахтингерц как-то зацепился...

(Четвергална, 1980 г.)

— Людмила еще с двумя физиками переписывалась все лето, под копирку письма им слала, а они потом

встретились и сличили экземпляры... Они же не понимали, что это был первый тираж ее мыслей...

(Н.Г.)

— Зато остались куплеты:

Гаврила в край кубанский рвался,

Гаврила был энтузиаст...

Недавно Боб мне пел что-то в этом духе:

Гаврила был в столице мэром,

Гаврила с Ельциным дружил...

(Сон-Обломов, 1992 г.)

— Ну, не знаю, кто там был девственником, а я уже давно спала с Борис Борисычем... Он один раз взял меня под локоть и спросил: "Принцесса?" Только одно слово...

(Нинулька, 1980 г.)

— Нинулька повисла на мне: что делать? Если Борис Борисыч увидит, что я девственница? Какой позор... Нет, решено: еду домой и отдаюсь глупому Ваське-трактористу. Он за мной сколько ходил... Я говорю: благословляю...

(Капа, 1980 г.)

— Цветаева тоже платье просила. Разница между мною и ней, что ей давали, а мне... Нинулька в Намангане стала вторым секретарем обкома партии. Пишет: что тебе послать, милая Люда? Отвечаю: пошли какое-нибудь старое платье. Год прошел, письмо опять: "Милая Люда, год тебе не писала — надеюсь, за это время твои дела пошли лучше и платье тебе уже не нужно..."

(Грезка, 1992 г.)

— Перед свадьбой Капы ее отчима Мурзика резко повысили. И он запретил мальчиков приглашать. У него уже брежневские подгымкивания в речи появились... **ОНИ УЖЕ ТВЕРДО ЗНАЛИ, КАКИМИ САМИМИ СОБОЙ НУЖНО БЫТЬ.** Значит, это было в апреле, потому что мы решили всех надуть. Обещали прийти без мальчиков, но сами ничего им вообще не говорили, все заявлю...

лись — и все. Мурзик говорил фразу: “Люблю апрель: уже не надо ходить на лыжах, еще не нужно ездить на дачу”. И осекся. Он все знал про процесс. Он испугался до такой степени, что я подумала: отменит свадьбу дочери!.. Бабушка Капы вскрикнула:

— Им сказали не приходите, а они заграфляются!

Мальчики-то ничего не знали и смело проходят всех целовать. У Царева всегда написано на лице, что он — желанный гость всюду в мире. У Игоря золотенькие очки и вид дипломата вообще... У Боба на шее полосатый платок, и Капа сразу к отчиму на шею: жизнь — она в полоску, милый Мурзик! В полоску! И всех за стол усадила...

(Н.Г., 1992 г.)

— Капа на свадьбе вдруг громко спрашивает Игоря: скажи, а ты бы сейчас переспал с Людмилой? Человек пять рядом это слышат. Ну, все уже пили за родителей, значит, тост так третий примерно... А Игорь испугался, стал на Мурзика похож... Но говорит: да! Вот Капу не просят лезть в чужие дела, но она заграфляется!..

(Грезка, 1992 г.)

— Вдруг Мурзик поднимает тост: “Кстати, об афоризмах! Я предлагаю выпить, мэ-э, за афоризмы и афористов Ашукина и Ашукину, которые даже в самые трудные годы — вы меня, мэ-э, понимаете?! — оставляли в своих сборниках цитаты, мэ-э, Иосифа...”

— Иосифа Прекрасного! — перебил его Боб.

Наши ринулись ему на подмогу:

— За афоризмы!

— За мудрость!

— За здоровье Ларошфуко!

(Сон-Обломов)

— А ведь Сталин подарил нам отца Боба! — вдруг подмигивает отчиму Капа. — Откуда его выселили: из Ченгема? Ну откуда-то оттуда... И спасибо ему за это!

История иногда шутит вот так: отца Боба в самом деле Сталин выгнал с родины, но здесь он женился на

русской, свою половину любит до потери сознания, даже не заметил, что произошла трагедия, что он лишился родины...

(Царев, 1992 г.)

— Потом из кухни доносился спор Боба и Капы. "Ты встань на мою точку зрения!" "А ты на мою!" "Опять мы разошлись, пока я был на твоей точке зрения — ты была на моей..."

(Н.Г., 1992 г.)

— Не так. "Пока я был на моей точке зрения, я встретил много кого." "А я на твоей — никого не встретила..."

(Грезка)

"Сегодня на демонстрации Римма Викторовна взяла меня под руку! Сзади шел Сон-Обломов, и она мне шепнула: "Ваш Пьер Безухов однажды пришел мне пересдавать... выпивши... отвечал очень сумбурно: "Не будем спорить: какое небо выше — Цветаева или Ахматова!.. Хотя, если назвать-выбрать тройку лучших поэтов, то Цветаева в нее всегда попадет, а Ахматова — нет..." Я пыталась вернуть его к доказательствам, категориям науки — не получилось. Думаю: выгнать, что ли?.. Но я люблю все законченное, знаете, есть своя законченность в законченном подлеце, в законченном толстяке... Значит, Пьер не мог без загула обойтись... Поставила ему четверку."

Как я люблю Римму! И презираю Сон-Обломова!"

(1 мая 1970 г. Из дневника Дунечки)

— Вчера пила с Бобом... Из всего реального озона в жизни у него осталась одна я...

— Он тобой дышит, Грезка?.. А Сон-Обломов? А идеалы? У него же теперь идеалы...

(Разговор в начале перестройки)

— В начале 87-го в школе сделали пятидневку для тех, кто без троек... И моя троечница-дочь стала на одни пятерки учиться! Вот что значит стимул... Я иду по проспекту — Боб навстречу. Что, говорит, нам ничего не

напишешь, а? Да, отвечаю, хочу написать про пятидневку, надо? А он как закричит: стимул! Какой кошмар! А без стимула что — учиться не нужно? Что будет, когда стимул уйдет в минус? Хотела я ему сказать: то же, что стало со страной, когда в 17-м году стимул убрали, не стало заинтересованности, одни идеалы... Но не сказала. Человек работает в газете обкома партии — не поймет уже.

(Н.Г., 1992 г.)

— Идеалы — это лучшее рвотное средство. Если надо промыть желудок — приносят идеалы, человека рвет. Или внутрь, внутривенно... Но может привыкание возникнуть, как к наркотику. Если к идеалам возникло привыкание, то иных отходняк бьет без идеалов...

(Грезка, 1992 г.)

— Между прочим, партийные пайки продуктовые в редакции не брал никогда один Боб! Все остальные брали, как миленькие, а он стыдился...

(Посторонняя, 1991 г.)

— Когда Сон-Обломов хотел броситься под поезд, я пошла к Римме. Что вы наделали? Ведь Дуня хотела замуж за него идти!.. И Римма поняла: исправлю положение немедленно. Она Дуню обняла в коридоре: "Помните, я вам говорила про вашего Пьера! Как я его люблю: из той нашей встречи родилась моя новая научная статья "Широта и пределы истины". Хочу предложить ему заочную аспирантуру."

(Н.Г., 1992 г.)

— Широта и пределы истины! А у нас, поэтов, это просто болит... А у них: широта и пределы...

(Грезка, 1992 г.)

"Сегодня общежитие скинулось на пельмени. Послали Сон-Обломову в главный корпус — в буфет. Он купил две пачки замороженных пельменей и на обратном пути почувствовал непреодолимое желание полистать книги

у киоска. Стоял полтора часа, и пельмени растаяли! Как я его люблю!"

(Из дневника Дунечки, май 1970 г.)

— Защиту Игоря отмечали в Голованово. Шли с электрички, и Капа вдруг у Боба спрашивает: как идет подготовка к свадьбе?

— Не знаю, я сейчас здесь, а оно — там...

Капа от неожиданности сбросила вперед одну туфлю и на одной ножке поскакала к ней. Потом мне шепчет: то-то Евка начала толстеть — у них сообщающие сосуды уже. Боб вон худеет...

(Грезка, 1992 г.)

— На свадьбе невесты было слишком много, а жениха — слишком мало. Помню обои под дерево — в ванной комнате. И в обоях, между извилистыми разводами, как бы дерева, глаза женские — из журнала "Огонек" вырезанные... Я сразу поняла, что Боб уже придумал это для своей ванной, хотя квартира-то Евкина. Значит, здесь они будут... мучиться...

(Н.Г., 1992 г.)

— На свадьбе Боба произошло странное событие. Все выпили и стали друг друга терять. Я сижу в кухне, плачу под видом чистки лука — салат такой луковый якобы делаю... Все без конца входят и спрашивают: "А где все? Ты, Четверпална, не знаешь, где народ? Куда они подевались?" В двухкомнатной квартире тридцать человек потерялись.

(Четверпална, 1980 г.)

— Мы уже были где-то за пушкинским перевалом, точно, мне уж 38 стукнуло... В магазине "Одежда" я услышала голос Капы:

— Мы эту куртку тебе купим, даже если мне придется ради нее пойти на панель! — Второму мужу она, кажется, говорила.

Какая-то дурная бесконечность, повторяемость. Я вспомнила: "Народу много. Бога нет". Как там Бог был ни

при чем, так и на панель она не собиралась, а приемы юмора, однажды отлитые в форму эпатажа, так и остались...

(Н.Г., 1992 г.)

— А помните, господа, деканша всегда давала Римме аудиторию пыток? В юридическом корпусе! Там на стенах плакаты, а на них людей распиливают, сжигают, подвешивают... И мы в этом окружении крови должны были о слезе ребенка у Достоевского... рассуждать...

(Царев, 1980 г.)

— Как я вылетела из лаборантов? Очень примитивно. Деканша пальцем провела по стенду "Ленинианы" — пыль-с... А я уже все кандидатские сдала... Но Римма-то все равно уже не была заведующей. Так что бедной Тане все были жребии равны.

(Грезка, 1980 г.)

— Меня не выгнали, я сам ушел. Один раз спрашиваю Римму Викторовну: "Что-то вы часто нынче в деканат забегаете?" "А я уже два месяца как декан!" Все, я решил, что пора... И правильно сделал... Уже через полгода она кулаком стучала по столу на Гемпель! За какой-то пустяк... Демократка Римма!..

(Царев, 1980 г.)

— Глупые вы, ребята! Римма была вполне приличным деканом, просто от нее не ждали и этого... строгостей никаких не ждали. Но, скажем, тразить она никого не травила — по приказу. Как старая деканша.

(Сон-Обломов, 1980 г.)

— Ночью не спала — думала, почему разрушительна энергетика мести? Вот Капа мстила Бобу два года — наконец женила его на Евке. И что? Сама стала серее серого... Ну, понимаю, когда человек время тратит на месть, это работа со знаком минус, потому что он свою душу за это время не строит! А во-вторых?..

(Н.Г., 1992 г.)

— Зла ведь нет, есть отсутствие добра. Она не зло делала! Она добра в это время не делала для себя, не растила себя...

(Грезка, 1992 г.)

— Я с Галей Гринблат живу по соседству. У нее собака, и часто она заходит за мной, мы вместе прогуливаем ее собаку. Причем пятно на боку у собаки — формы карты СССР: ходячая карта такая. А теперь Советский Союз развалился, и все это выглядит грустно: когда Чейли к прохожим подбегает, словно спрашивает: "Куда мне теперь" — все на нас смотрят. А раньше не смотрели, и мы мирно беседовали. Муж у Гали — еврей, а мы в юности не думали об этом, для нас же национальностей не существовало. А она и не могла за Царева, за русского, выйти. У нее тоже принципы...

(Н.Г., 1992 г.)

— На выпускном Капа вдруг говорит Бобу: "Видела на днях Лариску с Димочкой — он вылитый ты!" Боб голову повесил, а Капа захохотала: "В суп?" Она любила напоминать, что Боб похож на петуха, пойманного хозяином для супа. Сидит петушок в корзинке и голову повесил: в суп. А кругом солнышко, курочки, он встряхнулся, закукарекал, но вспомнил: в суп... Хозяин, ловивший Боба в суп, оказывался то Лариской, то КГБ, то Евкой, но каждый раз Боб встряхнется: солнышко, курочки... закукарекает...

(Сон-Обломов, 1992 г.)

— Ну и зачем она его раздрадила? Римма говорила речь, и сразу после ее последних слов: "Будьте в первую очередь хорошими людьми!" — Боб вскочил:

— Тут все преподаватели говорили, что мы самые-самые, а вот на будущий год на выпускном они то же самое другим выпускникам... И я призываю вас, друзья мои, не верить всем этим словам наших старших товарищей...

Что тут началось: кто-то утверждал, что какой палец на руке ни обрежь — все родные, все жаль... Кто-то

громко заметил Бобу, что так и не облагородила его филология...

— Идите вы со своей хронологией знаете куда!..

— Чисто русская картина: папироса в салате, — сказал Бобу спокойно муж Риммы, и началось прежнее веселье...

(Грезка, 1992 г.)

— А зря мы Римме верили: она нас всех предала и свои идеи предала! Потом говорила, что Солженицын всех их подвел. Да кто она такая, чтоб Солженицын ее подводил...

(Царев, 1992 г.)

— Но храм разрушенный — все храм, но Бог поверженный — все Бог... Кстати, где она была во время путча? В отпуске? Вот и хорошо. Я так бы не хотела, чтоб Римме пришлось еще раз себя скомпрометировать. Жизнь столько раз ее испытывала.

— Нет, жизнь подсовывала ей случаи возвысить себя устойчивостью.

— Ну, раз она выстояла, два, а потом сломалась... А жизнь все нагло подсовывает и подсовывает ей случаи.

— Просто жизнь оптимистичнее нас: она все верит, что человек станет лучше...

(Разговор после победы над путчистами)

— Царев женился, когда борьбу со вторым подбородком он уже проиграл. Но зато тут же объявил войну третьему подбородку. Его невеста Флюра была копия Гали Гринблат, только отличалась от нее, как негатив отличается от фотографии. Впрочем, возможно, белый цвет волос был это ... от краски. Боб пришел простуженный, а Флюра интимно положила ему руку на мочевыводящие пути:

— Ингаляцию нужно: соду, кипяток...

— А ингаляцию из дыхания юных дев? — привычно завелся Боб.

— Игорь не приехал, он вчера защитился, — завистливо сообщил всем гостям Царев.

— От чего защитился?

— От жизни. Щитом таким. В виде кандидатской...

Я для чего это рассказываю? Жена Царева, не Пенелопа, так сказать, в коридоре шепчет Бобу потом: "Мы с тобой Евке изменим так годика через два?" А он ей: "Это моя мечта, но... Царев — мой друг, дружбе-то я не могу изменить!" Потом, когда Флюра ко мне свои губы протянула с тем же предложением измены, я уж урок Боба получил, повторил...

(Сон-Обломов, 1980 г.)

— Заметил, с каким удовольствием Сон-Обломов говорит о втором подбородке Царева? Эх...

(Капа, 1980 г.)

"На втором курсе в Новый год, помню, гадали: бу-мажки скрученные — все о наших детях. И Царев из шапки вытянул: "Твой сын будет похож на соседа!" Точно ведь будет! Вчера Флюра сказала моему мужу: мол, через годик-другой мы с тобой Дунечке изменим, а? И мой Пьер так по-анатолькурагински браво: "Почему через год, а не завтра! Но Царев — мой друг, как нам быть? Я должен беречь его чести!"

(Из дневника Дунечки, 1979 г.)

"Человек попадает после женитьбы либо в объятия, либо в руки, так вот Боб попал в руки..."

(Из письма Капы Четверпалне, 1975 г.)

— Самое сильное впечатление на меня произвело то, из-за чего Капа развелась с Трахтингерцем! Он защитился рано, и его в деканы прочили. А он не хотел. Так Капа расскандалила с ним:

— Я бы могла всех держать в страхе, как некогда наша деканша! А он, негодяй, не хочет быть деканом!

(Н.Г., 1992 г.)

— Выходи, Люська, замуж, мы тебе проигрыватель подарим! Там две части: одна мужская — которая крутит, другая женская — которая воспроизводит... Я буду вручать одну часть тебе, другую — мужу, — говорил Боб.

А я уже его любила. Меня Бог наказал за то, что я Капе помогла оженить бедного...

(Грезка, 1980 г.)

— После Сон-Обломов волок пьяного Боба домой. Они шли под бормотание Боба: "Вы знаете, что такое СПД? Нет, вы не знаете, что такое СПД! СПД не имеет никакого отношения к КПД..." Тут он роскошно падал в снег, продолжая: "КПД — это коэффициент полезного действия, а СПД — это стихи о Прекрасной даме, сокращение в академическом издании Блока! Игорь принимал там участие..." Показалась милицейская машина. Сон-Обломов решил сделать вид, что Боб лежащий — это чемодан, а Сон-Обломов в нем роется, ищет сигареты... Машина приостановилась, но поехала дальше... Возле дома Капы Боб упал на занесенную скамейку и вдруг говорит: мол, когда-то на этом месте он сделал Капе предложение, а потом не повторил его...

— Зачем! Зачем ты это сделал, Боб? — заплакал пьяными слезами Сон-Обломов.

— А, хотелось ее сломать, очень уж она была сильная. А сильные люди ведь опасны... Вот посмотри: коммунисты были сильными людьми, а что они сделали...

(Н.Г., 1992 г.)

— Царев мне тоже говорил: не пей, Грезка, замуж выходи! Я, мол, тебе сделаю самый ценный подарок: верну томик Кафки, который у тебя взял на четвертом курсе, помнишь?

(Грезка, 1992 г.)

— Ваши мальчики не готовы были платить во время процесса, а теперь, в 1992 году, они, видите ли, готовы получить денежки, награду! Слышали? Туристический маршрут хотят сделать по зоне N 53! Где я страдал и горлом кровь хлебал, то есть она шла, а я ее обратно глотал, чтоб сильно пачкать все... Ты что - газет не читаешь? Уже повсюду в Москве об этом пишут. Нью-Васюки, понимаешь?

Валюту они грести будут лопатой... Да-да, Царев и Боб...
(Рома Ведунов, 1992 г.)

— Когда я вижу во сне детство, вместо мамы — Римма почему-то... С точки зрения фрейдизма это что значит?

(Грезка, 1980 г.)

— Мы страдаем беспамятством... (у Царева даже появились на лице мышцы, которые могут изображать искренность!) Эту зону нужно сохранить для потомства, а на какие деньги ее сохранить? Вот на деньги от туризма...

(Царев, 1992 г.)

— Вдруг письмо от Игоря: мол, Люд, я тут совершенно случайно делал книгу видному онкологу, он во всем мире котируется. Сама знаешь, в каком мире мы живем, на всякий случай я напишу тебе адрес и номер телефона... А я вообще от рака никогда не умру. Да выключите вы этого Неврозова! Опять он про морги... За что выпьем? За капитализм, за то, что дожили, могли б и не дожить, если б не Горбачев... Социализм но пассаран!.. Мне пора вообще бросать это дело...

— Мы тебя на раскладушку в кладовке положим, Грезка...

— Вы уже многим это обещали — у вас там сколько лежит? Может, с прошлого праздника еще кто-то есть, уже фосфоресцирующий, — руку протягивает — обнять новичка... Раньше, в моргах были колокольчики — если кто оживал, мог позвонить.

— Но большей частью шутили сами покойники. А то и руки, закинутые в банки с формалином. Сторож прибежит: видит — круги расходятся. Он в бешенстве хватает провинившуюся руку — и вон ее из банки!..

(1 мая 1992 года, у Грезки на щеке уже царапины, словно кто-то уже начал приватизацию пространства, начал его делить на участки, но на полпути бросил.)

— Слушайте, но ведь вся редакция знала, что Боб женился на Евке, потому что ее отец — полковник КГБ в отставке! Он учил Боба отвечать на процессе "не",

“нет”, “не читал”, “не знаю”. А что делать, если покраснеешь? Это в протокол не заносится. Он обещал поговорить одновременно в КГБ с бывшими коллегами — как не помочь будущему родственнику, повторял он при этом.

(Посторонняя, 1992 г.)

— Ну да, это нам Горбачев сказал, что есть общечеловеческие ценности и семья не менее ценна, чем государство! А в КГБ это и тогда знали, но держали в секрете!

(Н.Г., 1992 г.)

— Евку я недавно встретил. Спрашиваю: ты все еще демонстрируешь моды? Нельзя ли туда мою племянницу устроить? Нет, отвечает, мне уж теперь разве что слуховые аппараты демонстрировать!

(Сон-Обломов)

— Значит, Капа тут ни при чем? Боб сам женился? Из-за КГБ... Ну, ребята, спасибо! Сняли грех с моей души... Он ведь никого не заложил... разве что свою душу, это дело личное. Почти подвиг... по тем временам. Нет, Боб — великий человек...

(Грезка, 1992 г.)

— У Риммы Викторовны был юбилей — 70 лет, кстати. Она показала тот сборник со статьей о Солже — мол, кое-что мы тогда правильно, значит, делали. Ну, я выступала с восторженной речью, от которой все в зале никли и никли. Потом оказалось, что я 18 раз назвала Римму Викторовну Риммой Николаевной. Просто у дочери учительницу зовут Римма Николаевна... правда... я не виновата...

(Н.Г.)

— Вот статья Флюры о сочувствии к малоимущим. Бред нашей жизни продолжается. Есть ей дело до малоимущих, как ты думаешь?

(Дунечка, 1992 г.)

— На презентации Лариску видел. Она меня узнала, подошла, я ей наливаю бокал вина. Раз! — получаю по физиономии! Она, кажется, в феминистки записалась, а они во всем видят оскорбление женщины. Но я совершенно... я был рад ее встретить...

(Царев, 1992 г.)

Дети! Философы! Помогите мне!

“ДОРОГАЯ, ТЫ БУДЕШЬ СМЕЯТЬСЯ НО ПОЖАТЬ КОПЫТА МЕДНОМУ ВСАДНИКУ ЕДЕТ НАШ СЫН С ДРУГОМ-ФАНТАСТОМ БРИТЫЕ ТРЕЗВЫЕ ХОЛОСТЫЕ”

Телеграмма должна быть в стиле дружеской попойки, а у меня выходит в стиле “чей там голос из помойки”. Спазм мирового общения прямо. Ма, говорит сын, бритый, трезвый, холостой, не обобщай, вон в кабинке междугородней Царев — общается же он! Но Царев выходит — лицо его растеклось резиново от обиды. До “Апреля” не может дозвониться! Я и говорю: спазм мирового общения. Ма, так сейчас май, конечно, до апреля уже не дозвониться, комментирует сын — он карнавален в духе своего времени, а мне нужно — в духе шестидесятых...

На телеграфе всюду валяются мертвые мыши. Надо ли объяснять, что прошумела кампания с ведрами и криками: “Дезинфекция - мать порядка”?

Вот у Бунина в одном рассказе пчелы... Надо ли описывать, почему у кота сейчас здесь лицо человека, потерявшего смысл жизни?

Недавно включили телевизор: Четверпална! “Господа, как вы думаете, почему цензура могла запретить “Бориса Годунова” на Таганке?” Ученикам, значит, в школе, выходит, она такие вопросы... А сын наш сразу: в Питере, получается, есть у кого остановиться!

— Представляешь: замочил в “Био” рубашку, и пятно исчезло! — сообщает муж.

— Вот так и наша жизнь, — занула я.

— Пришла юность и куда-то делась, — издевается он.
— Куда? (В самом деле, журнал "Юность" он ищет, оказывается.)

Ма, твердит сын, пойдем дадим телеграмму в Питер! Пойдем, сын, но карнавального во мне на самом донышке, не похвалит меня она за такую унылость...

И через день уже из Питера телеграмма: "СРОЧНО ПОЗВОНИ НОМЕР..." Что-то с сыном? В комнатных тапочках я ринулась на почту, муж с девочками следом появились — благо почта рядом. Деньги-то я не взяла! И дочери суют мне свои бумажки: "700 рублей. Точно! Не больше и не меньше". Наконец дали Питер: Четверпална, что случилось?

— А я тебя хотела спросить: что за телеграмма? Трезвые - значит, не угощать их? А холостые — познакомиться с девушками из семей?

— Ни боже мой!

— А что?

— Элементарно, Ватсон. Телеграмма в духе эпохи... дань эпохе.

— Эпоха сейчас какая — все практичны, и я подумала: "У нее есть ближние и дальние цели".

Римма Викторовна, милая, родная! Вы нам всегда говорили: не доверяйте отличникам! Вот и Четверпална была почти отличницей...

— ... часами лежу на иголках иппликатора Кузнецова! Да ты меня слышишь?

— Слышу, конечно. Мы тебя по ящику видели.

— Ну, ты заметила?

— Что?

— Как это что? Ты даешь...

Опять спазм мирового общения? Дочери с отцом играют в "живое — неживое", никакого у них спазма. "А Кощей Бессмертный - живой?" "Папа, так нечестно — задавать трудные вопросы!"

— Четверпална, так нечестно — задавать трудные вопросы! У нас питерская программа не очень уж четко...

— Я ж родинку свела!

Она свела родинку с кончика носа, но в моем-то сознании эта родинка осталась навеки — ее уже не выведешь ничем. О чем она?.. Что прислать? Вот что: сигарет!

— Курить становится не по карману — надо бросать!

— Четверпална, но и жить не по карману — тоже бросать? А похороны, знаешь, какие дорогие...

— Если серьезно оголодаете, ты мне пиши... звони...

— Ладно, если голос пропадет, ослабну так, то буду ногтем царапать мембрану — ты поймешь?

— Хорошо. С кем встречаетесь — с Бобом?

— Скорее не встречаюсь. В последний раз я с ним не встретила на панихиде по Сахарову.

— Он не пришел? Узнаю Боба.

— Я не пришла. Холод-то был какой, а у меня пальто проношено...

Если б Римма Викторовна не уверяла нас, что Наташа Ростова не опустилась в конце — она возвысилась до ПОНИМАНИЯ Пьера, декабристов, — разве б я дошла до проношенного пальто? Да я б разбилась, сшила своими руками, как делала это в юности, с помощью Евки, правда, зато у Боба был повод гулять с ней по магазинам в поисках лисьего воротника для моего пальто. Воротник Боб так и не купил, но искал же...

— Ну какая пермская самая яркая новость? Скажи!

— Грезка вот легла лечиться от алкоголизма...

— Ладно, я тебе напишу! Держись!

Номер московский у меня есть — Игоря? Раз уж я здесь, на телеграфе. Номер можно вспомнить, как говорит муж, телефон для дебилов: сплошные девятки... Алло, можно Игоря? — А он уехал. — Надолго? — Навсегда. — Что-о, на кладбище? — Нет, в Израиль... пи-пи-пи...

Кажется, он по матери еврей, наш Игорь, но мы же не думали на эти темы никогда... Точно, еще говорил, что из Подмосковья трудно евреям в вуз пробиться, вот он и поехал в Пермь...

Сын из Питера привез письмо от Четверпалны: "Боба я однажды встретила на Невском, он бывает здесь по делам фирмы. Как на зло, я только что купила мороженое в стаканчике — оно таяло. Есть при нем я не могла. А когда мороженое растаяло, мне необходимо было — значит — искать урну... Вот и мало поговорили. Так, одни междометия. В основном стояли и обменивались с ним биополями — со скоростью таяния снега..."

— Антон, как сына Четверпалны зовут? — кричу я сыну.

— Могла бы не спрашивать... Борис... На первом курсе консервы...

— Чего?

— Консерватории.

Дети! Философы! Помогите мне! (Жди — помогут, сказала бы Грезка.) Какой же выход из всего этого? Дети смотрят мультфильмы про пчелу Майю. "Прощай, маленькая личинка!" — говорит кто-то там. Прощай, наше личиночное состояние! Все не так уж плохо! Коммунистическая идеология, начиная от Чернышевского и кончая нашими днями, родила не только Рахметова, но и вот - иппликатор Кузнецова! Он не мог бы появиться, не будь Рахметова с его привычкой спать на гвоздях! На иголках иппликатора Кузнецова часами лежат бывшие комсомольские лидеры, но никто не запрещает не бывшим тоже лечиться... Все не так уж плохо. Грезка вылезет от алкоголизма... Дети наши вырастут. Только вот на улицах совсем нет беременных женщин, а так бы все не совсем плохо...

(Н.Г.)





Когда-то я окончила Институт кинематографии, написала сценарий и понесла его на студию. Там я никому не была нужна, и одна сердобольная душа посоветовала: а вы пошлите свой сценарий на конкурс, вот как раз "Беларусьфильм" объявляет... Сняли фильм, затем другой. Потом один драматург сказал мне: а почему бы вам не написать пьесу, мы тут проводим конкурс имени Погодина? Я попытала счастье — и получила первую премию...

Друзья ехидничали: теперь тебе не хватает только Нобелевской. Я, самое смешное, тоже так считала. И написала роман. Потом второй. Их напечатали, перевели в Париже...

Я люблю конкурсы и предпочитаю их: там действует не ИМЯ, а само произведение. ЛИТЕРАТУРА.

А теперь думайте обо мне все, что хотите.

ЕЛЕНА КАПЛИНСКАЯ

**НЕ ПОКУПАЙТЕ
КОРОВУ, ЕСЛИ
НЕ УМЕЕТЕ ЕЕ ДОИТЬ**

Ей было уже за пятьдесят, когда в Москве, на Кузнецком мосту, где книжные магазины один на другом, и центральная научная библиотека, и сизая скользкая под каблуком брусчатка, к ней подошел какой-то человек и, запыхавшись, сняв шляпу, извинился, что идет за нею так настойчиво, но другого выхода нет, и он хотел бы, просил бы, если, разумеется, она одинока, нет семьи, а он, в свою очередь, тоже вполне свободен.

Она приехала в Москву что-то насчет ВАКа, защитила диссертацию, в телефонных разговорах мелькало — о фонетике (английский язык), какие-то дела кафедры, в квартире пахло теми же неизменными духами “Красный мак” и папиросами. Коробка “Казбека” присутствовала в качестве главного предмета при Надежде Викторовне в любых обстоятельствах.

Когда-то давным-давно щелкала дверь, зажигалась лампа с зеленым стеклянным абажуром-грибом, доносилось дуновение этого недомашнего шикарного запаха, уносящего вдаль от запаха котлет и постного масла, и еще возникал граненый каблукочок туфель цвета какао с молоком, а белые, чуть припухлые, но крепкие и жесткие руки доставали из саквояжа душистое туалетное мыло...

— Надюша, — шептали ей. — Надюша!

И еще произносили что-то об Анатолии. Она приезжала в Москву ненадолго, к родным или по делам, которые ей не позволяли поселиться с единственными близкими людьми. Дела эти шли, по-видимому, неплохо, она все время выдерживала конкурсы на замещение вакантных должностей и заведовала кафедрой то в Рязани, то в Калуге, стараясь устроиться поближе к брату и его семье.

Она была, как сорванный с корня росток. Сняло с места и понесло, понесло, понесло. С самого начала. "В результате смешного случая", — как она утверждала.

Надежда Викторовна родилась в Петрограде. Анатолий встретился ей на Фонтанке, в доме общих знакомых, сохранявших прежние коренные нити "своего круга". Когда-то это был круг состоятельных, образованных, начитанных людей с независимыми взглядами; в пору Надюшиной молодости они определялись как "служащие". Анатолий служил инженером в каком-то техническом управлении. Надюша, благодаря хорошему домашнему воспитанию владевшая английским и французским языками, работала переводчицей в Интуристе. Таким образом, молодая пара начинала супружескую жизнь вполне благоустроенно, обосновавшись по тем временам достаточно комфортабельно в большой светлой комнате общей квартиры. И Надюша могла назвать себя счастливой женщиной. Любимый (очень горячо) и любящий (до безумия) муж, интересная (путешествия, пульмановский вагон, гостиницы люкс) работа, ну и будущее... открытое и заманчивое. Всем оно вышло, это Надюшино начало, по всем п а р а м е т р а м, как сказали бы теперь.

Любопытно, что, когда человек счастлив, ему непременно не хватает какой-нибудь мелочи, чтобы счастье было п о л н ы м. У Надюши такой мелочью была ванная комната.

— Пойми, пойми, пойми... — дышала она Анатолию в ухо, зарываясь носом в подушку. — Эти тазики вечные, кувшины, горстки!.. Ведра эти, ковшики! Ты мне полей, я тебе полью! Устала, устала, устала. Хочу ванну, ванну, ванну. Утром — раз, десять минут. Прохлада, свежесть, бодрость... Воды хочу, воды, а не одеколону.

Может быть, Надюшины замашки и сегодня покажутся незначительными капризами, но Надюша мечтала о ванне в Л е н и н г р а д е, в большом красивейшем европейском городе, и говорила о своей мечте молодому мужу, Анатолию, человеку, готовому для нее горы свернуть. И к тому же человеку интеллигентному, тонкому, энергичному, и н ж е н е р у, что немаловажно.

“Я опущусь на дно морское, я полечу за облака”.

И Анатолий придумал. Возле их комнаты и рядом с кухней существовал крохотный закуток, слепой отро-сток, аппендикс, заваленный всяким хламом. Стоило только пробить стену, провести трубу к стояку, подсоединить к стоку и... Анатолий, возвратясь однажды вечером, встал на одно колено, протягивая к Надюше руки: разрешили! Соседи не возражали.

Появившиеся вскоре мастера вынесли хлам из закутка, сделали обмеры. Пошевеливая усами и нагибая темные пористые шеи, не отказались от рюмки, вынесенной Надюшей весьма неумело, и пообещали приступить “с той пятидневки”.

Дни ожидания полны прекрасных мгновений. И, обняв Анатолия за шею, будя его, Надюша испуганно шептала: “А тот, усатый, не заболевает? Ты его видел? Они придут? Ты уточнил?” Анатолий смеялся, целовал ее, называл Мойдодыром.

На маленьком круглом столике сидела на чайнике ватная баба и улыбалась людским легкомысленным шуточкам. Молодые, счастливые. Что с них взять! “Но, слушай, этот усатый не напьется? Ты уверен? Ах, непьющий... лучший в управлении? Ну-ну”. Дни шагали. Солнце — Луна. Последний выходной.

Накануне "той пятидневки", что была назначена уса-
тым мастером, Надюшу вызвали на работу. Прибыл
известный американский миллионер, пожелавший со-
вершить с женой и дочерью путешествие во Владиво-
сток. Через весь Советский Союз. Надюше надлежало
их сопровождать от Интуриста. Как лучшей, корректной,
надежной переводчице. Этот миллионер, объяснили ей,
был прогрессивных взглядов и с самого начала поддер-
живал еще не признанную никем страну большевиков.
Поэтому его поездка имеет важное значение.

Ночью Анатолий проводил Надюшу к московскому
поезду. На платформе под стеклянным сводом, куда
долетало пыхтение локомотива, он, поглаживая На-
дюшину руку, говорил ей, что, когда она вернется, у них
в квартире уже будет стоять... "Ах, тьфу, тьфу, не сглазь,
Анатолий, умоляю тебя. Не говори вслух!" Надюша все-
таки боялась, как бы усатый этот... "Ну что ты, он придет,
и мы начнем. Будь уверена. Все как по маслу". "Но на
всякий случай, на всякий, мало ли, — просила Надюша,
— ты вот что, дай мне телеграмму. В поезд. Мне пере-
дадут на станции. И я успокоюсь. А то буду волноваться
и думать". "Хорошо, — обещал Анатолий. — Сразу же
дам телеграмму. Увидишь. Не волнуйся. Я буду так ску-
чать... А ты?" "А я? Мой дорогой..."

Вокруг рысили носильщики, мелькали их бляхи, кто-
то помахивал тростью, торопясь, борода и портфель.
Артист (известное лицо) окружен был по соседству бу-
кетами, поцелуями, смехом. Элегантная дама в шляпке
с перышком кружевным платочком промокнула глаза.
Во френчах с орденами темно-зеленой группой прошли
серьезные люди в суконных фуражках. Скрипели высо-
кие сапоги.

Надюша обняла Анатолия и на миг замерла.

Раздался второй колокол.

— Отправление, граждане, — предупредил провод-
ник.

И поплыло окно, поплыло, опережая понемногу Ана-
толия, рассекающего на перроне тревожный дымок па-

ра, легкой угольной гари, — запаха движения, железного шелканья колес, постепенного, величавого, неспешного первого шага еще замаскированной, еще не открывающей своего жадного лица, еще сдерживающей свою истинную силу разлуки...

Мастера пришли в назначенное время, принесли деревянные ящички с продольными ручками, в которых звякали инструменты. Потоптавшись в передней, сняли небогатые пиджаки, и, войдя в закуток, усатый старший тщательно разметил стену, очертил карандашом, где рубить. Анатолий стоял за их спинами, глядя на серьезную, кропотливую подготовку. Наконец усатый отступил от стены, и тот, что моложе, встал на его место, поплевал на ладони, взял в руку кувалду и, размахнувшись, ударил в стену. Штукатурка лопнула, но поддавалась не сразу. Трещины звездой рассекли куски, обнажилась решетчатая набивка, придерживающая паклю. Мастера стали срезать и снимать ее, расчищая путь к кирпичной кладке. Анатолий, закашлявшись от пыли, ушел в комнату, переоделся и, предупредив мастеров, что уходит ненадолго, быстро пошел, почти побежал, сдерживая рвущийся шаг, на почту и дал Надюше телеграмму: "ПЕРВЫЙ УДАР СДЕЛАН ЛИКУЮ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ АНАТОЛИЙ".

Это было 1 декабря 1934 года. В этот день в Ленинграде был убит Сергей Миронович Киров.

— Курите? — спросил следователь.

Надюша ответила, что нет. Она чувствовала, как платье за эти дни пропахло потом, и стыдилась, что оно липнет к влажной спине. Ей стало легче оттого, что следователь закурил. В петлицах гимнастерки у него были какие-то знаки, но Надюша в них не разбиралась. Гладко выбритые щеки, пенсне и светлые волосы, причесанные на пробор, — все это принадлежало нормальному, обедающему дома с женой, спящему ночью в собственной постели человеку. И Надюша держалась за

него взглядом, чтобы не утратить ни крохи этого понятного и знакомого ей существования и не оторваться, не уйти душой в то непонятное и чуждое, в котором она очутилась. В городе, где Надюшу сняли с поезда, имела старинная каторжная тюрьма; каменный каземат, решетка в узком, скошенном под потолком окне, железный лязг замка заставили Надюшу собрать все внутренние силы для отпора. Устоять, пока не выяснится страшное недоразумение, пока не придет на помощь правда, Надюша могла, — ей только неловко было перед следователем за то, к а к о г о р о д а совпадение, какая нелепость...

Следователь разобрался быстро. П о л а г а л о с ь только получить подтверждение из Ленинграда. Он сдержанно обмолвился, что, как только там опросят Анатолия и проверят, придет бумага. Это скоро.

Но т а м произошло нечто непредвиденное. Анатолия на месте не оказалось. Он исчез. Не откликнулся на вызовы. Не приходил домой ночевать. Не являлся на работу. И соседи ничего не знали. Только дыра в стене да усатый мастер мужественно свидетельствовали в пользу Надюши. День таял за днем, и Надюша держалась только мгновениями, когда в дверях скрежетал ключ и ее вели коридорами на допрос.

— Курите? — спрашивал следователь. Взяв из пачки "Беломора" папиросу, он сдавливал мундштук пальцами и прикусывал зубами, щуря глаза от струйки дыма, двигая из одного угла губ в другой.

Постепенно Надюша начала понимать тайный смысл постоянного вопроса. Быть может, это единственное, что он мог ей уделить. Каждый день хоть на час следователь вытягивал ее из каземата в не ахти какую, но комнату, с письменным столом, с чуть слышными звуками живой улицы за окном, и Надюша догадалась, что он просто сочувствует ей, как всякий порядочный человек воспринимает беду ближнего и старается поддержать.

И, когда однажды подступило то, неизбежное, когда терпение лопается, когда долее человек не может ни

секунды видеть стену, решетку, замок, парашу эту уни-
зительную, и Надюша последним усилием ума сообра-
зила, что сейчас начнет визжать, колотить в железную
дверь, кататься по полу, кусаться, от чего уже не удер-
жат ни высота духа, ни закаленность воспитания, ни
истерзанное чувство собственного достоинства, — она
вдруг схватилась за это “курите?”. И спаслась.

Придя на допрос, Надюша сразу же протянула руку
за папиросой. Следователь увидел раскусанную, лоп-
нувшую, грязноватую и схваченную уже стружьями кожу
запястья и отвел глаза.

Перекладывая бумаги и папки, он сказал Надюше,
что сообщение из Ленинграда пришло. И ошибка ему
ясна. Сейчас, здесь, немедленно Надюша будет осво-
бождена из-под стражи.

Вода в графине забулькала, стакан поехал по неров-
ностям стола. Надюша пробормотала:

— Благодарю.

— Но... — сказал следователь. — Но...

И объяснил, что, однако, Надюша должна понять
сложившуюся обстановку. Труднейший политический
момент. В таких обстоятельствах, когда, возможно, су-
ществует заговор. Царит глубокое возмущение. Конеч-
но же, подозрения с Надюши сняты. Но ввиду
серьезности дела ей придется отправиться на житель-
ство в город на Волге. Таково предписание.

Спичка чиркнула о коробок, но не зажглась. О, черт,
она чиркнула во второй раз, огонек потянулся к кончику
папиросы, которую Надюша неумело держала между
пальцами и отвела далеко-далеко.

Следователь добавил еще, чтобы Надюша не возвра-
щалась в Ленинград хотя бы за вещами. Поскольку ее
муж, Анатолий, прибывший якобы из командировки и
опрошенный, факт посылки не подтвердил... Не посы-
лал он такой ужасной телеграммы. И ничего не знает.

Отпуская Надюшу, следователь отдал ей пачку “Бе-
ломора”, и она довольно быстро приучилась курить. В
городе, где Надюше предстояло жить, деревянная при-

стань пахла дегтем, с Волги густо и низко доносились парходные гудки. По берегу, огражденному толстой кованой цепью, провисавшей между каменными тумбами, шла протоптанная, мощеная мелким булыжником аллея с деревянными скамьями. Своды гостиного двора, где помещения бывших лавок занимали учреждения, обветшали и гляделись неухоженными; на базарной площади по ярмарочным дням торговали глиняными крынками и деревянными игрушками, в снегу желтела втопанная солома.

По ночам стояли очереди за ситцем и хлебом, и Надюша, со своим маленьким дорожным чемоданчиком, в фетровых ботиках на скользящей по снегу кожаной подошве, пристраивалась к темному ряду закутанных в платки женщин, грелась их теплом, откликалась на нехитрые разговоры, уступая им деньги, вырученные за часики. Нашлись покупатели на горжетку из скунса, и Надюша, чтобы не мерзнуть, заворачивала шею ночной кофточкой, взятой в дорогу из-за возможности во владивостокском экспрессе сквозняков...

Вскоре отыскалась работа — преподавателем английского языка в школе и комната, а вернее угол, ибо пополам с другой такой же учительницей, в одноэтажном частном домике. Однажды, когда уже шло к весне, приехал Анатолий, отыскав ее после долгих стараний, привез какие-то вещи, чемоданы с платьями, плакал, встав на колени, ломая руки. Надюша сидела в кресле, придавленная печалью, похожей на ком грязного, смерзшегося с опилками льда, каким набивают погреб, а потом выбрасывают к осени, чистя его и готовя к новым запасам. Печаль была жесткой, холодной, сухой и необратимой; Надюша, страдая, глядела, как Анатолий все не уходит, желая, видимо, еще что-то выпросить у нее. Но из пустоты не выкатывалось ни одной слезной горошины, и Надюша, достав пачку "Беломора", сдавила пальцами мундштук папиросы, сделав его фигурным, и чиркнула спичкой. Анатолий снизу, с пола, смотрел, как маленькие тучки побежали одна за другой, теряя ком-

коватость, расплзаясь в кисею, в удушливый воздух, горелый и жесткий.

Надюша сказала, что ей не нужно, она не хочет никаких вещей. Человек, в сущности, обходится лишь тем, что в данный момент на нем и при нем. Зачем привязанность, боль, любовь к призракам? Это все держится только в душе, только если из души не вынешь, то и не потеряешь. Она шутила и улыбалась, вдруг выронив изо рта колечко, — оно будто воскликнуло: "О!О!О!" — стало тянуться, вытягиваться в воздухе в длинное-длинное О-О-О...

В те годы примерно Надюша каждые каникулы наезжала к брату в Москву. Туфли с гранеными каблукми остались от интуристовских времен, а вместо "Беломора" фигурировал "Казбек", что означало возросшее материальное благополучие. Там, в "ах, Самара, городок", Надюшу довольно быстро рассмотрели, переманили из школы в местное педучилище. Она взяла сразу два курса, английский и французский, поговаривали даже о заведении кафедрой. Целыми московскими днями Надюша просиживала в Ленинке. ("Нет, нет, знание языка — это еще не профессия. Точно так, как голос — это еще не певец. Базис, основа, почка, если угодно, но на ней еще нужно нарастить...") Из чего нетрудно было понять, что свой новый образ жизни Надюша воспринимает как окончательный и бесповоротный, будто бы выбранный по собственной воле. К вечеру она возвращалась на трамвае в Покровское-Глебово, где обитала семья брата в бревенчатом двухэтажном доме. Дом стоял среди таких же одинаковых домов, расположившихся вблизи берега канала в холмистом и песчаном бору. Сосны там были знаменитые: корабельные, точеные, над алой колоннадой стволов в выси зеленели их пушистые густые шапки, а внизу, у стройных черных ног, лежали хвойные чистые перинки. Трамвай делал круг на Волоколамском шоссе, возле тоннеля под каналом, и Надюша шла к дому короткой дорогой

через бор, вдыхая солнечный жаркий аромат янтарной сосновой смолы.

Сосновыми шишками разводили на кухне выдавший виды медный самовар, пили чай с бутербродами и ходили гулять вдоль аккуратного, ровного берега канала, выложенного плитами; любовались строениями ближнего шлюза, увенчанными якорями. Или возвращались в сторону города, к огромному парку Покровское-Стрешнево, к краснокирпичной стене поместья, где за воротами виднелся дом-замок, с башнями, с зеленым прудом у подножия, и смотрели на оживленную жизнь дома отдыха, который там помещался. Трамваи бежали через мост над железной дорогой, пронзительно звеня, и в сельского вида деревянной лавке торговали керосином и лиловым денатуратом для разжигания примусов.

Иногда доходили из Ленинграда вести об Анатолии. Нечто о дедушкином кресле или бабушкином бюваре, отправленном (кажется) в антиквариат. Насчет увольнения и что якобы явился к общим знакомым весьма и весьма на все else, с разными ужасными фантазиями относительно бритвы. На столе оставлялось письмо для Надюши. Все приходило в движение, возникала вакансия в учреждении, Анатолий держался, почтальон приносил заказное Надюше, которое она не принимала. Бывало, что прежняя подруга навещала Надюшу в Москве, у брата, говорила шепотом, округляя глаза: "Сорти де-баль... атласное, с гагачьим пухом... брюссельские кружева... ведь этак все прахом, все по ветру, ма шер..." А Надюша казалась глухой, улыбаясь этим разным меховым накидкам, согревавшим когда-то плечи давным-давно умерших, исчезнувших родных людей. Их нет, их нет, зачем эти знаки, зачем суета? Их нет, как нет Анатолия, как нет на свете "вещей".

Надюша просыпалась в уголке за ширмой и, чиркнув спичкой, находила коробку "Казбека". Прикрыв веки, она видела то, что и днем: берег канала, сосны, новые станции метро с чистым, свежим мрамором, ресторан на балюстраде Речного вокзала, где всей семьей ели

жареного сома, фонтаны у главного павильона Сельскохозяйственной выставки. Это никак не связывалось с Анатолием, дырой в стене, "вещами" и всей прошлой жизнью.

Был еще один момент, когда все же пришла телеграмма и Надюша, явившись поездом, внезапно войдя ночью к брату, проговорила что-то очень путаное о морозе, снеге и тротуаре, что "долго лежал спиной", "крупное воспаление легких", "долго, долго и трудно... организм боролся..." Потом, поставив дорожный чемоданчик на пол, Надюша села, сказала громко: "Анатолия больше нет. Все". И побледнела как мел.

Уже ожидалось, что скоро стронется. Их расселят с товаркой по отдельным комнатам. Их не сблизило и долгое совместное жилье. Разгородились, как могли, этажеркой и занавесками. Товарка тоже свою историю держала при себе. Гостей, чтобы не мешать друг другу, дома по уговору не принимали. И, в сущности, были едва знакомы. В силу элементарной воспитанности держались корректно: "Позвольте отодвинуть ваше ведро? Ради Бога..." Вот будет комната, думала Надюша. Вот будет комната! Закреть дверь и хохотать, хохотать, кружиться! Прыгать даже. Ох, знаете, что со мной? У меня собственная дверь и собственное окно. А это что-нибудь изменит, уважаемая Надежда Викторовна? Ну конечно же! Мне станет так хорошо! Побегу на почту и вызову родных: родные, приезжайте в гости! Можно приехать, сидеть на голове, спать вповалку, как сельди в бочке. Родные селечки. Близкие мои. Вас будет полон дом. А? Подруга писала из Ленинграда, что, по ее мнению, Надюше следует настраиваться вовсе не так, а иначе. Следует вернуться в Ленинград. Миновало, переболело, забылось. Подать заявление, перевестись в ленинградский какой-нибудь институт. И подумать об устройстве жизни.

Пора начинать. Набело. Жертвы принесены. Катастрофа искуплена. Приходит время полноты. Пора, Надюша, начинать.

Но пришла война.

... Участковый взшел на крыльцо, подергал дверь, постучал кулаком. И им, в платках поверх домашних халатиков, положил на стол две повестки. Надюша слушала сквозь свист в ушах: по распоряжению выселяетесь из города в двадцать четыре часа, эшелон номер такой-то, на товарных путях, распишитесь. Куда? Там узнаете. За подводой бегите, дамочки, заранее. А то на себе придется. И... побольше наберите. Дорога тяжелая.

Это, Надежда Викторовна... Постойте, вы меня знаете? А как же? Дочку мою в четвертом учили. Так это, Надежда Викторовна, когда подводу сговорите, приду вам вещички перетащить.

А слез не надо. Там тоже люди живут. Вот так. Глядишь, оно и... Ладно. До завтра.

Эшелон в Барнаул шел десять суток. А может, и дольше. Прожить, просуществовать каждые сутки в дороге, в теплушках (название-то какое доброе, ласковое даже, дал родной русский язык для этих, в сущности, обыкновенных дощатых и щелястых сараев на колесах) пришлось сполна, но это все-таки была дорога. Которой приходит конец. Конец страшил Надюшу более дорожных тягот: тут были вместе такие же бездомные и обездоленные, в меру сил поддерживающие друг друга, — там ждал неизвестный город, который они, пришлые, затопят своей бедой, своей неустроенностью, бездомностью своей...

Все рухнуло для Надюши. И это, она ощущала, именно э т о и был настоящий крах. Не какая-то там ошибка с телеграммой, не случай с нею, не дикий поворот в ее судьбе, а общий со всеми, кто ехал вместе с нею в эшелоне, крах, общий отрыв, общая печаль, общий страх перед неизвестностью города, в котором предсто-

яло им найти угол, работу, пристроиться как-то к чужим домам, потеснить живущих там собою, своими детьми, своею нуждой. Надюша думала, что ей, одинокой и бездетной, надо особенно набраться терпения, отступить в конец очереди, как она это делала в толпе, кидавшейся на стоянках за кипятком, как занимала самое последнее место, дальше от теплой печурки, где грелись женщины с детьми, и отдавала им водянистый суп или яблоко, выменянное по дороге. Она одна, говорили, кивая. Она одна, чего ей... ей же полегче, чем нам... Здоровая, образованная, устройтесь, успокаивали старухи. Хоть на лесоповал, и то можно.

Поэтому, именно поэтому, ожидая мук бездумных ночей (таких же, только, возможно, более долгих, чем в волжском городе), Надюша поверить не могла свалившемуся на нее счастью: в вокзальном, густо забитом людьми помещении, где все время выкливали кого-то по каким-то спискам, ее вдруг зацепил за рукав сидевший на туке седой старик:

— Надюша... Надюша, это вы!

И Надюша узнала ленинградца Дмитрия Владимировича, знакомого семьи, ученого-филолога, профессора...

Ну как же поверить внезапному повороту дел, без неловкости даже, что удача слепа и лишь вследствие такого недостатка избрала тебя объектом своих благодеяний! Не говоря уже о том, что вдруг — вот он, человек, говорящий с тобою на твоём, позабытом было уже родном языке детства и юности, называющий чисто по-ленинградски (по-петроградски, по-петербуржски) белый хлеб булкой, как больше нигде, ни в одном другом городе! Надюша узнала, что сын Дмитрия Владимировича на фронте, а жена сына, Верочка, осталась с Пупсиком (это внучка, милейшее существо) в Ленинграде, их учреждение пока не эвакуировали. Таким образом, письма сына дойдут через Верочку, — правда, некоторая пауза неизбежна, ничего не поделаешь. Зато институт, в котором Дмитрий Владимирович имел честь занимать кафедру, прибыл в Барнаул "специальным по-

ездом", и уже, насколько можно судить, им отводится помещение и так далее. Можно надеяться, что учебный процесс наладится в полном объеме, с привлечением самых квалифицированных преподавательских сил...

Вот таким образом Надюша обрела работу. А вслед за тем и жилье, — просто чудо свершилось как бы в мгновение ока. Жилье Надюша получила по разрядке исполкома в пригородном поселке. В городском доме-бараке, выделенном для семей профессорско-преподавательского состава, ей как "одиночке" не хватило места, но она нисколько не претендовала, разумеется, — и едва Надюша вошла в теплую избу, как ей понравилась там все: вырезанные из газеты кружевные занавесочки на окошках, умывальник с картинкой на боку, тканый полосатый половик.

Хозяйка бросилась принять чемодан. А от стола, от керосиновой лампы глядела дочь, кареглазая девица, вторая хозяйка, с такими же косицами, подтянутыми вверх от ушей и связанными цветной тряпочкой на макушке. Украшением дома был также глиняный кот, копилка с щелью на голове, раскрашенная мелом и золотом.

До этого райского дома добираться было из города паровичком, ходившим раз в сутки. Хозяйка служила обходчицей на железной дороге. Дочь работала первый год на кирпичном заводе.

— Ксенька, за космы выволоку! — Хозяйка держала дочь в разумной строгости, чтобы та помнила о своей еще детской зависимости. — Надежда Викторовна, скажите ей. Ишь, на танцы! Ты послушай, чего тебе учительница скажет!

И Надюша, улыбаясь, говорила, что танцы — прекрасное занятие, что каждой девушке в возрасте Ксюши полагается танцевать, танцевать до упаду; Надюша весьма сожалела, что в ее юности танцы были не в чести — "революционный держите шаг", — и балы, естественно, перестали существовать, но как хотелось кружиться! Эта музыка, оркестр, зал с паркетом и молодой человек,

склонивший голову в приглашении, — нет, нет, пусть это клуб, пусть баян, пусть танго и фокстрот... Кстати, знаете, что означает английское слово "фокстрот"? Лисий шаг. У каждого времени свои модные танцы. Это право молодости. Ее признак. Были, например, матроны, нюхавшие соль при виде ужасающе неприличного вальса, потеснившего пристойный менуэт, где никаких публичных объятий, лишь кончики пальцев соприкасаются в изысканных, благородных фигурах.

Хозяйка с дочерью слушали Надюшу, разинув рты. Понемногу возникал Л е в Т о л с т о й, не тот, не школьный, а какой-то переведенный вроде на их домашние дела, обыкновенно-понятный: хоть и балы там, и сгинувшие аристократы, но Наташа-то Ростова оказывалась точь-в-точь как Ксюша, молодая девчонка, с такими же переживаниями, и Ксюша даже, укладываясь на ночь вместе с матерью в кровати, толкала ее под бочок, обзывала, хихикая, "старой графиней" и шепотком частила ей на ушко все свои девичьи новости.

Надюша, лежа на сундуке, который был ей отведен, вдыхала запах сенной жесткой подушки и засыпала со спокойной, проясненной душой, — чувствуя и шепот этот, и хихиканье, и душевную эту связь делом рук своих, ею внесенным в их дом семейным вкладом.

— Вот, слушай учительницу! — приказывала хозяйка дочери. — Тебе учительница скажет! Так я говорю, Надежда Викторовна?

Можно ли было в прекрасных таких обстоятельствах замечать некоторые неудобства, связанные с тем, что паровичок, которым Надюша ездила на занятия в институт, ходил лишь раз в сутки? Неудобство выражалось в том, что через день она оставалась на ночь в городе; приткнувшись на вокзале, читала полученные в бандероли от брата из Москвы номера "Ньюсуик" и нового издания "Британский союзник", правила студенческие работы, держа на коленях стопку самодельных тетрадей, сшитых из чего Бог послал — из газет, оберточной бумаги, разлинованных конторских книг, заваливавшихся

со времен Царя Гороха, а также читала, уже подремывая, английскую классику, томик из тех, что захвачены были с собой в чемодане. Надюша сиживала (очень редко, но все же) в гостях у Дмитрия Владимировича, которому был выделен ввиду его профессорского положения в семейном институтском бараке отдельный фанерный апартамент, прозванный ими под шутливую руку "обиталищем имени монаха Бертольда Шварца", и они, беседуя у коптилки, непременно вставляли из любимой книги: "Уважайте матрасы, граждане" или "А токмо волею пославшей мя жены" (потому что смех вырабатывает в организме сахар, говаривал при том Дмитрий Владимирович). Иногда — тоже для сахара — он рассказывал Надюше, как встретил своего друга, а ее отца, в глубокой задумчивости шедшего в университет на лекцию; некоторым образом одна его нога сместилась в пути с тротуара, и он ступал ею по мостовой. Отчего идти ему было, вероятнее всего, неудобно. Увидев Дмитрия Владимировича, он смущенно извинился: я что-то сегодня хромаю...

Надюша, в свою очередь, рассказывала Дмитрию Владимировичу, как ее брат, будучи совсем маленьким, на вопрос взрослых о том, кем он хочет стать, отвечал, что станет профессором. Так что дело было решено еще тогда. А ныне профессор с близорукостью, плоскостопием и бронью трудится на рытье окопов и оборонительных сооружений на подступах к Москве, о чем извещают Надюшу письма-треугольнички со штампом "Просмотрено военной цензурой".

Тут они слегка спотыкались как бы на упоминании о письмах. Пока коптилка в аптечном пузырьке тянула коротенький язычок с черной гривкой, они предпочитали витать в отдаленных эмпиреях, где не было того, о чем боялся говорить Дмитрий Владимирович: не было невестки и Пупсика, не отвечавших на его письма из Ленинграда. Не было, наконец, ничего напоминающего об отсутствии вестей от сына.

Дмитрий Владимирович становился весел, топал по полу ногами в пимах, будто танцевал сидя.

— Сударыня! — говорил он. — Однако высшее наслаждение - чтение, во все другие моменты надо экономить керосин. Теперь концерт.

И они брались за дело: гасили коптилку и пели "Лунную сонату" в два голоса. Это выходило вполне: Дмитрий Владимирович начинал мягко, плавно утешающее покачивание вступления:

— Та-та-та, та-та-та... — Волна за волной.

— Пам, па-пам, — шепотом подавала звук Надюша, — пам, па-пам...

"...Здесь был очень богатый край, — писала Надюша в Москву. — Тысячные стада скота свободно паслись в степи. Масло производилось в огромном количестве. Неподалеку находили золотые и серебряные россыпи. Барнаул основан еще в восемнадцатом веке и превратился в развитый, зажиточный город. Но в начале двадцатого столетия по неизвестной причине в Барнауле случился пожар, и город выгорел почти дотла. Рассказывали мне, что, спасаясь от дыма и огня, люди бросались в реку Обь. Теперь город не представляет из себя ничего интересного. На одно большое здание приходится пятьдесят домишек. Трамваев и канализации нет. Расстояния огромные, и все пешком — требуется много обуви. Сюда эвакуировался Драмтеатр из Днепропетровска, есть два кино, и библиотека, и музей. Я работаю вот уже месяц в Машиностроительном институте. Больше здесь вузов нет. Был пединститут, но его перевели осенью в Камень — тоже город на Оби, 250 км на лошадях отсюда; железной дороги нет. Кроме того, я работаю еще в школе — немецкий. Французский язык здесь не требуется.

Я живу в комнате вместе с хозяйкой, плачу 80 руб. за угол. У нас есть радио. В 11 ч. ночи по нашему времени передают Москву, и я тогда приближаюсь к вам, мои дорогие. У вас в это время 7 ч. вечера".

— А ну-ка, Ксюша, ну-ка! Вот это зе тейбл, повтори, май дарлинг!

Хозяйкина дочь смеялась, отмахиваясь, но мать велела повторять за учительницей: зе уиндоу, зе доо, не смыслишь, кобылица.

Холода завернули уже лютоватые, ранние, и Надюша добредала с паровичка домой, еле волоча ноги. Хозяйка подглядывала, как она, тяжело присев, разматывала платок, а затем непременно, сняв блузку, мылась под ручкой, гремя железным стержнем, и только уже после этого валилась на свой сундук спать. У хозяйки аж кожу сводило при одной только мысли о холодной воде — она велела Ксеньке, как принесет ведра, заливать в ручку, чтобы за сутки вода хоть в доме согрелась. Надюша, кутаясь в одеяло, еще перед тем как заснуть, норовила хоть пару английских слов да вдолбить девушке.

— Ай лав ю, — выучила та и хохотала.

В голове у Ксеньки были только танцы, танцы и танцы. Как придет со смены, так и давай накручивать кок. Шестнадцать лет, “но сердце было в воле”, говаривала Надюша, когда они оставались вечером с хозяйкой вдвоем, а гулена опять бежала в “гости”. Почти каждый дом в поселке приютил эвакуированных, у кого-то нашелся и патефон, и пластинки. Однажды хозяйкина дочь тайком надела Надюшины туфли с гранеными каблучками; хозяйка разбушевалась: “космы выдеру” и так далее, — но Надюша просила ее не набрасываться на дочь. Взяла и взяла, как бывает между своими.

— Мои родные далеко, — сказала она. — И вы теперь моя семья.

“Сейчас сижу здесь и пишу, пользуясь еще светлым временем. У нас весьма плохо со светом. Электричества нет совсем; керосин на рынке продают по 200 руб. бутылка. Дома сидим при маленькой копилке, при ней читать и писать почти невозможно. А дни теперь стали

совсем короткие. В институте очень холодно, высидеть шесть часов занятий трудно при температуре ниже нуля. С продуктами стало трудно, говорят, что цены догнали московские, масло 800 руб., молоко 80 руб., мясо 300 руб. Но в институте нам дают обед, правда, порции очень маленькие, и нужно, наверно, три обеда, чтобы обойтись. Аппетит стал совершенно неприличный. В школе по случаю праздника мне выдали 300 гр. варенья, а в институте полтора килограмма виногрета. Ты пишешь, что у папы распухли ноги и мама сдает кровь как донор для раненых. Напиши мне еще непременно, как вы питаетесь. Поблагодари от меня папу за бандероли — я получила две, в одной "Moscow news", в другой "Правда" с пьесой "Фронт".

Я не знаю, когда снова к вам приеду и привезу тебе какую-нибудь "штучку". Не помню, писала ли я вам, что мои вещи, оставшиеся в прежнем городе, все проданы, так что у меня теперь нет, как говорится, ни кола, ни двора, ни семейной памяти, только пара чемоданов, что со мной и все. "Штучки" наши с тобой пропали, дружок.

Ты вот лучше мне напиши: дают ли вам в школе булочки? У нас тут ученикам дают. Знаешь, чего бы мне хотелось? Чтобы в городе был трамвай".

О продаже вещей пришло уведомление и перевод на три тысячи рублей, которые могли бы истаять довольно быстро, если учесть, что Надюша решила их все перевести на закупку керосина. Ибо свет — это чтение, как она объяснила хозяйке. Из чемодана выехали на колченогий столик, приспособленный Надюшей под письменный, материалы начатой в волжском городе работы по исландскому языку. При двух копилках, объяснила она хозяйке, заниматься можно по-царски. Ничего, ничего, гений Пушкин писал при свече, и вы только послушайте, хозяйюшка моя милая, что у него выходило: "Ты внемлешь грохоту громов, И гласу бури и валов, И крику сельских петухов — и шлешь ответ; Тебе ж нет отзыва... Таков и ты, поэт".

Хозяйка, переплетая косицы, одну держа в зубах, чтобы не распустилась, вторую быстро раздирала пальцами. В темном, пятнистом зеркальце ее лицо казалось моложе, еще более схожим с лицом гулены Ксеньки, — с такой же обветренной, запаленной морозом кожей, ненатурально румяной. Она Надюшу не слушала, думая о своих делах: была такая оказия — корову предлагали купить. Неподалеку, день ходу. Хорошую, молочную. На фронт у них братья все ушли, корова осталась, родственники продают, своя ест. Вот бы купить! Да только где же такие деньги взять! Почти уж было совсем отказалась, но тут жиличке пришел перевод. И это могло изменить дело. Дать ему другой поворот.

Присев к столику, хозяйка для разгону ковырнула пальцем щербину в строганой доске, а потом сказала, что деньги-то перевести на керосин недолго. Но какой толк?

— Я смогу заниматься, напишу задуманную работу, — объяснила Надюша.

Что-то тревожное промелькнуло, как зимняя муха, едва заметной тенью. Может, хозяйке будут мешать коптилки, сидение у столика, когда они с дочерью улягутся спать?

Хозяйка не стала касаться тонких материй, а прямо выступила с предложением. Купить корову. На паях. Напополам. И будут они с молоком. Обидно ж такую оказию пропустить. Сама Надежда Викторовна говорила, что они теперь как одна семья. Так почему ж корову общую не завести? А молоко у них свое появится, так и за керосином дело не станет. Ну?! Не зря ваши денежки пропадут, Надежда Викторовна! Корова-то у нас будет. Свое животное.

Надюша отложила книгу. Молоко... Ей случилось однажды на базаре выменять кружку молока...

— Я согласна, — Надюша удержала рукой собравшуюся было вскочить хозяйку, — но с одним условием. Какая из меня владелица коровы! Я ни корму ей задать, ни стойло вычистить, ни пасти, ни доить ее не умею. Вы

правы, она живое существо. А я и дома-то через сутки бываю. Нет, с моей стороны было бы непорядочно владеть чем-то пополам, во что не можешь вложить равного труда.

— Ой, да вы что такое говорите, Надежда Викторовна!

— Пойдите. Ведь вы-то будете за коровой ухаживать, не так ли? А я, выходит, только пользоваться. Нет, я владелицей коровы быть не гожусь. Поэтому поступим так: деньги я вам на покупку дам. Корова будет вашей. А вы мне этот денежный долг отдадите молоком.

— Молоком? — засомневалась хозяйка. — Это как же... да какую цену высчитать? Если государственную, так оно вон как нынче подскочило. На базаре-то.

— Ну хорошо. — Надюша открыла сумку, достала деньги. — Давайте примем базарную стоимость. Вы правы.

— Так базарная... она сегодня такая, завтра, глядишь, другая... Зима не лето, деньги ваши немалые, долг может на сколько лет потянуть... ежели, скажем, литр в день...

— А вы экономист, — пошутила Надюша. — Правильно. Летом может и подешеветь. Предлагаю такой выход: вы мне будете давать литр в день по сегодняшней цене. Идет? Что бы там не происходило на базаре, наша с вами цена останется такой, как сегодня. Ну, по рукам?

И они приобрели корову. Сходить за ней в деревню отрядили хозяйскую дочь. Ксенька отправилась под выходной, засветло, отпросившись у мастера под конец смены. Укутавшись платками, девушка резво затопала от калитки в плотно подпоясанной овчинке, с узелком, крепко ухваченным большой vareжкой, и Надюша, глядя вслед, думала о веселой поре ожиданий, о самой себе, идущей вот так же легко по морозцу через снегом засыпанный мост над Лебяжьей Канавкой, к Зимнему... В кармашке сжатый пальцами (чтоб не потерять) ордер с печатью народного комиссариата: "на портянки", выданный юному лектору краснофлотских курсов. Надюша получила по ордеру из царских закровов огромную бархатную штору. Великолепного материала хватило не

только на портянки, а целая вышла шуба, весьма шикарная, прочная, впоследствии пленившая (разумеется, вместе с Надюшей внутри) взор Анатолия. Юные годы, во что их не одень, одни и те же, думала Надюша. Они лежат на ладони, как вербный пушок.

Хозяйкина дочь ходила за коровой три дня. Уж что и подумать, не знали. Хозяйка бегала по поселку сама не своя; кидалась к мастеру, чтоб только не под суд девчонку за опоздание. Плакала и молила, сама не зная о чем. По соседкам жаловалась, кляня себя и всю затею. Непосильная пурга, взявшись, мела упорно, тянула колючую снежную сеть, и, когда, наконец, из ее пелены выпуталось у калитки нечто темное, бесформенное, большое, хозяйка вскрикнула и бросилась из дому в чем была. Надюша, выбежав вслед за ней и набросив ей на плечи схваченный впопыхах тулуп, увидела, что стоит там не крепкая здоровая девушка, а согнутая женщина с изможденным лицом, с впалыми щеками вместо прежнего румянца. За ее спиной, тоже покачиваясь, покорно опустила рога коровенка в ярме, притащившая на себе короб с сеном. Хозяйка, не помня себя, присела, оцупывая ее вымя руками.

“Коптилка, как ей полагается, коптит, — писала Надюша. — Сейчас 9 часов вечера, боюсь, что не придется досидеть до Нового года, керосина хватит не более как на час. Однако Новый год принес мне кое-что хорошее: я получила на службе сегодня две пары чулок, чулки толстые-претолстые, белые, но в пимы надевать изумительно! Ты мне не сообщаем, как твой экзамен в худ. школу. Рада, что ты снова в муз. школе. Довольна ли твоими успехами Елена Фабиановна? По-прежнему ли Гнесины помещаются в доме на Собачьей площадке? Ты пишешь, что посередине комнаты у вас теперь стоит буржуйка, а где же рояль? Передай папе спасибо за вторую порцию газет и литературы; английские книги “с машиностроительным уклоном” очень пригодятся для моих студентов. Как папины ноги? Сошла ли опухоль?”

Прекратила ли мама донорство? Тут говорят, что в Москве стало лучше с продуктами. Один наш преподаватель на днях уедет по вызову в Москву, я с ним пошлю вам немного крупы, я купила на рынке.

Ах, вот еще: в институте нам дали овчинный лоскут, и теперь я стригу шерсть, хочу сама спрясть и сама связать платок. Думаю, что настригу порядочно, и еще выйдет тебе шарф и шапочка. Меня теперь очень занимает выучиться прясть. Спешу писать, коптилка меня поторапливает, хочет погаснуть. А как прошла твоя постановка пьесы "Партизанка Устя Бирюкова"? Я тут в театре не была. Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы в городе был трамвай. Трамвайные звонки мне кажутся теперь чарующей музыкой."

Коровенка отдышалась и быстро проявила общительный нрав. Стоило хозяйке войти к ней в сарай, как Зорька бочком-бочком загораживала ворота, озорно расставив копыта, и не поддавалась ни на какие уловки. Хозяйка, попавшись, вопила, из дома выскакивала Ксенька, вдвоем они накручивали коровий хвост, колотили по широкому лбу, дергали длинные трубчатые уши, а Зорька весело сопела круглыми ноздрями, распуская в улыбке толстые губы. От одних ее нахальных глаз, прикрытых густыми прямыми ресницами, можно было на стенку лезть. И скотина точно это знала. Без сомнения. Приподняв хвост, пускала такую струю, что хозяйка едва спасала подойник. посражавшись, Зорька получала от плюнувшей в сердцах Ксеньки дополнительное ведро теплого поила. И на том стояла твердо. Два раза таким образом выкупали и Надюшу, зашедшую полюбоваться "на животное". После чего Надюша прозвала сарай частным зоопарком и любопытства больше не проявляла. Каждый раз, возвращаясь из города, она заставляла свое молоко на столе под тряпицей. Хозяйка, послунявив огрызок химического карандаша, делала на притолоке пометку, сколько дано. Коровенка в этом смысле оказалась лучше, чем предполагали, с надоями

не скупилась, отчего Надюша прозвала ее ударницей. Хозяйка с дочерью стали сбивать масло, ставить творог. Вследствие этого возникли в поселке и покупатели. Однажды, вертясь у зеркальца, Ксюша вдруг надела роскошное шифоновое концертное платье, в рюшках, с пышными буфами рукавчиков. "Ну, зараза!" - ахнула хозяйка. Надюша, оторвавшись от своего исландского, спросила, откуда такое чудо, и получила ответ, что выменяли на масло.

Она тоже со своим ежедневным литром сделалась почти что Крезом. Привозила Дмитрию Владимировичу то стакан простокваши, то творог, который научилась от хозяйки готовить в тряпице.

Первый раз, получив дар, Дмитрий Владимирович пришел в возбуждение, подшучивая над новоявленной владелицей крупного рогатого скота, специалистом молочного хозяйства и прочая, и прочая, но затем крепко уперся, что ни грамма не возьмет даром. Жизнь нас обязывает, говорил он, топоча нервно пимами в пол, надо переступить прежние понятия. Наша с вами порядочность не пострадает, уступив реальности; наоборот, было бы непорядочно пользоваться вашей добротой и врожденным бескорытием. Слов нет, слов больше нет, и он просит считать вопрос решенным.

Затем они пили кипяток. На коленце железной трубы печурки висели, набухая, жирные капли дегтя. Огонь играл коротко, скуповато на сырой древесине. Его свет был единственным освещением в фанерной комнатке Дмитрия Владимировича. Из экономии он не зажигал коптилку, когда топилась буржуйка.

Все-таки свойство человека обрастать бытом, думала Надюша, впитывая старинный свет огня, душой собирая накопленное: Дмитрия Владимировича, хозяйку с дочкой, относившихся к ней хорошо, поддерживавших ее, как сделали бы это родные, не будь они разлучены сложившейся жизнью. Она тоже теперь смогла им в чем-то помочь; и согревалось сердце.

— ...Неверно понятая мысль Толстого, — говорил Дмитрий Владимирович, — искаженный смысл его фразы. Применительно к декабристам он писал, что аристократия была лучшей частью русского народа не только потому, что была наиболее образованной, но и потому, прежде всего, что в аристократических семьях с детства внушалось чувство ответственности за свой народ, за его судьбу. В закрепощенном крестьянине такие чувства воспитываться не могли, и потому боль и стремление к духовному росту народа исходили прежде всего от аристократии. Вот, наверное, как шла мысль Толстого. И, только ее недопоняв, можно было упрекать Толстого в узости мышления, в классовой приверженности и в революционной отсталости. Что значит: за словами не уловить сути. За формой выражения не схватить идеи.

— И все же, — Надюша чуть прижмурилась от тепла и вообще от этого человеческого: от сидения у печки, от разговора, — и все же он написал Пьера, такого высочайшего, прекрасного, чуткого, благородного человека, своего любимца Пьера он написал в страшном шествии пленных, людей, доведенных до полного физического и нравственного упадка, бредущих мимо трупа с черным лицом, приставленного к церковной ограде, и уже не способных даже на чувство ужаса перед бесчеловечностью, помните? И Толстой написал с безжалостной правдой, как Пьер, спасенный и выхоженный Платоном Каратаевым, в этом нелюдском шествии отводил от него, ослабевшего, глаза, инстинктивно отделяясь, хоронясь от его обреченности... а? А потом, когда там, у дерева, над сидящим Платоном Каратаевым раздается выстрел, Пьер как бы не слышит, не интересуется тем, что произошло. Он спасает себя для жизни, он почти как животное движется вместе со всеми только одним инстинктом. На грани. А? Знаете ли, я всегда, всегда думаю о Пьере... в иные минуты... Толстой написал это для меня... потому что я принадлежу народу, у которого есть

Толстой. Нет, простите, это необъяснимо. Не могу высказать.

— Да, да, Надюша, тут вы правы. Толстой мыслил толстовскими категориями. Вернее, чувствовал — этому чувству равного нет. Есть дар, одаренность — прочесть, открыть в себе: ведь я это тоже чувствую. А он это высказал, сумел. Все-таки мы с вами богаты, Надюша. Сколько у нас есть... волшебства под рукой. Чтобы прожить.

— Есть, есть, на что прожить, — кивнула Надюша.

“Пять строчек твоих каракулей доставляют мне такую радость, что и сказать трудно. Рада, что в комнате у вас тепло и появились духи в магазинах. Это прекрасно. Рисунок твой мне понравился. Ты пишешь, что вы всей семьей ходили смотреть “Фронт” и тебе было очень страшно, когда на сцену стал выезжать настоящий танк и выстрелил очень громко. Здесь у нас тоже идет “Фронт” в драмтеатре, но я еще не ходила. Попроси папу, пусть он хотя бы надписывает адрес на письмах, видеть его почерк мне очень приятно. Сообщи, что ты сейчас играешь у Елены Фабиановны и можно ли купить ноты. По-прежнему ли у них натерты полы в особняке или это теперь неактуально? Тут говорят, что театр Вахтангова разрушен бомбой, а ведь он почти рядом. У нас молоко 90 руб. литр, масло 1000 р., яйца 200 руб. десяток, картофель — 30 р. кг. Но в городе все еще нет трамвая”.

Прошел месяц. Однажды, вернувшись из города домой, Надюша не обнаружила на столе кружки с молоком. И в сенцах, где могло оно быть оставлено на холоде, тоже не было ничего. Всюду прибрано, у печи сушились чистые тряпицы, хозяйка спала, завернувшись в одеяло с головой. Надюша вымылась комнатной водой из рукомойника, стараясь не греметь, улеглась на свой сундучок. В полночь явилась хозяйкина дочь, покошачьи проскользнула в избу, скинула платье, забра-

лась к матери под бочок. Ночь стояла спокойная, беззвучная, неестественно отдаленная от всего, что происходило вокруг, от людского напряжения, от смерти, от неистовых усилий где-то там, там, там... Надюша подумала о своей жизни, такой малой и ничего не значащей, о крошечных своих устремлениях, о ничтожной пользе, которую она приносила своим существованием. Она хотела бы делать больше, больше любить, больше быть любимой.

Наутро хозяйка, отводя глаза, виновато пробормотала, что Зорька вчера не дала молока сколько обычно, кто ее знает, отчего не доилась стерва норовистая, а тут от Прониных прибежали, мальчонка занемог, мол, раскашлялся, и бухает, и бухает, пришлось им все, сколько было оставлено, как раз и отдать. Но зато сегодня... Надюша сказала, что никаких объяснений не требуется, само собой понятно и правильно сделано. Инцидент миновал незаметно. Зорька снова вела себя, как подобает приличной корове, доилась, и Надюшу на прежнем месте ожидал условленный литр молока.

Так промелькнула еще неделя, а затем снова случилась сбой. На этот раз хозяйка уже не прятала глаза, а выложила целый ворох причин. Все они были веские, все доказывали, что у людей в поселке то и дело происходят всякие семейные сложности, которые необходимо заливать молоком, и без Зорькиной продукции никак не обойтись малым и старым, сирым и хворым, а уж Надежде Викторовне как женщине самостоятельной, здоровой, обеспеченной и сознательной, не обремененной семейством, ни "детьми" ни "дедами", ни мужем-инвалидом с фронта, ни непосильной работой, как другие, что лес валят или кирпичи на горбу таскают, уж ей и сам Бог велел свое уступить и в самый конец нуждающихся становиться.

Надюша выслушала молча, в глубине души признавая некоторый смысл в хозяйкиных рассуждениях. Но все же просила считаться с нею и по возможности соблюдать уговор. Или хотя бы предупредить заранее,

в какой день молока не будет. Хозяйка обещала, и молоко стало исчезать довольно регулярно. Надюша наблюдала возросшее в доме оживление. Ко времени дойки к ним отовсюду спешили фигуры с банками, бидонами, бутылками, кастрюлями. В сенцах раздавались позвякивания, шепот, густые булькающие звуки, и хозяйка входила в комнату, открывала ящик комода, чтобы засунуть в коробочку ком сжатых в кулаке сизых тридцатирублевков. "Все, — говорила она. — Сегодня вам, Надежда Викторовна, не будет".

Когда молока не было целую неделю, Надюша, не выдержав, стала возражать. Она сказала хозяйке, что боится, как бы это не превратилось из случая в систему. Ей бы этого не хотелось. Она разрешает иногда воспользоваться ее молоком, но только изредка. У нее ведь тоже есть свои планы. Свои потребности. И потом, ведь у них был уговор... уговор надо соблюдать. Уговор для порядочных людей — закон. Совести и чести. Впрочем, это понятно само собой.

На это хозяйка объявила, что она ученая, учить ее нечего. И ей с высокой колокольни... (тут она простенько обозначила свое отношение к надюшину допотопным понятиям совести и чести). И в дальнейшем она не собирается спрашивать у жилички, как ей распорядиться в своем доме. Как захочет, так и распорядится. Надюша, встав от стола, объяснила миролюбиво, что отнюдь не вмешивается в какие-либо хозяйкины дела; ее замечание касалось только того молока, за которое она как бы внесла деньги вперед...

— Деньги! — фыркнула хозяйка. — Ишь, деньги! Ловко устроилась. Конечно, мы соображаем хуже. Где нам против образованной-то головы. Цены-то вон как подпрыгнули...

— Ничего не поделаешь, — жестко тут же сказала Надюша. — Мы об этом говорили. Уговор дороже денег.

Разговор иссяк, но молоко появилось раза два, а потом исчезло вовсе. Приезжая после занятий, Надюша не находила кружки. И вид чистого, прибранного стола

заставлял его сердце тоскливо замирать. Стол будто выговаривал: тут уже были, поели и ушли, все свои, а ты чужая, о тебе никто не вспомнил, и на тебя не рассчитано. Надюша ложилась на свой сундучок, трясясь от обиды, от сознания того, что с нею не считаются, хотя она ничем такого отношения не заслужила. Ей хотелось говорить с хозяйкой, убеждать ее, пробуждать, взывать к ее чувству справедливости, но она молчала. Все это были не те слова, не те действия, которые могли что-то изменить. Тут царила иная сила, против которой у Надюши не было средств.

Особенно больно приходилось в институте: Надюша не знала, как объяснить Дмитрию Владимировичу отсутствие молока, которое обещала приносить. Она вообще стыдилась такого объяснения. Стыдно было признаться, что ею так пренебрегают, и стыдно было подумать, что Дмитрий Владимирович может заподозрить ее в жадности. Цены-то на молоко действительно подскочили. А у Надюши вдруг исчезли "излишки", как она его раньше убеждала. От этого всего стыдного Надюша предпочитала прятаться и не показываться Дмитрию Владимировичу на глаза. Ночевала только на вокзале.

И думала только об этом молоке, о хозяйке — в круговую. Надо было настоять на своем, вернуть честность, достоинство. Не позволять так наплевательски относиться к этому ко всему...

От отчаяния, приехав домой, она вошла в сенцы и при толпившихся там покупательницах велела хозяйке налить молока в ее кружку. В другой раз, увидев в сенцах творог, она взяла его, съела в комнате, сказав в спину спящей хозяйке, что это в счет долга. И впредь она не позволит с собой не считаться и будет забирать молоко в первую очередь.

— Ой, ой, ой! — воскликнула, хихикнув, случившаяся тут хозяйкина дочка. — Ну, вы еще поцапайтесь, поцапайтесь! Потеха-то!

Ксенька, поправляя огромные ватные плечи, гляделась в большое зеркало — трельяж, появившееся те-

перь в доме. И на окошках появились настоящие занавески вместо газетных.

Надюша легла на сундук, поджала колени и, когда Ксенька задула коптилку и ушла, принялась тихо плакать, стараясь не всхлипнуть, не вздохнуть, не выдать себя ни одним нервным жестом. Тихие слезы жгли горло, рвали грудь, рвались криком. Надюша с ужасом ощущала в себе проявления этого иного, бабского существа: ну, поцапайтесь, поцапайтесь. Вот, действительно, потеха...

Два следующих дня молоко появлялось в полном объеме. На третий, поставив со стуком кружку прямо на бумаги, лежавшие перед Надюшей на колченогом столике, хозяйка объявила, что их счета кончены, долг она вернула, они в расчете. Больше задаром молока не даст ни капли.

— Как так? — сказала Надюша. — Но ведь... я рассчитывала... это даже половины не выходит... по договоренной у нас с вами цене.

— Ничего не знаю, как на рынке, так и у меня, я лишнего не цыганю. Как некоторые.

Надюша подняла глаза: хозяйка стояла над нею в новом жакете, запах нафталина резко брызнул из слезавшихся складок, в петлице торчал матерчатый белый цветок. Жакет сошел сюда прямо с картинки модного журнала тридцатых годов. Он приехал в каком-то чемодане или кофре, вынырнул из тесных темных глубин и сидел на плечах хозяйки, топорщась своей изящной черно-белой полосатостью. У Надюши зарябило в глазах.

— Я полагаю, что вы не правы. Мы не будем сейчас спорить. Просто вы возьмете и подумаете, и сама с собой наедине вспомните все, и сделаете расчет по совести. Я в этом уверена.

Надюша отвернулась, сняла кружку с молоком со своих бумаг, но не смогла выпить ни капли. Она хотела молока, она любила молоко больше любой другой еды,

но этого молока она так и не коснулась. Отвезла целиком Дмитрию Владимировичу.

Они опять сидели у печурки и вспоминали Петю Ростова, его наивность, и чистоту, и как его чуть не задавили во время коронации в Кремле, в толпе, его восторженный патриотический порыв к царю, и как Петю спас мужик в армяке, расталкивая всех: "Не видите, барчонку плохо! Эй, барчонка задавили!" Они вспоминали этого чудесного, цельного, стремящегося пожертвовать собой ради родины младшего Ростова, его мальчишескую доброту, и как он уговаривал офицеров — "Берите у меня изюм, господа! Очень сладкий! У меня еще есть, много!" Вспоминали сцену его геройской, но нелепой и бессмысленной гибели, — ах, как этот Петенька Ростов был написан Толстым! Открывался, выходил наружу авторский расчет, четко задуманная позиция, и как вместе с тем мы любили Петеньку, с какой болью теряли его, как готовы были плакать от досады на слепой и безжалостный случай, скосивший именно лучшее, доброе, чистое.

С этого дня у Надюши с хозяйкой началась война. Сначала исчезла из рамоуника комнатная вода. Надюша напрасно, раздевшись, двигала железный пестик — из бачка не выжималось ни капельки. Пришлось взять из ведра ледяной. На следующий день ведра оказались пустыми. И Надюше было велено носить воду из колодца самой, а к хозяйкиным ведам не прикасаться. Надюша, ввиду отсутствия собственного ведра, стала ходить по воду с чайником. Чайник был легкий и зачерпывался трудно. Тем не менее, хозяйка и эту воду, принесенную Надюшей, в ее отсутствие из чайника выливала. Затем Надюше запрещено было пользоваться хозяйской печью для приготовления еды, и Надюша ела дома только хлеб, запивая его холодной водой. Но эти трудности компенсировались, на Надюшино счастье, через день институтским обедом. И тогда хозяйка перешла к репрессиям, более серьезным и докучливым для жилицы. Колченогий столик был возвращен в сенцы, а Надюши-

ны бумаги сброшены кучей на сундук. Таким образом сундук был обозначен как единственное жизненное удобство, которым Надюше в этом доме надлежало пользоваться. Но самое тяжелое ждало ее впереди: из обихода исчезла коптилка. Совсем. Тут уж хозяйка сумела попасть в самое больное место. Приезжая из института, Надюша на ощупь раздевалась и ложилась на сундук, а потом лежала без сна.

Надюшу выживали из дома. Грубо, оскорбительно, как назойливого и наглого нахлебника, беззастенчиво пользующегося чужим добром. Хозяйка ходила в поссовет, требуя выселить жилищу, которая "одна занимает целый угол, в то время как люди с детьми не знают, где поселиться". В поссовете признавали, что хозяйка вроде бы права, но девать Надюшу было некуда.

И тут хозяйка, внезапно простыв, тяжело заболела. Лежала в постели со слипшимися на лбу волосами, пылая в высоком жару. Хозяйкина дочь крутилась по дому, готовя корове пойло, гремя подойником в сенцах, рубя и заваривая солому. Нетерпеливо покрикивала на мать, то выдергивая из-под ее бессильной головы влажную подушку, чтобы просушить, то наваливая поверх одеяла на трясущееся в ознобе тело старый, задубевший тулуп. Управившись с Зорькой и покупательницами, Ксенька, ничуть не устав, наряжалась, начесывала кок и уходила из дому. "Смотри мне...— хрипела через силу хозяйка, — девка чертова... я те дам танцульки..."

— Ишь ты, ишь ты! — посмеивалась Ксенька. — Как колода, а туда же...

У Ксеньки румянец стал свежий, необожженный, как прежде. Молочный дух пропитывал ее юное крепкое существо постоянной веселостью, задиристой бодростью, не принимавшей к сведению ни малейших огорчений. Ее не мог остановить даже явно подступавший кризис материнской болезни. Там, где играл патефон и друг с дружкой танцевали девчата, был ее мир, а здесь только дом, мать, корова и неинтересно. Поглядев на

себя в зеркало, двинув плечами так и этак, она, взмахнув юбкой, ушла, улетела.

Надюша, лежа на сундуке, слушала хриплый, надсадный хозяйкин свист, хлюпающее болотце кипящей мокроты, и чувствовала, как к горлу подступает отвращение. Опять Надюша ловила себя на бабском, плотском, животном, сидящем в ней тайком, по-звериному. Инстинкт здорового человека, несмотря ни на что, заставляет хорониться, отсекает себя от больного — так, как делала, не задумываясь, хозяйкина дочка.

Хозяйка стонала все громче, начинала тихонько выть.

— Ксс... Ксенька... Ксс... Ксенька... Пи-ить... Пиить...

“Ни за что, — говорила про себя Надюша — Ни за что. Не подойду ни на шаг. Пусть получит по заслугам. Мерзавка. Ни капли к ней жалости. Не пошевелюсь”.

Хозяйка выла, скулила, бредила, очевидно. Звала, как заведенная, Ксеньку. Повторяла ее имя монотонно, механически, бездушно, с идиотическим упорством. Казалось, что кто-то накручивает патефонную пружину, накрутил уже стальную ленточку до предела, натянул, и сейчас она лопнет, разорвется с гнусавым хлопком. И вой сникнет.

— Пиить... Пиить... Пиить...

Надюша, обливаясь потом, откинула пальто, которым накрывалась за неимением одеяла, и, пошарив на загнетке спрятанную коптилку, зачерпнула воды и поднесла кружку к постели хозяйки.

Подцепив рукой комковатую подушку, пахнущую гнилью, Надюша приподняла на ней голову хозяйки, чтобы она смогла пить, приложила край кружки к запекшимся губам. Жар полыхал от хозяйкиного лица, как от печки. Хозяйка глотнула воду, втянула с жадностью.

Надюша, придерживая кружку, чтобы не облить постель, вдруг увидела, что хозяйка открыла глаза. И смотрит прямо на нее.

В этих глазах, устремленных к Надюше, сквозь пелену бессмысленности ей увиделась такая благодарная

нежность, такая горячая, безграничная, всепрощающая любовь, что Надюша замерла, остолбенев.

— Ксс... Ксс... — прошептала хозяйка. И в то же мгновение возвращающееся сознание уцепилось за лицо Надюши, как бы его узнавая, и тут же выражение яростной злобы, остервенения, ненависти стерли то человеческое, направленное к дочери, а не к ней, Надюше.

Хозяйка оттолкнула кружку, напившись. Это был кризис. Он миновал.

Когда хозяйка выздоровела, произошло окончательное объяснение.

— Вот что! — громко, взвинченно говорила Надюша, с изумлением слыша свой голос. — Вот что! Вы будете давать мне молоко! Бу-де-те! Бу-де-те!

— Да пошла ты, гнида! — презрительно отмахнулась хозяйка.

Надюша закричала, как раненое животное, нервно прерывая фразы:

— Человек должен! Быть порядочным! Человек! Жить по совести! Не разрешать себе! Стыдиться быть! Бесчестным! Мы должны! Слышите? Быть благородными! Людьми! Нам так! Тяжело живется! Мы должны быть! Прекрасными! Честными! Добрыми! Уважающими себя! Людьми!

— Не визжи, — посоветовала хозяйка.

— Я вас научу! — кричала безобразно Надюша. — Я вас заставлю! Слышите?!

И мелко-мелко колотила по столу кулаками обеих рук.

— Заста-а-вишь? — Хозяйка, взъярившись, взялась под бока. — Да ты кто такая? Думаешь, мы не знаем? Думаешь, скрыла от нас, что ты враг советского народа? А мы все знаем, ты у нас не накомандуешься, дерьмо ссыльное!

“Дорогие мои, не пишите мне больше по старому адресу, сейчас я перебралась на другую квартиру. Что там у вас хорошего? Что вы кушаете? Как поживает

ваша "расчудесная буржуйка", неужели поглотила все обложки Брокгауза и Эфрона? Ну, ничего, в книгах главное все-таки то, что внутри. Кроме того, библиотека без обложек занимает гораздо меньше места. Это очень хорошо, что ты много читаешь. Чтение — величайшее удовольствие, это наслаждение, доступное только человеку. Ни кошке, ни собаке, ни обезьяне. Читай, дружок, это главное в твоём возрасте, ведь потом в жизни не всегда бывает такая возможность..."

Надюшины чемоданы были вышвырнуты за дверь, на крыльцо, и сверху навалены книги. Возвратясь из города, Надюша, присев на корточки, увязала книги в старую юбку, вытащенную из чемодана. Летний сарафан послужил в качестве трала: сцепив бретельками чемоданные ручки, Надюша перекинула свернутый жгутом подол сарафана через плечо и поволокла свой багаж по дороге, вдоль тополей.

Тополя обозначали границу поселковой улицы; дальше, за тополями, склон вел к берегу, к его невидимому краю, сровненному под снегом с рекой. Надюша тащила свою поклажу почему-то именно туда. Хоть было все равно, куда тащить. Лишь бы от дома, от того крыльца и калитки, от запертой и забаррикадированной от Надюши изнутри двери. У последнего тополя она остановилась.

Отсюда спящая Обь открывалась враждебной. Погруженной в злой и холодный покой. Отнесенный к горизонту ее широким, неподвижным телом дальний берег ледяной горой держал над рекой темные, серо-багряные завесы, в которые опускался мощный, мрачный, огромный и властный закат. Тут вершилось свое, извечное, независимое от людских бед дело природы. Надюша подумала, что на берегу такой реки может жить и не бояться только тот, кто тут родился. Плоское железное солнце уходило вниз, морозный воздух царапал Надюшино лицо. Темнело.

Надюша налегла на жгут, сдернула с места чемоданы. И поволокла их обратно, по своему же следу. Он был еще виден в сумерках.

— ...державное течение, береговой ее гранит, — бормотала она, чувствуя, как теплеют согретые чем-то щеки и подбородок. — Тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид...

Она возила свои чемоданы от речного берега и обратно, двигалась вдоль тополей по исчезающему понемногу в ночи следу, не давая себе остановиться, изредка пытаясь немного побегать. Здесь, в поселке, не было даже станции. И если оценить ситуацию беспристрастно, то целой ночи Надюше не одолеть.

— Невы державное течение...

И возникала Нева, молочная, розовая, с поднятыми лапками мостов, тихий плеск у ступенек и светлая адмиралтейская игла.

Надюша тащила чемоданы, не поддаваясь видению. Родина не может быть так мала. Так бесконечно далека и бессильна. "И светла адмиралтейская игла".

...Надюшу окликнула соседка, выскочив из дома:

— Викторовна! Эй, учительница! А ну, подь сюда!

В дверях за ее спиной клубились слабые клочки теплого воздуха.

"Ну вот, наконец-то я могу: "сесть за столик" и написать тебе все, как было. Собственно, столик как раз отсутствовал полностью, чем и объясняется рассердившее тебя молчание. Полтора месяца я спала на чужой кухне, там, у хозяев в доме, было так тесно, что они смогли мне предоставить только скамейку, на которой раньше помещались ведра. Скамейка очень маленькая, между печью и стенкой, спать можно было только с подтянутыми ногами. Но люди эти отдали мне все, что могли. Практически я жила, как на вокзале: помыться негде, нет даже крошечного местечка, где положить гребешок. Чемоданы и книги мы забросили на чердак, иначе в доме было не пройти. Я старалась найти себе

квартиру, но безуспешно. Заниматься и писать письма не было возможности.

Теперь наконец в моем быту произошли перемены: я из кухни переехала в б. уборную. Это чрезвычайно маленькое помещение. Хозяин сбил мне из досок кровать. Стола, правда, поставить негде, поэтому я пишу на коленях. Вместо стола у меня лежит на коленях "Домби и сын" Диккенса, подаренный мне твоим папой в 22-м году. Чернильницу держу в левой руке. Но зато у меня дверь и никто не заходит сюда! Это — большое достижение! К сожалению, особенно заниматься умственной работой не приходится, у меня нет абсолютно никакого света. А в смысле денег мне теперь стало тужо, я прожила все вырученное за проданные мои вещи, ну ничего. В крайнем случае зажигаю лучину.

День уже становится длиннее, можно было бы встать пораньше, но я этого не делаю, потому что тогда нужно на день больше еды, а у меня паек весьма ограничен.

Я занимаюсь в госпитале с ранеными командирами, занятия идут успешно, я ими очень довольна. Они учат английский язык и успевают вдвое быстрее, чем студенты.

В ин-те уже распределили огородную землю, и после 1 мая надо начать копать и сажать картошку, а она 45 рублей килограмм. Получить надо 30 кг, но не посадить нельзя.

Недавно мне снился очень неприятный сон, что я иду по тропинке и навстречу мне скелет. Я посторонилась, а он прямо на меня и обнял за талию, тут я проснулась.

Не хочется мне что-то умирать, хочется увидеть еще вас всех.

Сегодня в ин-те вечер. Я выступаю в "Свои люди — сочтемся". Завтра напишу, как это будет. Ну, кончаю, писать на коленях очень неудобно. Лучина ужасно коптит. Горячо целую тебя, дружок".

Надежде Викторовне было за пятьдесят, когда на Кузнецком мосту возле подъезда с колоннами публич-

ной библиотеки научно-технической книги ее остановил незнакомый человек и сделал предложение руки и сердца. И этим самым тоже вошел в цикл смешных случаев из Надюшиной жизни, о которых она рассказывала изредка своим близким. Что же касается студентов и аспирантов, то они относились к Надежде Викторовне с цепенящим почтением, вызванным допотопной эрудицией профессора и ее старорежимной требовательностью. Студенты в тех городах, в которых она жила (когда уже выбор зависел от нее и трамваев там было сколько угодно), не придавали по тем временам особого значения иностранным языкам; ожидавшие их будничные заботы не требовали прочтения Вольтера в подлиннике. И снова папирозный дым, дуновение духов "Красный мак", коробочка с синими горами и всадником в бурке сопровождали приезды Надюши, ибо жизнь милосердна, жизнь терпелива и всегда верна себе, давая всем толику привычного утешения.

Что же там было заглядывать в старые письма, которые долгие годы лежали, желтели в семейных бумагах, скопившихся в квартирах ее близких, чего искать в тех минувших подробностях, — это только теперь, когда Надюши давно нет на свете, желтые бумажные язычки заговорили, заставляя думать о Надюшиной судьбе. И даже, может быть, улыбаться при мысли, что желание ее юности исполнилось: пришло время, когда у Надюши появилась собственная ванная. Стены и потолок там были выкрашены в розовый цвет. "Мне так нравится", — объяснила она родным, лукаво торжествуя. Ибо все-таки весело: розовая ванная в однокомнатной квартире блочного дома на Рязанском проспекте в Москве... Она не вернулась в Ленинград, даже когда это стало возможным. И оттуда, из Ленинграда, пережившие блокаду ее друзья прислали вдруг чудом сохранившиеся у них какие-то Надюшины "штучки". Что-то было у нее там, связующее все разные времена жизни. И что теперь никак не уходит, возникая и оживая, о чем не могут поведать желтые бумажные язычки.

Все то, что переживает людей, остается, не исчезая,
— Надюшины слова, запах "Красного мака", зеленый
абажур, граненый каблук и вздохи близких:

— Надюша... ах, Надюша...

Это о том, никогда не вырванном из ее памяти, —
взгляде хозяйки, в котором бессознательная любовь
переходила в сознательную, направленную ненависть.

Фигурно смятый мундштучок папиросы в пепельнице,
пухлые круглые пальцы, разгоняющие дым, и Надюша,
ах, эта ее шуточка, вечно повторяемая Надюшина шуточка:

— Не покупайте корову, если не умеете ее доить...





Я решила не вдаваться в подробности собственной биографии не из боязни наскучить читателю, а исходя из того, что все, о чем пишу, никогда не было тесно связано с событиями моей личной жизни. Ведь в те мгновения, когда ты пишешь, тебя самой как бы уже и нет. Поэтому вот так, просто: это — я, а это — мой рассказ.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Братья Загоскины никогда не возвращаются домой сразу.

После школы они долго сидят во дворе на укромной лавке, спрятанной за трансформаторской будкой, и курят из купленной на двоих пачки. Они отстреливают окурки к стене будки, ветер шевелит мусор вокруг лавки и разносит легкий запах мочи, и молодая майская трава, сколько ни силится, не может скрасить этот угол.

Макс всегда в одном и том же, независимо от погоды, на нем черная кожаная куртка, до этого долго ношенная отцом, черные джинсы и короткие сапоги со шпорами. Он сидит нога на ногу — верхняя еще так вызывающе откидывается в сторону, и сочетание этой позы с коротко стриженной его головой так угрожающе эффектно, что редкий прохожий рискнет сюда подсесть и попросить закурить.

У Макса через три недели кончается школа, и предощущение полной свободы уже написано на его жестком, скуластом лице.

Ивану только пятнадцать. На нем простенькие холщовые брюки и рубашка с коротким рукавом. Он любит сидеть, просто вытянув ноги, а ноги у него очень длинные.

Они сидят и курят одну за одной, так что Ивана начинает подташнивать, и вместе с тошнотой в нем усиливается чувство пустоты и тоски, которое родилось недавно и не покидает его ни на миг.

Окна коммуналок распахнуты, на них всякое барахло — горшки с кактусами, линияющие кошки, высохшие тыквы прошлого урожая, отложенные на голодную зиму и почему-то не съеденные, подушки в цветных наперниках со слюнявыми разводами, помидорная рассада в пакетах из-под молока, облезлые шубы на вешалках и все прочее, любезное сердцу доброго обывателя, и между всем этим барахлом виднеются там и сям сами хозяйева — то иссушенная старуха, лоящая последние в ее жизни лучи солнца, то загулявшая по ночи молодка с синяком, то по своей воле безработный человек — повисли на подоконниках, смотрят сверху на играющих в песке рахитных петербургских детей и слушают, как из окна под самой крышей несутся пробные звуки трубы, то пробудился артист, которого во дворе попросту зовут придурком.

— Заткнись, козел! — вяло, незлобно кричит подшибленная молодка. — Надоел-то!

— Бездельник, — говорит из своего окна старуха, которой, в общем-то, все равно.

— Господи! — выкрикивает со второго этажа молодая мать, запахивая халат на полной молочной груди. — Каждый день одно и то же: только ребенок заснет, как он начинает!

Но трубач ничего этого не слышит, он далек и свободен; уже плывут над крышами "Шербурские зонтики", и вдруг все и вся смолкает.

Вот и Макс, перестав беспрестанно цыкать слюну сквозь зубы, закидывает голову на спинку лавки и мечтательно смотрит в небо.

Иван сидит ссутулившись, глядит, как медленно тает зажатая меж пальцев сигарета, и высокие звуки трубы пронзают его насквозь.

— Пойдем жрать, — говорит Макс, когда мелодия смолкает, и, цыкнув напоследок, поднимается.

Они идут к своему парадному, ногой распахивая дубовые двери, радовавшие когда-то дореволюционных жильцов. Двери давно замазаны несколькими слоями краски, последний раз — поганого зеленого цвета, какого в природе нет. Того же колера и стены внутри, исцарапанные матерщиной и неловкими признаниями в любви, грязь запустения лежит на всем: в стекла окон не видать голубого неба, цветной кафель лестничных площадок выщерблен и уляпан засохшей масляной краской от бездарных ремонтов, так что пробежать бы эти лестницы быстрее, стараясь не вдыхать запах из углов, но братья вдруг останавливаются, не доходя до своей двери, словно какая-то сила не дает им подняться еще полпролета, садятся на мраморный подоконник у окна с побитыми стеклами и опять закуривают.

Они молчат, выдувая дым, и струи его высвечиваются солнцем в сыром полумраке парадного.

— Кротова, — вдруг говорит Иван дрогнувшим, сорвавшимся на высокую ноту голосом.

Кротова идет по улице, помахивая пакетом с яркой надписью "ТАТУ", который заменяет ей школьный портфель. У нее высоко затянутый на затылке хвост, качающийся в стороны, короткая черная юбка с разрезом и туфли со стесанными задниками. Кротова вся освещена солнцем и почему-то улыбается.

— Овца, — говорит сквозь зубы Макс и сцыкивает на пол.

Они молча докуривают, бросая окурки, — Макс в окно, в направлении удаляющейся Кротовой, а Иван в угол, за трубу отопления.

Наконец они поднимаются к своей двери, и Макс долго держит палец на кнопке звонка, прежде чем слышится шарканье дедовых ног.

— Кто? — говорит дед тонким голоском, которому он в этот момент хочет придать угрожающие ноты.

— Это мы, бандиты, — хрипло отвечает Макс, закрывая глазок двери своей широкой ладонью.

— Вы, что ли, черти? — спрашивает дед, узнав его голос.

— Ну мы, черти, — уже злится Макс, — открывай!

Погрмев запорами и цепочкой, дед выпускает их, еще оглядев с опаской площадку за их спинами.

Братья идут на кухню и, достав из холодильника что ни попадя, едят жадно и большими кусками — холодную вареную говядину, свежие огурцы, картошку, скумбрию горячего копчения и запивают все это ледяным рассолом от помидоров, съеденных на днях.

После обеда они, не раздеваясь, лежат на своих кроватях у себя в комнате, жуют поделенную пополам плитку шоколада и слушают кассету, которую взял у кого-то в классе Макс.

Через час они поднимаются и молча, не сговариваясь, выходят на улицу.

Неспеша — Макс чуть впереди, Иван за его плечом — бредут они сначала к рынку, мимо небольшой розовой церкви. За церковной оградой, на бревнах, приготовленных для ремонта, сидят две нестарые еще нищенки в темных платках и, загородясь от прохожих, считают разложенные на подолах деньги.

Макс сцыкивает в еще неубранный, закиданный бумагами газон и спрашивает Ивана через плечо:

— Пиво будем?

Через дорогу, напротив — пивной ларек с небольшой разномастной очередью, качающаяся баба в одном чулке матерится в пространство, замедленно поводя руками.

— Не, — говорит Иван, косо и с опаской взглянув на брата, — Макс не умеет пить, заводится с полоборота и тогда пьет до конца, до помутненного, плывущего взгляда, до длинных и бессмысленных разговоров, и в конце всего этого его обычно рвет в кустах долго и мучительно, а наутро он выглядит так, что тяжело смотреть.

На этот раз Макс неожиданно легко соглашается с братом, кивая, и они, минуя равнодушно пивной ларек, идут дальше, к рынку.

Идут вдоль сидящих и стоящих торгашей, мимо разложенных на газетах старых будильников, одежды, сильно пахнущей плесенью, мимо плиток германского шоколада, кучек ржавых гвоздей, гигиенических пакетов, заварочных чайников с отколотыми ручками, расстрепанных кукол, французских духов и губных помад, которыми уже пользовались, мимо мутных зеркал, остатков старинного сервиза, трехколесной хозяйственной тележки, потресканной супницы прошлого века, фотоальбома с довоенными снимками, овощей домашнего консервирования и чего-то мутного в бутылках, монет и кляссеров с марками, сигарет и пачек дрожжей — все это смешивается воедино, предметы и продавцы с неверными, бегающими взглядами, запах перегара, поднятые легким ветром бумаги и спокойный разговорный мат — все смердит и наводит тоску.

И братья, руки в карманы, уходят от рынка к площадке у метро, где еще год назад почти всегда было не протолкнуться, а теперь по разные стороны выхода из метро — автобус с броской, яркой надписью: "Христос всегда с вами!" и напротив — кучка соратников вокруг мужика с выцветшим красным флагом.

Народ, выходя из метро, устало и равнодушно валит мимо, по домам после трудового дня.

— Братья и сестры во Христе! Придите к Нему, и ваши души спасутся! Ждем всех вас в спорткомплексе имени Ленина! Бесплатная раздача религиозной литературы для детей! — несется из мегафона на автобусе, потом слышится слащавая, наивная музыка, и евангелист средних лет с длинным занудным лицом, как две капли воды похожий на Чарльза Грея, что нарисован на банке с английским чаем, только без бакенбардов, сует в изредка протягивающиеся к его столику руки тонкие брошюры. Народ, на бегу раскрыв их, тут же и бросает, так что в радиусе метров двадцати от автобуса все усеяно

белыми листками с изображенными на них двумя пятерняками: одна загибает пальцы на другой, пересчитывая добродетели истинного христианина.

Братья некоторое время стоят перед столиком, рассматривая евангелиста в упор, с таким же видом, с каким стояли в детстве у клеток в зоопарке, не имея в виду и не допуская обратной связи, но евангелисту под их взглядами становится немного не по себе.

— Возьмите, молодые люди! — говорит он кротко и протягивает братьям свою брошюрку.

Но Макс, не вынимая руки из карманов, сцкивает себе под ноги, разворачивается и идет к мужику с красным флагом.

Там еще скучнее, потому что, собственно, и совсем ничего не происходит, мужик ничего не говорит, а с ужасно дерзким видом только поправляет стяг, который без конца закручивает вокруг древка неровный ветерок. Рядом прохаживаются туда-сюда несколько теток с сумасшедшим выражением выцветших глаз, с плакатами на животах.

— Ну, ребятушки, — говорит, заметив остановившихся братьев, “Россия — для русских!”, — на подмогу пришли? Молодцы! Богатыри наши!

У Макса вдруг лукаво сверкают глаза, как бывает в те моменты, когда он задумал что-нибудь вычудить.

— Новое поколение выбирает квас! — громко говорит он, словно рапортуя, и отдает бабе честь, пристукнув шпорами.

Иван некоторое время смотрит в невозмутимое, напряженно серьезное лицо брата и на бабу, растерянно соображающую что-то, и вдруг начинает хохотать, согнувшись в пояс. Он хохочет истерично, до слез, до пунцовых щек. На него оглядываются прохожие, и это заводит его еще больше.

Точно так же он смеялся на уроке литературы несколько дней назад, когда сидящий впереди Меджиев, заигрывая с Сальниковой, тянул ее сумку к себе до тех пор, пока сумка не разорвалась, — нитки, что ли, были

гнилые, — и все содержимое с грохотом высыпалось на пол: книжки, тетради, пудреница с расческой, зажигалка с пачкой сигарет, чистый конверт, два шарика розовой жвачки и кукла Барби в розовом купальнике с золотым пояском. И, поглядев на растерянную пухлогубую Сальникову, держащую в руках половину своей сумки с длинной ручкой, Иван начал вот так же истерично смеяться, и продолжал смеяться уже выгнанный с урока вместе с Меджиевым. Новый приступ смеха случился с ним уже в туалете, где они закурили, свесившись в распахнутое окно, но позже, то ли от выкуренной натошак сигареты, то ли от обильного и бессмысленного механического смеха ему стало ужасно плохо — тоскливо, печально, сиротливо, и он, зайдя в пустующую библиотеку и спрятавшись за развесистой пальмой в кадке, долго сидел не шевелясь и глядел в окно глубоким остановившимся взглядом...

Макс останавливает его легким толчком в плечо, и острая боль пронзает до ключицы.

— Вот придурки-то, — говорит наконец, обидевшись, “Россия — для русских”.

— Да жиды, — говорит ей старуха с седыми химическими буклями и ярко-желтыми стеклами в ушах. “Гады, проживите на мою пенсию!” — написано на ней. — Жиды и есть. Во, нос рубильником, — кивает она на Макса, у которого замечательный, породистый нос, доставшийся от матери.

Тут братья начинают хохотать вместе, и пока идут к дому — время ужина подоспело — нет-нет, да принимают громко и залиvisto ржать, приседая и показывая на носы друг друга.

— К-козлы, — говорит потом Макс, посерьезнев, и сцыкивает в угол, за сточную трубу у парадного.

Он произносит это так, что покрывает этим словом все и всех сразу.

Мать, вопреки обычаю, уже дома.

Она администратор в Доме кино — банкеты, билеты, премьеры, концерты, всегда в гуще событий, и когда мать дома, весь шум переносится сюда — звонки, переговоры, запахи кофе и духов.

Братьям нравится, когда ее нет и когда они сами себе хозяева.

Дед не в счет, он с его маразмами уже никого по-настоящему не интересуется. Обычно он сидит в своей комнате в углу, рядом с туалетом, и целыми днями смотрит черно-белый телевизор. Он включает его в семь утра, а в десять вечера засыпает, оставляя включенным, и это повторяется каждый день. Ругать его бесполезно: телевизор дед называет холодильником, винегрет поливает кефиром, путая с растительным маслом, никогда не закрывает дверь туалета, а сидит там по часу кряду.

Отец в квартире на особом положении, — он питается на кухне, а спит у матери в кровати, если они не в ссоре. Если же в ссоре, он живет в своей мастерской, что в мансарде на пятом этаже, вблизи Невского. Отец как член Союза художников вправе иметь мастерскую, а как художник вправе иметь и свободу, — так отец говорит матери, когда они выясняют отношения поздними вечерами.

Сегодня у матери гости, что, в общем-то, не редкость. На этот раз за накрытым столом сидит дама того неопределенного возраста, который молодежь запросто уже относит к старости, а старики еще считают молодостью, и юный франтоватый тип с кудрявыми волосами до плеч и в шоколадном костюме.

Но что самое удивительное — за столом сидит дед, которого никогда не приглашают, одетый в черный костюм, приготовленный ему для гроба, его редкие седые волосы расчесаны на косой пробор, а за ворот рубашки заткнута углом белая столовая салфетка.

— А-а, — говорит мать красивым, певучим голосом, какой иногда умеет делать, потому что обычно говорит усталым, хрипловато-прокуранным, — вот и мои отпры-

ски, Максим и Иван, — она поясняет жестами, кто есть кто.

Макс невозмутимо стоит, а Иван послушно кивает.

И вот уже все вместе сидят за столом и после глотка шампанского молча грызут салат с резиновыми, никак не жующимися креветками.

Дед сосет их и плюет на белую скатерть. От шампанского светится пунцово кожа его головы меж редких белых волосков, и блаженная детская улыбка делает его лицо еще более морщинистым.

— Софья Андреевна — наша дальняя родственница из Москвы, — поясняет сыновьям мать, справившись со своим салатом. — Это сложно вычислить, но наши прадеды были родными братьями, так что Аркадий — ваш пятикородный брат, ну, в общем, кузен.

— Честь имею, — говорит вдруг Аркадий, благородно склонив голову, и блестящие кудри закрывают его лицо. Софья Андреевна глядит на него восторженно и вдохновенно, как художник на картину, которую считает своим шедевром.

Иван чувствует, как Макс толкает его под столом, но он отворачивается от брата и с напряженным лицом глядит в окно, где тихо сгущаются сумерки: так он отгоняет накатывающийся приступ смеха.

— Представляете, — говорит мать, — они даже съездили в бывшее имение прадеда в Калужской губернии!

— Да-да, — бойко подтверждает Софья Андреевна, всплеснув тощими, сухими руками в тяжелых перстнях, — но представьте, ничего не осталось! Даже фундамента. И только на старом кладбище два разбитых памятника, ничего почти не прочесть.

— Как интересно, — говорит мать, наливая по второму глотку шампанского — но у вас хоть какие-то следы...

— Ах, разве это следы? Все следы давно сгнули по Торгсинам и ломбардам. Вот Дворянское собрание определило ряд документов, чтобы восстановить генеалогию и быть принятым в него, а у нас ни одной бумаги, показать нечего, — Софья Андреевна сокрушенно шур-

шит салфеткой. — Вот Котик, — она проводит рукой по локонам Аркадия, — пытается что-то найти в архивах, ну неужели же все сгнуло в этом проклятом костре...

В это время дед, самостоятельно потянувшись к бутылке шампанского, залезает рукавом в салат, и мать, злорадно отодвигая бутылку на другой конец стола, говорит ласково:

— Папа, вам достаточно. У вас давление.

— Ух ты, хитрюшка! — говорит дед ехидно, грозя матери пальцем. — Знаю, мне не дашь больше, а сама выпьешь.

Братья в голос хохочут, поощрительно глядя на деда.

— Константин Ильич, дорогой, — говорит Софья Андреевна, пытаясь смягчить ситуацию, — а вы помните что-нибудь из старого времени? Это ведь так сейчас важно, эти крупички.

Мать настороженно поджимает губы.

— Помню, — с готовностью вдруг отвечает дед, — у нас был дом в Москве, двухэтажный. Такая еще лестница ко входу — высоченная, не подняться, и белые львы по бокам сидят.

— Мраморные, — зачарованно говорит Софья Андреевна.

— ... и сад при доме был, и оранжерея. Бывало, стоит в сенях такая здоровенная бочка, деревянная, и доверху соленых огурцов. А голод ведь, потянешься рукой в бочку — и ешь огурцы от пуза, пока не прогонят.

— Ах, папа! — восклицает в этом месте мать. — Не путайте, это уже после революции, бочка. Ну хватит, ладно.

Максу сильно хочется выпить еще, но он знает, что мать больше не нальет. И это пустое, бессмысленное сидение за столом раздражает его.

— Котик, принеси бабушку из моей сумочки, в прихожей, — просит сына Софья Андреевна, и Аркадий, как-то жеманно делая руками, семенит в прихожую, на его ногах старые дедовы тапки с меховой опушкой, и быст-

рая, скользкая улыбка, предвестник приступа, уже мелькает на губах Ивана.

Но вместо смеха на него со всей силой вдруг накатывает другое, неприятное, тяжелое, о чем он все хотел забыть два последних дня: как именно два дня назад, когда он возвращался домой с частного урока игры на гитаре, трое его ровесников, окружив его в арке за полквартила от дома, отобрали у него часы и семьдесят рублей. Он никому ничего не сказал до сих пор, ему было обидно, что попался именно он, а не кто-то другой, а главное, было тяжело и стыдно вспоминать, как он испугался и отдал все без возражений и сопротивления, легко и с унижительной готовностью.

Он вспоминает, как дрожали его руки, когда он снимал часы с запястья, снимал сам, и как он старался не глядеть в глаза им, когда протягивал эти часы, которые не прослужили ему и года, и которые мать привезла из Сингапура, — часы были красивые, в большом корпусе, на черном пластиковом ремешке, и по ночам их стрелки светились во тьме тихим таинственным светом. Иногда в тревожную бессонницу, которая стала случаться с ним, он подолгу глядел на размеренное движение светящейся стрелки.

Глаза Ивана темнеют, лицо тяжелеет, и в это мгновение он становится похожим на отца.

Меж тем мать, гости и даже дед шумно, с восклицаниями уже рассматривают коричневый дагерротип, на котором изображены две стройные девушки в платьицах с рюшами на груди и коротких полуботиночках под укороченными по щиколотку юбками. У девушек такие спокойные приветливые лица, их позы так грациозны, что братья тоже заинтересованно вытягивают шею.

— Это Зина Мокрецова, — уверенно говорит дед, вдруг показывая на одну. — У нас в медсанбате была, такая, прости меня Господи! Один раз с ней перед твоей матерью согрешил, единственный раз, да простит меня покойница...

— Боже мой, Константин Ильич! — восклицает в некотором замешательстве Софья Андреевна. — Это же моя бабушка, Елена Павловна! Урожденная графиня Оленева.

— Папа! — мать, пораженная неожиданной исповедью деда, приходит в сильнейшее раздражение. — У вас каша в голове, вам нужно набрать в рот воды и молчать, ну как же я устала от всего этого!

И она под руку, слегка подталкивая, уводит улыбающегося деда в его комнату.

Братья, переглянувшись, тоже встают и молча выходят из гостиной.

Они сидят в своей комнате, где горит слабый фонарик над головой у Макса, и еще некоторое время до них доносятся отрывки беседы — что-то о генеалогическом древе, о Великом князе, который так болел за Россию, об объединении усилий и все в таком же духе.

Макс курит в раскрытое окно, Иван полулежит в кресле, задрав ноги на журнальный столик, и глядит на слабо освещенную ночником фотографию из журнала, что висит над кроватью Макса. Там голая длинноволосая девушка, заложенная в некоторых местах сухой травой, смотрит вдаль глубоким, печальным взглядом. Макс зовет эту фотографию Попка, он даже сравнивает иногда знакомых девушек: "Она на Попку похожа, только волосы черные".

Иван же почему-то назвал эту девушку Лелей, чудится ему в этом имени что-то нежное, мягкое, теплое, и, когда брата нет в комнате, в теплых весенних сумерках Иван иногда представляет, что Леля спускается к нему, садится на колени, ее скользящие светлые волосы касаются его щеки, и маленькая аккуратная грудь совсем рядом... Им так хорошо, так спокойно и сладко вдвоем, от ее нежных бессвязных слов растворяется его одиночество...

— ... Великая княгиня, конечно, продолжит его дело, — слышится уже из коридора голос гостьи, — пригла-

шение на престол — это только дело времени... однако нам нужно еще решать с Дворянским собранием...

— Д-дворяне, блин, — говорит Макс и ожесточенно стреляет окурком в полутьму за окном.

— Мальчики, до свидания! — кричит из коридора Софья Андреевна. — Приезжайте к нам, в Москву!

— До свидания, господа! — Котик стоит в дверях, в руке у него черный "дипломат". — Желаю вам удачного поступления в вуз, — это он обращается к Максусу. — вы куда собираетесь?

— В Кадетский корпус, — мрачно отвечает Макс. — У тебя выпить есть? — кивает он на "дипломат".

— Ну, всего доброго, — Котик поспешно отодвигается с порога, и вскоре слышится уже щелчок входной двери.

Мать ушла провожать гостей, и Иван смотрит, как Макс идет в гостиную, почему-то крадучись, и наливает себе шампанского, полный бокал, до края — шампанское уже выдохлось, не стреляет в стороны мелкими брызгами, оно уже просто кислое вино, но Макс выпивает жадно, залпом, и оранжевый абажур светится над его стриженным затылком, как нимб. Выпив, Макс привычно закусывает, схватив что-то со стола, когда он возвращается к брату, лицо его благодушно и освещено широкой улыбкой.

— Может, выпьем? — спрашивает он. — На угол сгоняем, купим. Отец вчера денег подкинул — я к нему в мастерскую зашел, а он как раз канадцу одну картинку всунул, пейзаж фетищевский. Довольный!

— Озеро? — спрашивает Иван, и у него от предчувствия коротко екает вдруг сердце.

— Ага, — отвечает Макс, заваливаясь на кровать. — За сорок зеленых.

Он говорит что-то еще, но Иван его не слышит — он с горечью вспоминает проданный пейзаж, который года два висел у отца в мастерской: в узкой темной рамке живой кусочек летних каникул на даче в Фетищеве — тропинка к озеру, само озеро вдали и чистая, светяща-

яся насквозь березовая рощица на том берегу. И когда среди зимы Иван, в безделье шатаюсь по Невскому, заходил иногда к отцу и, не раздеваясь, в своей куртке на белом меху, сидел в углу на гряде старых этюдников, взгляд его всегда замирал на той картинке. В мастерской было холодно, полупьяные гости отца курили и балагурили за початым портвейном, и сквозь клубы зависшего дыма Иван глядел на озеро и вспоминал Фетищево, казалось, что и сейчас оно не замечено снегом, безлюдно и безмолвно, а что там и теперь, в ста километрах от Питера, все по-летнему зелено и радостно, шелестят заросли сирени в палисаднике, топчутся в высокой крапиве желтые куры, по обеим сторонам тропинки к озеру покачиваются на ветках дикой малины переспевшие, духмяные ягоды...

... Когда возвращается проводившая гостей мать, они уже лежат в своих кроватях в полной тьме, окно распахнуто настежь, в комнате пахнет свежими тополиными почками, легким табачным дымом и звонко, надрывно звенят ранние комары.

Слышно, как мать сбрасывает туфли и босиком шлепает по паркету, поступь у нее усталая, тяжелая, идет в гостиную и чиркает спичкой — закуривает. И опять тишина, только ход напольных часов в гостиной нарушает ее да журчание вечной струйки воды на кухне.

— Макс, — шепчет Иван в спину отвернувшегося к стене брата, — поедем завтра в Фетищево!

— Зачем? — глухим, но не сонным голосом спрашивает Макс.

— Да так, — не знает, что ответить, Иван. — Можно рыбу половить, удочки на чердаке есть.

— Ты ж ее не ешь.

— Костер разожжем, — продолжает Иван, помня, как в прежние годы Макс любил жечь костры.

Макс ничего не отвечает, раздраженно перевернувшись на другой бок, только пружины старой тахты басовито скрипят под ним.

Слышно, как мать вращает диск телефона, и он возвращается на место медленно, с пощелкиванием, и тот аппарат, что стоит в коридоре, тоже тихо звинькает.

“Отцу”, — вычисляет Иван по щелчкам.

Леля таинственно, маняще светится в темноте над головой Макса, и Иван как будто уже начинает погружаться в сон, в свои предночные видения — вот уже Леля стоит у его кровати, откидывает волосы за спину таким легким, неповторимым жестом и, склоняясь, гладит его по щеке, по плечу, вот она уже под одеялом, тело ее невесомо и прохладно и пахнет вечерней речной свежестью, как пахнут поздние сумерки в Фетищево...

“Я тебя очень люблю, — тихо шепчет ей Иван, — мне нужно любить, мне так хочется любить.” А она только молчит и улыбается в ответ.

В это самое мгновение приходит отец, он открывает входную дверь, словно крадясь в собственную квартиру, разувается и идет в своих домашних тапках на кожаной подошве в гостиную, — все это он делает почти бесшумно, но Иван уже вынырнул из видений, он чуткий.

— Как у нас тут было весело! — говорит отец клоунским, дурашливым голосом, и сразу становится ясно, что он уже немного выпил.

— Это у вас там было весело! — вдруг кричит, позабыв о спящих, мать, и голос ее дрожит, срываясь в полурыдание. — Это вы развлекаетесь в свое удовольствие!

Все это так знакомо братьям — и это полурыдание, и “в свое удовольствие”.

— Аня! — говорит отец мягко и тоже как-то привычно. — Ну что ты опять?

— Это я — опять! — мать переходит на нервный громкий шепот. — Кто поднимал трубку в мастерской? Ну сколько можно, ну сколько, скажи мне?! Седой уже, живот какой распустил, ты же старик уже — и опять эти девочки! Я больше так не могу, у меня больше нет сил!

— Аня! Боже, Боже мой! — тихо вскрикивает отец и бежит в коридор, как бы собираясь уйти из этого дома.
— Как же все это опостыло!

— Нет, ты не пойдешь туда! — кричит мать уже в полный голос и бежит за ним: слышатся звуки легкой, больше для видимости борьбы за ключи от мастерской.

Братья в своей комнате, уже окончательно расхотев спать, слушают привычные слова и звуки: все это время от времени повторяется в их доме лет пять, с тех пор как мать, видимо, почувствовав свое женское старение, без конца ревнует отца.

— Е-мое, — раздраженно, злобно говорит Макс и садится на кровати, свесив ноги и сильно ссутулившись.
— И на фиг я остался...

Макса обычно в это время дома нет, он возвращается за полночь, у него своя ночная жизнь, отдельная от Ивановой, и когда он приходит, от него часто пахнет спиртным.

Макс встает и, подойдя к окну, закуривает. Дым низом тянет в комнату. Иван смотрит на темный силуэт брата и красный огонек его сигареты — у Макса точеная фигура, как у пловца, с бицепсами и трицепсами все в порядке.

И тут он опять вспоминает про часы.

— Макс! — окликает он брата, тоже привставая с кровати.

Мать с отцом уже в комнате у матери, говорят в полный голос, думая, что уединились, и многое в самом деле приглушено толстым восточным ковром, что висит у матери на стенке, но самое эмоциональное все-таки долетает — “ненавижу!”, “за что мне все это?!” и “негодяй”. И хотя это тоже слышано много раз, Иван внутренне содрогается и сжимается при каждом выкрике матери. Отец отвечает многосложным низким бурчанием, слов не понять, но интонация его голоса подсказывает, что он все пытается как-то закруглить, закоротить эту бессмысленную и утомительную ссору.

— Ну? — откликается Макс от окна.

— Макс, у меня ... часы отняли.

— Кто? — спрашивает Макс, стрельнув окурком в окно, в голосе его звучит сталь.

— Не знаю. Их трое было, они меня там, в арке у "Гастронома" окружили и сняли. Один такой худой был, он сзади стоял, а два здоровых меня к стенке прижали.

Иван чувствует, как ему становится легче от того, что он наконец хоть кому-то рассказал — часов не вернуть, а все равно легче.

— Били?

— Нет...

Чуть не срывается у Ивана "я сам отдал", но он не договаривает. Он никогда никому не расскажет, как у него дрожали руки и под носом выступил тогда мелкий, жгущий кожу пот. Он как раз этого и боялся, — что начнут бить, ударят в лицо, в пах, и он упадет на тот вонючий асфальт, по которому текли мелкие струи помоев из баков с пищевыми отходами, там еще была ужасающая вонь, а эти начнут бить ногами, он видел это в фильмах бесчисленное множество раз и заранее представил себе каждый последующий миг, и то, что это все теперь должно было свершиться с ним, совершенно его парализовало. Поэтому он так легко, даже с некоторой радостью, не веря, что отделается лишь этим, отстегнул пластиковый ремешок часов и вытряхнул из кармана джинсов все, что там было, семьдесят рублей и сорок восемь копеек: три по пятнадцать и еще три. И встретился взглядом с тем худощавым, что стоял за спинами других, у него была редкая, косо стриженная челка, курносый нос в веснушках и — в то мгновение показалось — сочувствующий взгляд.

— Ты их узнаешь? — спрашивает Макс. — Раньше не встречал? Иван мотает головой. — Вот если завтра поедем в Фетищево, — говорит он, — тогда я матери скажу, что ходил на озеро и там потерял.

— Да какая разница, — Макс прыжком ложится на тахту и накрывается тонким одеялом, — скажешь, из

школы шел и потерял. Лучше бы мать их мне подарила, у меня не отняли бы.

Иван чувствует себя виноватым, и сейчас, во тьме, когда тоска и тревога особенно сгущаются над человеком, ему опять до слез стыдно и несказанно жаль часы, он вспоминает, как пришел с ними в школу в первый раз, это были его первые в жизни часы и сразу такие замечательные, и как все девчонки и ребята разглядели их, и даже учитель физики, проходя мимо его парты, заметил и похвалил их. Но самое ужасное, конечно, то, что так дрожали в арке его руки.

За стенкой, за бордовым ковром, постепенно наступает умиротворение — мать уже молчит, только иногда еще доносятся всхлипывания, отец все так же бурчит, потом наступает тишина, и время от времени слышны глухие удары локтями в ковер.

— Все, что ли? — спрашивает Макс про родителей. — Спят усталые игрушки?

Со двора, где внизу, прямо под их окном, лавочка со сломанной спинкой и где обычно до глубокой ночи сидит и Макс, раздается девичий смех и негромкая мелодия из магнитофона.

— Кротова, слышишь? — узнает по смеху Иван. — Она тебя ждет.

— Пусть, — отвечает Макс.

И опять слышится деланно веселый смех Кротовой, которая еще надеется, что Макс выйдет на лавку, и громкий ее возглас: "Ой, блин, пусти!"

Но Макс с этого момента засыпает сразу и намертво, как спят обычно здоровые и уверенные в себе люди, а Иван еще долго глядит в синий проем окна, где виден кусок неба, слушает звуки двора, то совершенно затихающие, то вновь заполняющие ночное пространство. Он лежит и жалеет себя, потом Кротову, которая так и не дождалась сегодня Макса, и далее изменчивая мысль его то печальна, то светла: часы, Фетищево, близкие каникулы, нежная бумажная Леля...

Нагая и улыбчивая, как всегда, она уже сходит к нему.

Утром они встают поздно, когда солнце заливает всю комнату, а трубач под крышей уже продувает свою трубу. И может быть потому, что начинается выходной, что так нежно светятся в лучах листья высоких тополей, что во дворе как никогда чисто, распахнутые окна молчат и не кричат трубачу, что он придурок.

Первым встает Макс и, по своему обычаю, сразу выкуривает половину сигареты, пряча окурки назад в пачку, потом долго отжимается от пола и манипулирует гантелями, глядя на себя в настенное зеркало.

Они умываются вдвоем, склонившись над ванной и по детской еще привычке брызгая друг на друга, и когда, чувствуя сильный голод, идут на кухню, родители уже стоят в прихожей, и отец, трогательно поддерживая мать под локоть, помогает ей обуться в выходные, на высокой шпильке, лаковые туфли.

— Мальчики, — говорит отчего-то очень радостная мать, и подведенные черные глаза ее теплы и зелены, словно бы это не она вчера вечером плакала, закусывала зубами насквозь мокрый платок и кричала гневные, оскорбительные слова, — дорогие мои, мы с папой едем в Летний сад, там выставка у дяди Володи, так что вы кушайте, что найдете.

У нее тяжелые, оттягивающие книзу уши серьги с крупными малахитами, такое же массивное кольцо на указательном пальце; на лице ее, еще не до конца потерявшем прежнюю красоту, но уже увядающем, много яркой косметики, в руке золотая театральная сумочка с толстой цепью вместо ручки и крупным стеклянным камнем, вделанным в крышку. От вида всего этого наряда, блестящего и заметного, и особенно почему-то от камня, вделанного в сумку, Ивана опять пронзает острая жалость к матери.

— Макс, — говорит отец, — я вам там на холодильнике оставил немного. На сладости. Для девочек, — добавляет он, хохотнув в широкую рыжую бороду, и глаза матери на мгновение нервно суживаются.

Они уходят, взявшись за руки, в кухонное окно видно, как они уходят вдаль, оживленно о чем-то говоря, мать болтает сумочкой, сверкающей на солнце, как зеркало, и издали мать моложе, легче, стройнее, а отец идет, неспеша раскачиваясь из стороны в сторону на коротких ногах, и широкие вельветовые штаны делают его еще шире, горят на солнце патлатые рыжие волосы, обрамляющие раннюю лысину. Братья, ненадолго забыв про еду, сверху провожают родителей посторонним, изучающим взглядом.

На холодильнике, прижатые стеклянной горчичницей с давно засохшей горчицей, лежат четыре сотенных, и Макс деловитым жестом опускает их в карман своих черных джинсов.

— А мне? — говорит Иван просто так, без особого возражения.

— Я тебе потом за сигареты зачту, — отвечает Макс, шаря в холодильнике.

Он находит шесть яиц и толстый кусок рулета, все это умело, с луком и томатом, жарит на сковороде, там шипит, разогревшись, свиное сало, возбуждающий аромат течет по коридору в комнату деда, и завтракают уже втроем.

Братья жуют яичницу быстро и молча, а дед с присвистом втягивает ее в себя, потом тщательно вытирает тарелку куском черного хлеба.

— Ну что, в Фетищево поедем? — спрашивает Макс.

— Ура! — кричит Иван.

— Мы ездили в Фетищево с бабушкой, — вдруг нормальным грустным голосом говорит дед. — Как уедем в апреле, так и вернемся только в октябре. Вы уже ничего не помните, а она вам давала в мисках клубнику с молоком, вы любили.

Что-то есть в его отрешенном лице, и в памяти братьев мелькают на мгновение отрывистые воспоминания раннего детства, когда их отправляли на лето с бабушкой и дедом: цветастые ситцевые бабушкины халаты, пряди ее седых волос у ушей, руки деда, насаживающие

червя на крючок удочки и та самая клубника с молоком в маленьких эмалированных мисках...

Это длилось недолго, года три, потом бабушка умерла, и деревенский дом сразу пришел в запустение, словно почувствовав свою ненужность, двери перестали входить в свои проемы, прохудилась крыша, зарос бурьяном палисадник, одичавшие кусты смородины заплодоносили мелкой невзрачной ягодой, и только старые тенистые яблони, словно в благодарность за прежнюю заботу, еще рожали сочную, пеструю грушовку.

У деда впалые, в седой щетине щеки, рука, держащая кружку с чаем, мелко трясется, и братья смотрят на него другим, изменившимся взглядом — в этот момент как-то особенно очевидным становится то, что дед запущен и заброшен, живет своей, никому не нужной, жизнью, а ведь вот и в его мозгу, затуманенном склерозом, всплывают еще ясные, радостные осколки прошлой жизни...

Когда братья поднимаются, вытирая рты тыльной стороной ладони, Макс на секунду задерживается, пропуская вперед Ивана, и сует деду сотенку, она не помещается в ссохшейся, бледной руке.

— На, — говорит Макс, неловко вправляя купюру в дедову ладошку, — у меня много.

Деньги у Макса действительно водятся, но он никого, даже Ивана, не посвящает в свои дела, а деньги тратит так же легко, как зарабатывает. Как он их зарабатывает, Иван все-таки догадывается, потому что один раз видел, как брат подносил уличному торговцу сигаретами новую партию товара.

— Спасибо, сынок, спасибо, — кивает головой дед и зажимает бумажку в руке.

По дороге к вокзалу они заходят в "Гастроном", и настроение у Ивана меняется — Макс покупает водку, засунув ее в свой кожаный рюкзачок: и Иван понимает, что той поездки в Фетищево, которая представлялась ему, теперь не будет. Он видел себя на вершине холма

над озером, откуда просматриваются дальние наливающиеся зеленью леса у горизонта, и Макса, лежащего рядом в траве, и какие-то свободные, легкие разговоры, и благословенное голубое небо над головой. А теперь будет по-другому.

От "Гастронома" они идут к метро, где их должна ждать Кротова, и попутно покупают с лотков все, что нравится Макс, — пачку жвачки, шоколад, леденцы на палочках, пяток бананов и два немецких ароматических презерватива. Вокруг праздная пестрая толпа, девчонки в коротких юбках, дети, что-то продающие с рук бабки, а в двух шагах от Ивана, у витрины с водяными пистолетами, безмятежно стоит тот мальчишка, третий из арки, стоит в желтой, линялой футболке, чуть приоткрыв рот, и разглядывает цветные пистолеты.

Кровь приливает к лицу Ивана, всна ненависти и желание отомстить накрывают его в это мгновение.

— Макс, — говорит он дрожащим взволнованным голосом, — кажется...

— Что? — спрашивает Макс, закуривая.

Они стоят так близко от мальчишки, что хорошо видна на его затылке та точка, от которой, раскручиваясь по спирали, расходятся ряды волос, тонкая длинная шея, поросшая белесым пухом, узкие опущенный плечи.

И вдруг Иванова ненависть странным образом перерождает. Макс стоит рядом, курит и глядит по сторонам, давно забыв про свой вопрос, и Иван, переводя взгляд с жалкого затылка мальчишки на брата, смотрит на его сильные скулы, на широкие великолепные плечи, обтянутые черной кожей с пистонным орнаментом на спине, на тяжелый его профиль с выдвинутой вперед верхней частью лица и бритыми висками.

— Ну пошли, — говорит он, почти совершенно успокоившись, — а то Кротова ждет.

Какое-то сомнение еще гложет Ивана, он идет, не упуская из виду желтую футболку, но он уже чувствует внутри сладкое облегчение, с этой минуты растворяется ощущение унижения и стыда за себя, которое он испы-

тывал все предыдущие дни: он простил, он сумел сделать это, и, сделав, возвысился в своих собственных глазах, теперь он мог встретить этого мальчишку и сказать ему: ты был в моих руках, и если бы я сказал про тебя Максу, он бы сделал с тобой такое, чего ты не видел даже в кино, но я тебя пожалел и простил.

Лицо Ивана приобретает какое-то светлое, преобразенное выражение, какое бывает только у человека, постигшего вдруг тайный и истинный закон жизни.

Кротова, очень веселая и с сияющим лицом, уже стоит у выхода из метро, доедая мороженое, которое стекает по ее пальцам с длинными, чуть загнутыми внутрь ногтями.

— Чего ж вы так долго, блин! — говорит она без всякого раздражения. — Договорились же.

Макс хлопает ее в виде приветствия в голое, не загоревшее еще плечо, и видно, что это ей нравится, — она смеется, глядя на Макса восхищенно и преданно.

В Фетищеве они, без всякого вступления, садятся в полузаваленной беседке за домом и пьют водку, закусывая бутербродами, оказавшимися в сумке у Кротовой. После каждой рюмки закуривают, Кротова тоже, закинув обтянутую эластичными брюками ногу на перильца беседки. Она много смеется, словно на каком-то взводе, и рассказывает всякие дурацкие истории — как, например, у рынка одна баба на днях выиграла в моментальную лотерею три тысячи рублей и потеряла сознание.

Иван, глядя на раскрасневшуюся Кротову, курит и думает, что зря она так много смеется, вот ведь как раз в тот день, когда он смеялся на литературе над Меджидевым и Сальниковой, с ним случилось то, в арке.

Макс, выслушав историю про бабу, снисходительно улыбается, видно, три тысячи для него уже не деньги.

На подоконнике дома играет магнитофон, над соседним огородом суеются скворцы, от земли идет колышущийся пар, Иван глядит на него блаженным, ничего не выражающим взглядом, и тут все начинает плыть —

плывут большие, сочные губы Кротовой со смазанным перламутром помады, плывут высокие белые облака у горизонта, плывет по улице тетка с двумя ведрами в руках, рука Макса, вновь и вновь наливающая в рюмки... Тут Ивана начинает тошнить, он, шатаясь, идет к дому, не обращая внимания на окрики Макса, и засыпает там на голом топчане в сенцах, где когда-то стояли ведра с питьевой водой.

Проснулся он только на закате.

Вокруг было тихо, ни души и ни звука. Последние багряные лучи косо лежали на потресканных бревнах стены.

Он встал, потянулся за водой, но ковш лишь заскрежетал по дну пустого ведра, и этот скрежет неожиданно вызвал озноб. Тогда он прислонился лбом к дверному косяку, закрыв глаза, и некоторое время стоял так, прежде чем услышал какие-то шорохи и странные, тонкие звуки.

В маленькой угловой комнате, что выходила окошком в малинник, опершись на локоть, лежала на диване голая Кротова, по пояс прикрытая старым ватным одеялом. Она не видела и не слышала его, тихо стоящего у двери, — она плакала, негромко шмыгая носом и стирая ладонью бегущие слезы. На полу какой-то жалкой пестрой кучкой валялась ее одежда, поверху лежал золотой бант, с утра украшавший ее хвост.

Красное солнце освещало диван и плачущую Кротову, и в этом солнце у нее было некрасивое сейчас, распухшее лицо с размазанными глазами и очень красивое, длинное тело с грациозным изгибом спины.

Иван издал пересохшим горлом неожиданный, булькающий звук, и Кротова натянула одеяло по самое горло, — так быстро сворачиваются в клубок ежи, когда их ткнешь палкой, застав врасплох.

— Кротова, ты что? — спросил Иван, опять булькнув горлом.

Она не ответила, отвернувшись к окну, словно бы именно Иван был причиной ее слез.

— Ты из-за Макса? — опять спросил он.

— Да отстань ты от меня! — крикнула она в каком-то отчаянии, сквозь слезы, и вдруг, вскочив с дивана и повернувшись к Ивану задом, начала одеваться, выдергивая вещи из кучи на полу.

Он смотрел на нее во все глаза, чувствуя, как ухает в груди его сердце.

— Я сама, сама-а виновата, — причитала Кротова, будто бы наедине с собой и совсем не замечая Ивана, — дура, дура, блин...

— Кротова, ну зачем ты все — блин да блин, — сказал вдруг Иван.

Она стояла уже одетая и прикалывала к хвосту бант.

Он не хотел ее обижать, он хотел сказать другое, что она красивая, что у нее такой задорно вскинутый нос и губы, которые хочется целовать, и такое тело, перед которым померкло даже тело Лели, и что она вообще неплохая девчонка, но ей ужасно не идет это "блин".

Но она обозлилась.

— А что вы все — Кротова да Кротова? — крикнула она и полезла под стол, откуда торчал ремень ее сумки. — Я семнадцать лет Лена!

И она, вытащив сумку, пошла к двери.

— А Макс где? — спросил Иван ей вслед. — Не уходи, вместе поедем!

Но она, словно не слыша, повернула из калитки совсем не в ту сторону и пошла, мотая хвостом.

— Ты не туда! — крикнул он ей от двери, но она, то ли не слыша, то ли от упрямства, даже не обернулась.

Тут он опять ощутил страшную жажду и, вспомнив об источнике в овраге, вышел в другую, садовую калитку, спотыкаясь в начавшихся сумерках, спустился вниз. Встав на колени и наклонившись, Иван пил долго и жадно, останавливаясь и начиная вновь.

Потом поднялся по склону оврага и сел под старым раскидистым орешником.

С запада надвигалась на небо густая тьма, на востоке висела большая яркая луна. Где-то недалеко, на этом конце деревни, выла собака.

Глубокая тоска и тревога вдруг охватили его; тоска такая неизбывная, что он понял: это не с похмелья и не пройдет просто так.

Ну куда же мне деться, спрашивал он беззвучно, обращаясь к замерзшей предночной природе, к бездонному черному небу с едва засветившимися первыми звездами, — кто я, зачем я здесь, нужен ли я кому-то на этой земле?

Не было ему ответа. Луна медленно наливалась тревожным густым багрянцем, зрелище это было сейчас великолепно и страшно, словно бы глядел с небес вестник чего-то грандиозного и трагического — мучений ли, смерти ли...

Он застонал, как от физической боли. Словно какой-то нарыв, внутренний, незримый, прорвался в нем в это мгновение — он завыл тонко и протяжно, как молодые волчата, и этот тихий вой заменил ему и плач, и крик.

— Ванька! — послышалось от дома. — Ванька-а!

Он сжался, замолк и лег лицом вниз на холодную росистую траву.

— Иди сюда! — опять послышался голос Макса. — Я кое-чего принес!

Иван опять не ответил.

Он лежал, распластав руки крестом и ткнувшись головой в подножие орешника.

Так лежал он, поглаживая руками землю с нежностью, как глядят только любимую, и ему казалось, что из глубин земли вливается в него ответное тепло. Они с землей поняли друг друга, слившись во встречном порыве, и орешник заботливо прикрывал сверху тайну их любви.

И луна, восходя все выше по небосклону, скоро утратила свою кровавую окраску, посветлела и наполнилась спокойным, ровным внутренним светом.

Она не пророчила уже ничего страшного, а стала походить на фонарь, который светит заблудшему в ночи.

То было в конце мая, а в ноябре уже все изменилось.

Макс не стал поступать в институт, как хотелось матери, а просто-напросто уехал из дома, он занимался какими-то перевозками, звонил изредка и издалека. Он уехал вскоре после похорон деда, а деда похоронили в июле, и теперь сухое тщедушное тельце его медленно растворялось в земле.

У отца не стало мастерской, потому что сильно вздорожала аренда, и он жил в комнатке деда. Мать успокоилась, начала готовить обеды и потихоньку полнеть.

Иван остался в комнате один. Он скучал по Максy, иногда ему хотелось поговорить с ним. Несколько раз он просыпался ночью от ощущения, что Макс спит напротив, в своей постели, — он включал свет, но никого не находил. Фотографии Лели тоже не было на стене, Макс сорвал ее, уезжая.

Вечерами, сделав уроки, он читал найденную у отца книжку: "Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: "Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему"..."

Взгляд его отрывается от ломкой пожелтевшей страницы и устремляется в окно. За окном темно, стучит занудливый питерский дождь, но взгляд Ивана уходит и выше, и дальше.

В ясных серых глазах его отражается тихий свет — то ли ночника, что висит напротив, то ли далекой вифлеемской звезды, незримые лучи которой еще пронзают холодное, пустое пространство.





Родилась на Васильевском острове в г. Ленинграде (С.-Петербурге) и с тех пор так и живу все на том же острове, но в разных его частях, перемещаясь постепенно от центра к побережью финского залива. Правда, в младенческом возрасте была вывезена из блокадного города в Среднюю Азию и несколько лет прожила в Самарканде. Я окончила физический факультет университета, работаю в Государственном Оптическом институте. И университет, и институт расположены все на том же острове. Получается, что основная моя черта — патологическое постоянство. Помимо научных статей, опубликовала один рассказ. Замужем была два раза. Оба раза очень удачно. Дочь зовут Марией, ей семнадцать лет.

ЛЮДМИЛА АГЕЕВА

МЫ ЖИЛИ В САМАРКАНДЕ

Никогда с тех пор я не была в том городе, в том золотом, жарком городе, грязном и пыльном, в том чистом и горестном городе моего детства. И никогда уже не буду.

Но порой я так ясно вижу наш двор, наш неряшливый дом, нашу комнату с жалким уютом, крошащиеся, разваливающиеся ступеньки нашего крыльца, на котором стоял Игорь.

— А я уже живу на свете девять лет, — с грустью сказал он.

— А я живу на свете сто лет, — радостно закричала я и подпрыгнула на месте.

Тоскливое презрение появилось на лице мальчика.

— Как же ты можешь жить на свете сто лет, когда тебе всего шесть. Ты шесть лет всего и живешь.

Это была невероятная новость — я была уверена, что существую вечно.

Я застыла в онемении посреди пыльного самаркандского двора, под пронзительно синим, не имевшем облаков самаркандским небом.

Я оглядела этот нищий самаркандский двор, неказистые домики, набитые эвакуированными, я увидела мою бабушку, прислонившуюся к теплой глиняной стене,

маму, стоящую перед ней, — они о чем-то разговаривали.

Начало моей жизни терялось во мгле и потому, казалось, она была всегда.

И никогда она не была более вечной, чем в то время, когда могла кончиться, будто и не начиналась, от совершенного пустяка. Например, на пирсе карантинного Баку, где холера доедала истощенных ленинградцев. Или от дифтерита в огромной дифтеритной палате, где каждую ночь кто-нибудь умирал. Рядом со мной долго умирал узбекский мальчик, из тоненькой шейки его торчала металлическая трубка, в которой булькала и хрипела его кончающаяся жизнь.

Я лежала на спине, повернув голову в его сторону, в сердце моем был темный страх.

Или от укуса бешеной собаки в день моего четырехлетия. Одета в прекрасное голубое платье из парашютного шелка, я сидела в тот день на низеньком заборе, отделявшем наш двор от собачьего питомника Медицинского института, когда вылетело на меня безумное животное и, застыв на мгновение в диком оскале, крепко вцепилось в мою четырехлетнюю ногу. На следующий день, кстати, голубое платье мне надеть не разрешили. Оказывается, следующий день, к моему удивлению, уже не был днем моего рождения. Так мне дали понять, что все проходит.

Но почему же так быстро?

Особенно то, что радует нас и составляет наше счастье?

Этого я не знаю и сейчас.

Да мало ли от чего можно было перестать жить в то время, даже если не вспомнить про блокаду, бомбежки и голод в Ленинграде.

И вот хрупкая, но неистребимая жизнь моя продолжалась, как продолжились и другие везучие жизни, часто кощунственно прошедшие мимо многих смертей, редкая из которых была особо замечена в то время.

Может быть, поэтому меня поразили чьи-то мирные похороны в Самарканде.

Была у меня коробка для сокровищ.

Там лежали цветные бусины, шарики от никелированной кровати, стекло для наблюдения затмений Солнца, сломанная брошка, золотое медное кольцо, маленький фарфоровый носорог с отбитыми ногами, а также блестящая серебряная ложечка.

Однажды после долгих выпрашиваний мне разрешили взять серебряную ложечку в детский сад, и с напутственными словами бабушки — все равно потеряешь — я понесла свое сокровище в кармане, придерживая карман ладонью. А во время кормления песком страшного, облитого марганцовкой зайца ложечка просто провалилась в песок. Только что она была здесь, но вот блеснула скользкой рыбкой между пальцев, канула в песок и нет ее нигде.

Отчаянье мое было безмерно. До вечера я просидела в этой огромной песочнице, безнадежно разрывая и просеивая серый песок, и лицо мое, мокрое от слез и труда, было все в этом колючем и душном песке, как в панировочных сухарях.

Когда же совсем наступил вечер, я была взята за руку и выведена за ворота на теплую и пыльную улицу старого города, где, тихо постанывая, осталась стоять, упрямо упершись лбом в нагретую жарой стену.

И вдруг в конце этой улицы послышалась фантастическая горькая музыка, в закатном свете засияли золотые трубы, и темная река торжественного плача пронесла мимо меня красивый коричневый гроб.

Я побежала вдоль этой реки, зачарованная сияньем и музыкой труб, уханьем барабана, воплями плакальщиц и жуткой загадкой смерти, так рано начинающей терзать живые души.

На мое залитое слезами лицо глянули, перешептываясь, какие-то худые женщины в черных платках. Ко мне протянулись руки, обняли и повели, глядя по голо-

ве, потом подняли над толпой, и я снова увидела покачивающийся впереди гроб.

— Подумать только, такая крошка... все понимает...

Людские сердца потряслись выразительностью и глубиной детского страдания.

На расспросы, жалко ли бедного дедушку, я отвечала длинным стоном, закидывала голову и опять вдохновенно заливалась слезами.

Словно кристалл плача в насыщенном, но слегка уставшем уже слезном растворе, блуждала я среди толпы, вызывая на своем пути новые приступы шумной скорби.

Карманы мои быстро наполнялись конфетами, печеньем, блестящими узбекскими лепешками, грецкими орехами, урюком.

Поразительно, сколько еды несли с собой люди, провожающие в последний путь неизвестного мне старого человека, чья смерть была так непонятно выделена, так мирно и вызывающе отмечена длинной дорогой через весь город на кладбище, сверкающим оркестром, траурными одеждами, моим плачем, памятью и улыбкой через многие годы.

Домой я вернулась, когда было уже совсем темно, и ничего не могла объяснить перепуганной бабушке, непрерывно повторявшей надо мною одну и ту же загадочную фразу:

— Не доводи меня до белого колена.

Кстати, эта странная фраза еще долго была мне совершенно непонятна и вызывала лишь смутное представление о сильном побелении колена, появляющемся у взрослых в минуты крайнего раздражения.

— Я, между прочим, помню, когда война началась, а ты этого помнить не можешь, — сказал Игорь.

— Могу, почему это не могу, — закривляясь я, перекакивая с ноги на ногу.

Этого он уже не выдержал и пошел от меня прочь, нарочно пыля босыми ногами.

Я догнала его, забежала вперед и протянула слегка уже облизанный кусок хлеба с вареньем, который давно держала в отставленной руке, как держат узбеки пиалу с чаем.

— Хочешь, кусни.

Он скривил губы, пожал плечами, хотел отказаться, но я уже разломилла кусок и протянула ему, не без некоторого усилия, большую часть.

Отказаться от еды в то время, тем более от хлеба, можно было только обладая сверхъестественным упрямством, как, например, моя мама, вернувшая своему верному поклоннику Валерьяну Брониславовичу незабвенную буханку белого хлеба, которую принес-то он именно мне; или в тяжком бреде во время болезни, — несъеденного в скарлатину печенья мне было жаль всю последующую жизнь.

— Только мне поменьше, — сказал Игорь, уставившись на свои пыльные ноги, — тебе поправляться надо.

Я, по-видимому, только что вышла из очередной больницы.

Вообще, количество и разнообразие моих болезней было столь чудовищно, что вызывало не жалость, а, напротив, даже некоторое почтение.

Никто из соседей и их детей не избежал бабушкиного рассказа о том, как мне удалось заболеть самой странной корью, невиданной в Самарканде со времен Авиценны. А история о моем необыкновенном дифтерите превращалась в небольшой спектакль, лично для меня, правда, несколько однообразный. Бабушка по очереди изображала различных медицинских знаменитостей, тоскливо гундосивших надо мной что-то о "крупозном воспалении легких", когда же рассказ доходил, наконец, до старичка профессора "из местных", она вскакивала, на несколько метров отбегала от зрителей, вскидывала свои худые руки, показывая, какая была у профессора папаха и какой завиток каракуля на воротнике, и как одной рукой профессор схватился за узенькую бородку,

а другую выбросил вот так — вперед и вверх, и с порога, не раздеваясь, закричал:

— Дифтерит! Она уже хрипит у вас! Далее шла сцена скандального выдворения бабушки из той самой дифтеритной палаты, из которой она ушла лишь через месяц вместе со мной, выхаживая весь этот месяц не только меня, но и всех этих тощих хрипящих детей.

Ничто не могло утратить мою бабушку, если мне нужна была ее помощь, даже суровая карантинная охрана в Баку, сквозь которую она непостижимым образом проникала в город и обратно, принося молоко, хлеб и лекарства. Если бы она могла сохранить мне отца, она ушла бы вместе с ним в ополчение.

Мой отец тогда еще не был “пропавшим без вести”, просто от него давно уже не приходили письма, и сердце моей молчаливой мамы разрывалось от тревоги и надежд.

Самой большой надеждой остался так и не встреченный ею высокий военный человек, который пришел к нам ранним утром, когда она еще не вернулась с дежурства, а бабушка уже ушла за хлебом.

На загорелом лице этого человека были белые морщины и добрая улыбка.

Он присел передо мной, привлек меня к себе, с интересом заглянул мне в глаза и вдруг протянул коробку цветных карандашей. Откуда он знал про карандаши? Я задыхнулась, взяла его шершавую руку:

— Хотите, я вам покажу свои рисунки?

И кажется, в этот момент он поцеловал меня, и я очень близко увидела его глаза, полные слез.

Отчего были эти слезы?

Тень горького предчувствия легла мне на сердце.

Он так и не дождался взрослых и, грустный, ушел, оставив на столе сахар, несколько банок тушенки, шоколад, галеты и что-то еще такое же необыкновенное.

От меня он принял в подарок только один рисунок, на котором дом, дерево и девочка ростом с дом стояли

в ряд под бледно-желтым солнцем в густой синей траве, и девочка была похожа на песочные часы.

Давным-давно уже кончилась война, с которой не вернулся мой отец, давно умерла моя мужественная бабушка, давно идет моя взрослая жизнь, но иногда я еще стою там, посреди нищего и пыльного самаркандского двора.

В руке у меня кусок хлеба с вареньем. Мы уже не голодаем и ждем конца войны. Передо мной девятилетний мальчик, рука его взметнулась в поучающем жесте, и весь он застыл в моей памяти, как в детской игре "замри".

Я слышу восторженный визг моих друзей, строящих плотину через наш мутный арык, и прерывистое стрекотанье швейной машинки из окон апы-молочницы, плач младенца, пребранку женщин, лай собак.

Справа от меня за глиняным дувалом стоит такая же глиняная непонятного мне назначения башня, а за ней растет дряхлое морщинистое тутовое дерево, а еще дальше, среди песка и колючек лежат ржавые рельсы старой железной дороги.

Скоро я побегу туда, простившись со своим умным девятилетним другом, чтобы побыть там одной и потренироваться на ржавом рельсе в столь необходимом мне чувстве равновесия.

А пока я все еще стою в пыли под солнцем, посреди шумного самаркандского двора, посреди моего бедного детства, не подозревая еще, что расстанусь в этот момент со своим жизнерадостным бессмертием.





Родилась в Москве в 1950 году. Имею
естественно-научное (физика) и гуманитарное
(иностранные языки) образование. Работаю
переводчиком. Печатаюсь впервые.

МАРИАННА АЛЕКСАНДРОВА

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО

Нас с Любой Арониной доставили на позицию, когда было еще темно. Шофер газика высадил нас на утоптаный снег и крикнул:

— Командир, я тебе снайперов привез! Забирай!

— Пусть идут, — отозвался голос.

Мы подошли. Люба начала:

— Товарищ командир! Разрешите доложить...

В ответ удивленно присвистнули:

— Это еще что? Они что, с ума посходили — в такое пекло женщин присылать?

— Товарищ командир! Мы — отличницы боевой учебы, у нас разряд...

— Разряд! Завтра ни от вас, ни от вашего разряда ничего не останется. Мудаки, сволочь, сидят в тепле, ни один снаряд до них не долетит, — он посветил фонариком, — совсем девчонки. Тебе сколько лет? — он ткнул в меня пальцем.

— Двадцать два.

— Ну так простись со своими двадцатью двумя! А тебя как зовут?

— Старший сержант Аронина.

— Аронина? Ну и дела! Я тоже Аронин. Ты не с Поволжья будешь?

— Нет, я из Харькова.

— Значит, не родственники. Ну, да все равно, сестричка. Девочки, есть у нас нечего, полевую кухню разбомбило еще позавчера, однако спирт остался. Ребята, налейте девушкам.

— Спасибо, мы не пьем... — но нам уже протягивали кружку.

— Выпейте обязательно. А то через полчаса околеете. Мороз какой, а огня разводить нельзя — противник близко.

Я набралась смелости и хлебнула. Горло обожгло немилосердно, из глаз полились слезы и нос тут же потек — хорошо хоть в темноте не видно. Люба тоже выпила.

Командир сказал:

— Идите, девочки, на ящики, вот сюда. Посидите пока.

Мы сели. И правда, от спирта стало тепло. Небо стало понемногу синеть.

— Денек будет ясный, — сказал голос из-за сугроба.

Глядя на разгорающийся горизонт, я вспомнила свое прощание с мамой. Когда я сказала, что записалась на снайперские курсы, она посмотрела на меня как-то странно. Я тогда не придавала этому значения. Соседка Валерия Марковна сказала:

— Пока вы, милочка, учиться будете, война кончится.

Я-то была уверена, что до зимы она не кончится, но промолчала. Еще скажет где-нибудь, что я не верю в мощь нашей Красной Армии. Нам с мамой это ни к чему. Хотя Дмитрий Михайлович и своей смертью умер, от инфаркта, но на его заводе всех других начальников цехов расстреляли как вредителей.

Странно, всего несколько дней, как я узнала, что Дмитрий Михайлович — не мой отец, и уже зову его про себя по имени-отчеству. Хотя он меня очень любил и я его тоже.

Мама сказала мне это накануне моей отправки на фронт. Вечером, когда мы попили чаю, она вдруг встала,

ушла к себе за ширму, долго там возилась и вышла с фотографией незнакомого человека.

— Лида, я обязана тебе это сказать прежде, чем мы расстанемся. Это — твой отец.

Я не нашла ничего глупее, чем спросить:

— Он что, бросил тебя? Почему ты мне никогда ничего не говорила?

— Его убили, моя девочка. Он был белогвардейский офицер.

У меня рот раскрылся сам собой. Мама продолжала:

— Он был прекрасный человек, чистый, благородный.

— Колчаковец? — почему-то спросила я.

— Нет, дроздовец.

— Он расстреливал большевиков?

— Он воевал против них в честном бою. Он был кадровый военный, приносил присягу и остался верным ей до конца. В бою он погиб. Тебя тогда еще не было на свете.

— Почему я раньше ничего не знала?

— Ты ведь у меня комсомолка, девочка моя. Как же ты могла бы вступить в комсомол, дать клятву, если бы знала правду о своем отце?

Я не знала, что и ответить. Мы долго молчали. Мама ушла за ширму, а я стала рассматривать фотографию. Потом пошла к маме, — она лежала, отвернувшись к стенке, — и спросила:

— Мам, ты его очень любила?

Она молча кивнула, и вдруг повернулась ко мне и крепко меня обняла. А я подумала: если меня убьют, то она останется совсем одна.

На следующее утро я ушла на фронт. Когда я ехала в поезде, то думала: как комсомолка я должна сообщить особисту, кто был мой отец. Но фашисты-то все наступают, хотя уже зима. А я снайпер, я хорошо стреляю. Нет, нельзя. Мое место на передовой. Война, может, и к лету не кончится.

Уже совсем рассвело. Люба дремала рядом на ящике. Хорошо, что нас послали вместе. Мне нравится Люба

Аронина. Она стройная, а глаза узкие, монгольские. Осенью, на учениях, однажды от костра отскочила горящая головня и упала возле наших вещмешков. Кравцова тогда крикнула:

— Аронина! Затуши.

Люба наступила ногой на дымящийся уголь, потом вдруг охнула и с размаху села на мешки. Мы совсем забыли, что на Любу не хватило сапог, и она была в своих единственных туфлях — черных лаковых. В тот раз ей прожгло подошву и обожгло ступню.

Подошел командир.

— Ну, снайперы, слушать мою команду. Через полчаса начнется артподготовка. Видите поле впереди? Там рассредоточена пехота. За полем вон лесок, видишь, да? Там немецкая танковая колонна, за ней — артиллерия. Сейчас вас разведут по позициям. Задача: в случае отступления нашей пехоты...

— Как отступления? — вырвалось у меня.

— Прошу не перебивать, когда говорит старший по званию! Повторяю: в случае отступления нашей пехоты ее пропустить, пропустить танки противника, — по ним будем бить мы прямой наводкой. Огонь открыть только по наступающей пехоте.

— Служим Советскому Союзу! — ответили мы с Любой.

— Пулеметы противника... — начал он, но тут кто-то закричал: — Командир! — и он, махнув рукой, убежал. Мы с Любой обнялись и разошлись в разные стороны.

Вот тут-то все и началось. Неожиданно раздался страшный свист, потом визг, и я увидела, как снег на поле взлетел огромным фонтаном. Затем что-то тяжелое пропороло воздух прямо над моей головой, и меня обсыпало землей. В следующий момент я оказалась почему-то за небольшой елочкой метрах в пятидесяти от батареи. На поле, среди взрывающихся снарядов, метались маленькие фигурки. Грохот, вой снарядов, крики — я тоже что-то кричала — все перемешалось. В какой-то момент я закрыла глаза, а когда их открыла, то

увидела, как разлетаются на куски наши орудия. И еще я увидела, как голова и правая половина туловища командира Аронина взлетели вверх и повисли на стоящей в стороне огромной ели.

А снаряды все летели и летели, и взрывались со всех сторон. Кто-то укусил меня за ногу, как в детстве, когда я наступила на спрятавшегося в сене слепого крысенка. Мимо меня бежала наша пехота. Один солдат пробежал совсем рядом со мной. Рука у него болталась, маскхалат был вымазан красным. Я что-то крикнула ему, а он посмотрел мимо меня безумными глазами и побежал дальше.

Я не помню, сколько это продолжалось. Но вдруг наступила тишина. Почему-то я пошла искать Любу, но ее нигде не было. Потом я поняла, что ищу ее по черным туфлям, а она должна быть в сапогах. Снег перемешался с землей и кусками человеческих тел, всюду валялись искореженные куски металла. Одна нога у меня стала очень тяжелой и от нее тянулся кровавый след.

Позади в поле был снежный вал, там готовили место для новой батареи. Я пришла туда, там было несколько наших, но все незнакомые. Почему-то здесь оказалась крестьянская девочка, немая, она подползла ко мне и прижалась. А я сидела и думала, что теперь, наверное, меня расстреляют за потерю оружия на поле боя, но я ничего не могла вспомнить про свою винтовку после того, как закачались еловые ветки. Правда, теперь у меня в руках откуда-то взялся топор.

Я сидела около края вала. Стояла какая-то странная тишина. Это была очень страшная тишина — страшнее, чем тот безумный грохот, потому что теперь мы ждали танков. Но они все не шли.

И вдруг послышался скрип снега под чьими-то шагами. Сидевший рядом солдат поднял винтовку. В снежном проеме показался человек.

Впервые в своей жизни я увидела немца, и он так не походил на фашиста, какими я их представляла, что мне даже подумалось, — это кто-то из наших. Немец был

маленький, с черными курчавыми волосами, высывавшимися из-под белого капюшона, и он как две капли воды походил на нашего соседа Цицибухера, у которого под лестницей мастерская "Краевая строчка". Он шел спокойно и даже не смотрел в нашу сторону.

Тут солдат в него выстрелил. Немец упал на спину, потом стал медленно разворачиваться, шаря за пазухой. Глаза его смотрели на нас с полным безразличием. Солдат хотел еще раз в него выстрелить, но я остановила его руку. Я вдруг поняла, что сейчас произойдет. Немец вытащил пистолет с тонким блестящим дулом и выстрелил себе в сердце. Ноги его дернулись и застыли.

А через минуту нас всех накрыло гаубичным снарядом.

Умирать оказалось совсем не больно. Как будто растворяешься в голубом небе. Вдалеке плыло белое облачко. А над собою я увидела надпись: Константин Максимович Федоровский. Это мой педагог по ботанике. Наверное, я все-таки его любила.





Родилась в 1959 г. в Ленинграде в семье типичных интеллигентов-"шестидесятников". В начале 80-х эмигрировала с мужем в Америку. Закончила Гарвардский университет и аспирантуру при нем, занималась испанской литературой и компаративистикой, а также теорией культуры. В настоящее время преподаю на кафедре сравнительного литературоведения, являюсь редактором отдела кино в "Славик ревью", написала несколько статей о русской литературе и культуре, а также две монографии — о судьбе русских поэтов и феномене "пошлости" в современной русской культуре. Несколько лет назад на Западе шла моя пьеса "Женищина, которая стреляла в вождя" о Фанни Каплан, позднее по ней был снят фильм. Пишу по-английски. "Салат под русским соусом" — один из первых рассказов, написанных на родном языке.

САЛАТ ПОД РУССКИМ СОУСОМ

— А ты просто фригидная — сказал он, когда они проходили мимо памятника Горькому. Ей стало обидно, что он больше не касался ее демисезонного пальто, шел где-то поодаль и жевал розовую финскую жвачку. Фригида-Фетида-Фемида — наверно, это какая-то богиня с беззрачковыми глазами из учебника истории, разделяющая страницу с прекрасным безруким Аполлоном у обдранного куста. (Кажется, это было в главе о нашествии варваров... или нет, еще до нашествия...) Она поймала свое сконфуженное отражение в витрине магазина "Фарфор". Было как-то сыро и неловко. Хотелось все переиграть в обратную сторону, как в кино, пройти задом к памятнику Горького, положить Сашину руку на плечи, поцеловать его в замерзший шарф, не доходя до давно поблекшего сиреневатого неонового "Ф". Но было уже поздно, они уже пересекли трамвайные рельсы, выходили к неминуемому парку Ленина и огням Мюзик-холла...

— Девушка, вы крайняя?

— Да.

— Ну, я только после вас. А это за чем очередь?

— За справками.

- А касса справок не дает... Вы что, не отсюда?
- Я отсюда.
- А если вы отсюда, то зачем вам справки?
- Ищу пропавших одноклассников.
- А, это другое дело, а я уж думал, вы нездешняя.
- Я здешняя.
- Здешняя и крайняя? Ну, тогда я за вами.

Аня поняла, что она разучилась болтать в очередях. Она уехала из Ленинграда двенадцать лет назад, и тогда ей сказали, что она никогда не сможет вернуться. Теперь же ее приветствовали на границе, как заслуженного интуриста. Она покупала апельсиновый сок за доллары и коллекционировала октябрятские звездочки. А вчера у Гостиного Двора она приобрела маленький алый выпел конца пятидесятых с вышитыми золотыми буквами "знатной свинарке за доблестный труд" и после этого чувствовала себя как-то неловко. Ей очень хотелось походить на свою, но она постоянно себя выдавала.

Аня родилась на Седьмой Советской улице г. Ленинграда, а теперь жила на Десятой Западной г. Нью-Йорка. Она привыкла к Нью-Йорку и чувствовала себя там как дома — как все в Нью-Йорке, не дома, а как дома. Она гордилась, что ее английский лучше, чем английский нью-йоркских таксистов, и была завсегда в "Lox Around the Clock". Она была невротична, как все нью-йоркцы, и жила по расписанию — с утра металась по временным работам, иногда озвучивая рекламы с иностранным акцентом: "ЛАРТА - маслозаменитель — без жира и без калорий, свежо и натурально, как первая любовь". Монтаж — парижские мансарды — камера наезжает на молодую девушку, размытый двойник Изабеллы Росселини. "Мы были бедны, но по утрам он приносил мне ЛАРТУ... О, я не могу поверить, что это не масло, — шептала она, — оно естественно, как наша любовь." "Пожалуйста, дышите свободно, — говорил режиссер, — ЛАРТА — и слегка картавьте: лар-та, вот

так, ларта, чисто и натурально... — нет, раздвиньте губы и прижмите к небу спинку языка: ЛАРТА — свободно и естественно, как наша любовь". Она не прошла конкурс на рекламу японского пива: "Революция заварилась на Востоке... как, вы не слышали? — прекрасная японка в кимоно на золото-красном фоне рядом с полуодетым самураем — революция — в пиве..." Роль отдали румынке. После этого ее просили петь "Подмосковные вечера" за кадром, в то время как русская красавица влюбляется в пепси-колу, но у нее не было голоса. По вечерам Аня подрабатывала официанткой в кафе Борджиа, а в остальное время была, как и многие, вечной студенткой. Она с трудом оплачивала квартиру и писала работу "Об имидже революции во французской мелодраме". По дороге домой Аня давала деньги уличным бездомным, но только 50 центов, только на кофе, а иногда она проходила мимо, притворяясь, что не понимает по-английски: "Ай ноу Энглисш", — как будто бездомным было какое-то дело до ее произношения.

В Нью-Йорке легко быть иностранцем, не просто иностранцем, а коренным иностранцем — нью-йоркцем, который может легко побеседовать на нью-йоркские темы о том, что стандарты в искусстве всегда катятся вниз, а цены вверх, и в Soho уже никого не осталось, — только дилеры и бездомные. А впридачу к этому у нее был легкий русский акцент; русский акцент добавлял изюминку и шел к ней, как дрессинг к салату. "Какой вы желаете дрессинг? — бывало, спрашивал официант, крашенный блондин в сиреневом галстуке, поднося ей ледяную воду, — у нас всегда есть выбор — итальянский, французский, манхэттэнский, русский или голубой сыр — всего 35 центов экстра". "Русский, пожалуйста, — говорила Аня, — и не забудьте горчицу".

— Простите, здесь дают швейцарское мороженое?

— Нет, здесь дают справки.

— А мне справки не нужны...

— Ага.

Как и многие другие, Аня не знала толком, за чем она стояла. Она просто проходила мимо знакомого улыбающегося Горького, с удовольствием глядящего на парк Ленина, и увидела маленький киоск. Она думала, что там продают русские сувениры по кооперативным ценам, а там выдавали справки, почти за бесценок. Ане нужно было убить время — сесть было негде, кафе были закрыты на вечный переучет, так что можно было только стоять. Аня чувствовала себя крайне неудобно. Ее тело было как-то напряжено, она не могла спокойно жестикулировать, улыбаться людям, иногда равнодушно желать им приятного дня, спокойно молчать за чашкой кофе, быть одной, сидеть подвернув ноги, говорить с легким акцентом, быть неженственной по собственному выбору, ругать рекламу маслозаменителей, Джорджа Буша и рецессию — по-английски, конечно. Тогда ей захотелось чего-нибудь аполитичного, какого-нибудь русского романа — сувенир на память о первой любви, о подростках, о мертвых душах и буревестниках. “Первая любовь придет и уйдет, — пела в те далекие брежневские времена прекрасная югославка Радмила Караклаич, глядя в романтическое морское никуда, где-то неподалеку от ныне разрушенного города Дубровника, — как прилив и отлив”. Аня решила найти две свои первые пятнадцатилетние любви, — двух антиподов, Сашу и Мишу, отношения с которыми оборвались без последней точки. Она любила концы романов. С Сашей они разошлись после первого объяснения во фригидности и горького поцелуя, а с Мишей после их секретного пакта и мистической наполеоновско-ницшеанской эротики. Саша был блондин, а Миша — брюнет, Саша был ее официальный роман, а Миша — тайно-телефонный, Саша был красавец, Миша — интеллигент, с Сашей они гуляли в центре, в парке Ленина, а с Мишей — на карповских задворках. Так как выдавали только две справки на человека, она выбрала Сашу и Мишу.

В белом плаще с кровавой подкладкой... Саша был прекрасен. У него была большая родинка на левой щеке, карие глаза и мягкие кудри. Саша носил длинный шарф и пел песни Сальваторе Адамо о падающем снеге: "Падает снег, вы сегодня не пришли, все побелело от тоски", — по-французски это звучало красивее. "Томбэ ла неже... тю не вьендре па, сэ суар...", — мужественный картавящий голос обволакивал ее ласковой пеленой романтической иностранности. Тихо падающий французский снег смягчал их неловкость. Говорить им было не о чем. Они вместе жевали финскую резинку "спеар-минт". Саша немного упал в ее глазах, когда она узнала, что он не читал Пастернака, но что поделаешь, зато он пел красивые песни и был настоящим мужчиной. Быть с настоящим мужчиной иногда скучновато, но зато очень почетно. И вот однажды, когда они проходили мимо памятника Горькому, что-то теплое, небритое и влажное прижалось к ее губам, она почувствовала, что он очень старается, и это может, наконец, произойти. Она лизнула его губы, пахнущие "спеарминтом", но он вдруг отодвинулся и перестал стараться.

— Ты просто фригидная, — сказал он очень серьезно.

Фригидна — так это называется, эта невнятность, замешательство, неловкость, возбуждение и влажность... Фригидна, фригидна, фригидна, коварная богиня Неловкости...

— Тут соки не привозили?

— Нет.

— А напиток абрикосовый кончился?

— Нет, это очередь в бюро справок.

— А вы что, не из Питера?

Миша не умел петь и не любил Сальваторе Адамо. По телефону они говорили исключительно о Ницше, об оргазмах и о желании власти. Думая о Мише, Аня вспомнила неудобный общественный табурет, приставленный к коммунальному телефону, на котором она сидела,

как цапля, считая черные и белые кафельные плитки коридора. Пока Мишу вызывали к телефону, она играла в воображаемые дамки сама с собой и сама себе немножко поддавалась. Их с Мишей глубокая интимность была застрахована телефонной анонимностью и коммунальной общественностью. Когда речь заходила об оргазмах, соседка тетя Валя начинала ворковать у замочной скважины и шуршать домашними тапочками. Тут уже не до воли к власти и не до антихристов... В такой обстановке просто не поговоришь!

С Мишей они познакомились на чертовом колесе в Центральном парке культуры имени Кирова. "Он довольно хорошенький, — сказала о Мише Анина подружка, — но у него такие розовые щеки, просто как у девочки...". "У него такие розовые щеки, просто как у девочки...", — эта странная фраза носилась за Аней весь день, перепевалась в несмазанных цепях чертова колеса, в силах притяжения и отталкивания, когда их бросало врозь, а потом приближало друг к другу в момент счастливой карусельной близости.

А ты помнишь, как давно, по весне,
Мы на чертовом кружились колесе...
Колесо, колесо, и летит твое лицо.

А я лечу с тобой снова, я лечу, оу!

— Эх!

— А?

— По-моему, там было "я лечу — эх!.." Да, именно "эх! и одно слово я кричу.." Вы знаете, давно не слышал эту песню по радио... лет десять, наверное... Сейчас как-то это уже не поют...

— Да я не знаю, чего она ко мне привязалась...

— "Кричу "люблю" и лечу я к звездам, лечу и вновь кричу..."

— Нет, там было наоборот: "кричу и вновь лечу..."

— Ну не все ли равно, прошло столько лет... кажется, ее пел Муслим Магомаев, помните, в программе "Голубой огонек"... бывало, перед Новым годом мы зажигали большую елочную звезду... я был тогда еще женат и мой сын не вернулся из армии. Теща всегда делала селедку под шубой — помните, салат такой был, когда еще была селедка — и мы включали телевизор. Ильич вещал за кадром что-то знакомое и родное, желая нам всем прекрасного будущего, счастья в личной жизни и успехов в труде... А потом я резал селедку под шубой, а Муслим Магомаев пел о чертовом колесе... "Но ты помнишь, как давно, по весне, мы на чертовом кружились колесе... колесо, колесо"... в последние годы, правда, больше пели о тундре... "Мы поедem, мы помчимся за оленем утром ранним, ты увидишь, что напрасно..." Вот так и помчались...

Аня боялась потерять Мишино лицо в последнем круге чертова колеса. Как там во втором куплете: "Эх... кричу "люблю" и лечу я к звездам, кричу и вновь лечу". А потом опять все сначала, все быстрее и быстрее — "кричу "люблю" и лечу я к звездам... лечу, лечу". Но в этом вихре волнений, во взлетах чертова колеса, в прохладном воздухе ленинградской весны Мишины щеки становились все розовее и розовее. Он краснел, как девочка. Это была не судьба.

После чертова колеса были телефонные разговоры и наконец последняя встреча, которая должна была соединить их навсегда и воплотить их глубинный контакт. Она вышла из парадной и завернула с площади Льва Толстого на Карповку. Она прошла мимо огромного Ленина, связанного из красной сетки, модернового Ленина шестидесятников, развевающегося на ветру между Домом мод и Дворцом культуры. За памятником Изобретателю связи начиналась бестрамвайная глушь, старый ботанический сад и покосившиеся детские оранжереи. Миша искал какую-то пограничную зону для проведения тайного ритуала. "Это можно совершить

только раз в жизни, — сказал он, — Наполеон сделал это Жозефине”.

Она должна была встать у запертой решетки ботанического сада и широко раскрыть глаза. Он коснулся языком ее глаз, обвел их очертания, углубясь в темноту ее взгляда, но сохраняя интимную пропасть зрачка. На минуту он овладел ее зрением, увлажнил его изнутри, и они замерли. Пакт был скреплен без крови и чернил, по-наполеоновски просто.

— Девушка, а вы бумажки подписали? Нет, красными чернилами я не принимаю...

— Простите, у меня такой почерк...

— Вы, пожалуйста, поспешите. Информация закрывается через час.

— А мы уже два часа стоим...

— Ну а это ваше личное дело... вчера люди три часа стояли... Не за хлебом же...

— Да, кстати о хлебе, я такие пряники позавчера здесь купила... Знаете, в виде сердечек, по три рубля штука, в кооперативной булочной... Раньше такие тридцать копеек стоили...

— Раньше, раньше... раньше пряников не было, особенно сердечек... Любят у нас все охаять...

— Слушайте, граждане, в таких условиях невозможно работать... я в таком шуме справок не выдаю...

А в Нью-Йорке, с каким-то стыдом подумала Аня, всегда есть десять сортов хлеба — с калориями, без калорий, с жиром и без жира, и даже хлеб без хлеба — незамерзающий, нечерствеющий, вечно молодой синтетический хлеб. А иногда бежишь в дорогой магазин, за тридевять земель, чтоб купить хлеб, который все-таки умеет черстветь, и потому хрупок и дорог, и произносится по-европейски, в нос. Она не принимала участия в очередном разговоре, а старательно дышала на замерзшую оконечность старой шариковой ручки “I love New-York,” привезенной для подарков. Нужно было сосредото-

точиться, вспомнить все, что можно об анкетных данных, не пропустить графы. Два странных, отталкивающие-интимных эпизода было все, что она помнила о Саше и Мише... Остальное были неоправданные слухи... да и те почти десятилетней давности...

О Саше говорили разное. Что он позаигрывал с черным рынком, а потом обрезал свои белокурые кудри и связи с интуристами и пошел в высшую военную школу. Он был сделан из хорошего теста, "right stuff", как говорят американцы, его папа был капитаном, и он пошел по его стопам. Он женился на милой девочке-однокласснице во дворце бракосочетания со всеми делами, с фатой, машиной с желтыми лентами и возложением цветов на Марсовом поле. Это было в конце семидесятых. Но потом что-то пошло не так. Никто из общих знакомых точно не знал. Через несколько лет он стал терять волосы. Говорили, что облучился, получил чрезмерную дозу радиации... Ему пришлось уйти со службы, он запил, уехал из Ленинграда, но потом, кажется, вернулся и жил по-прежнему на Васильевском. Кто-то видел его в метро, но он почему-то не поздоровался, кто знает, может, это был не он...

А вот Мише, говорили, повезло. Как и Саша, он не общался со старыми друзьями, да эти старые друзья не общались и друг с другом, так, собирались изредка, когда кто-то приезжал или уезжал. В конце семидесятых Миша пошел на философский факультет. Он поступил на вечернее, и его забрали в армию служить на китайской границе. Там он получил власть, ту самую, о которой мечтал. Солдаты чистили ему ботинки, ведь он был единственным с десятиклассным образованием. Солдаты чистили ему ботинки долго и тщательно, не оставляя ни пылинки, сидя перед ним на корточках. В двадцать один год он вступил в партию и в знаменательном 1980 году стал одним из главных организаторов Ленинградского комитета Олимпийских игр. Олимпийские игры, последнее грандиозное зрелище брежневской эпохи, последний акт холодной — или к тому времени уже

просто прохладной — войны, с участием медведей и атлетов из братских социалистических стран. Тогда Миша вдруг позвонил Ане после пяти лет молчания. Он был очень любезен и предложил достать ей цейлонского чая по специальным олимпийским талонам.

Она долго не могла простить ему этот чай. Она уже “сидела в подаче” и была выгнана из института “по собственному желанию”. Многие друзья перестали приходить, иногда звонили из автомата, говорили виноватым голосом и неожиданно прерывали разговор, когда в телефоне что-то скрипело: “Ой, извини... больше душки нет...” Ну понятно, никто никого не хотел подвести, никто ни в чем не был виноват, и чая действительно не было... Аня постоянно собирала справки, справки из всех возможных инстанций, которые имели или не имели к ней “материальных претензий”. Тогда ей часто мерещилась встреча с Мишей где-то в переходе метро. Он, свежезагорелый, в новенькой футболке с олимпийским медведем, сделанной в Финляндии, крикнет ей: “Привет, я уезжаю в Москву!” А она в ответ: “А я — в Америку!” Пешеходы в подземном переходе мгновенно расступятся перед ними, поглядят с подозрением, словно фотографируя их вдвоем темными всевидящими зрачками глаз. И тогда Мишины щеки опять покроются румянцем, как в старые добрые времена, и он растворится в толпе.

Но все это было двенадцать лет назад, и проблем с чаем у нее больше не было... Те два прикосновения — реальных и придуманных — с Сашей и Мишей были, как маленькие спасительные круги памяти, раздутые до предела и с дыркой в середине. Хотелось схватиться за круг и просто поплыть по течению в прошлое несовершенного вида, кинуть друг другу нетонущий воздушный мячик-глобус, поиграть в праздничные раскидайчики воспоминаний из цветной фольги.

Аня уже прошла по памятным местам мимо постаревшего, но все еще жизнерадостного памятника Горькому, мимо неоновой знака забитого наглухо магазина

“Фарфор”. На площади Льва Толстого она нашла красноватую тень исчезнувшего Ленина. А вокруг ее дома на Большом проспекте валялись оборванные телефонные провода. Дом был полуразрушен, коммунальные перегородки сломаны и квартиры приобрели опять просторные первозданные планы. Среди хлама и известки на запыленном кафеле в знакомую черно-белую клетку валялись обрывки старых календарей 1979 года, куски разбитых французских пластинок, чьи-то огромные шлепанцы и обрывки обоев — тех самых, в глупую желтую елочку. Напротив были окна с бездонными балконами и невероятно как выжившими засухоустойчивыми растениями, цеплявшимися корнями за воздух. В пробоине двора, там, где когда-то был черный ход, любимое место дворовой шпаны, бродил как потерянный старый добродушный пьяница. Остановившись, он уныло испражнился у скелета старой лестницы.

“Ok’ it’s time to go, — сказала она себе по-английски — Enough is enough...”

— Гражданин, запомните, кто крайний, и больше очередь не занимать...

— А больше никого и нет... все свои...

— Приготовьте ваш вопрос заранее... Год и место рождения, национальность, постоянное место жительства, если известно, конечно...

Аня соскучилась по дому. Она вспомнила свою нью-йоркскую квартиру, не загроможденную и просторную, свободную и без претензий на уют, и ей вдруг захотелось послушать свой автоответчик и пошелестеть страницами “New-York Times”, узнать, кто умер и кто женился, и какое линжеро (lingerie) носят на Пятой авеню. Ленинград казался ей усталым и облупленным, какой-то неисправимой театральной декорацией. Хотелось его немножечко подновить, сделать все чистенько и грандиозно, по-голливудски... нет, не совсем по-голливудски, оставить немного болотного, тусклого,

серо-зеленого цвета и любимой потрескавшейся краски на фасаде стиля ампир.

И все-таки, нам надо встретиться, Саша, Миша, всем троим, посидеть, поговорить о славных восьмидесятих! Может быть, мы в чем-то поможем друг другу или просто развлечемся и отвлечемся, заполним белые пятна наших романов... А где мы увидимся? Какой мы выберем задник для нашей встречи? Нет, только не метро... и не Храм -на - Крови... говорят, он больше не в лесах... Трудно поверить! Давайте встретимся на мосту с золотыми крылатыми львами. Я нигде не видела таких красивых мостов. Let's have some fun... давайте говорить друг другу комплименты... это ничего, что без гитары... "о как приятны общие места, когда пройдя до середины"... нет, такой песни нет, я это сама сочинила...

Саша, ты не расстраивайся, в жизни все бывает... давай вместе пожуем "спеарминт", как в доброе старое время, вместе помолчим... и Бог с ним, с Пастернаком... Тебе очень шел тот белый шарф и длинное пальто... Мы просто принимали себя очень всерьез — и ты и я, и мы все старались выдавать себя за кого-то... Но все-таки, где ты выискал это странное латинское слово "фригидная"? А знаешь, в Америке фригидной бывает только погода, а женщины фригидными не бывают...

Миша, честное слово, я забыла про твой цейлонский чай или почти забыла. Я привезла тебе "Earl Gray"... Ты помнишь наши телефонные оргазмы в коммунальном коридоре? Вообще, ты что-нибудь помнишь? Это было или нет? Вкус твоего языка остался где-то в уголках моих глаз. А ты еще чувствуешь кисло-сладкий привкус моих зрачков? Ну как ты теперь, наверху или внизу? По-прежнему вне добра и зла... Ну, я шучу, конечно, это же Ницше... А что там у вас? Я читаю "Нью-Йорк Таймс" регулярно, но ты наверняка понимаешь все лучше...

А я нормально, привыкла. Люблю Нью-Йорк, ругаю его, как все нью-йоркцы, ругаю и люблю... Иногда езжу куда-нибудь на край света, на остров Ки Вест, в последний раз чуть было не подскользнулась на скалах... Это

нужно, чтобы немножко отстраниться, опасно слишком привыкать к одному месту...

Друзья есть, подруга-феминистка из Швеции и канадский boyfriend. Он верит исключительно в моногамные отношения и уважает женский труд... Вот так... Секс хороший, и мы вместе ходим в Health Club, следим, чтобы не потолстеть. Но он говорит, что он еще не нашел себя. ("Кого-кого?" — ты переспросишь...). Да, я сама иногда не понимаю... как будто это можно просто так взять и найти... Ну ладно, надо бы выпить кофе...

Ты, наверное, знаешь тут места, а то я вчера пыталась выпить кофе со старой школьной подругой, но мы ничего не нашли. Забрели в буфет кинотеатра "Баррикада", взяли напиток темно-коричневатого цвета и хотели поговорить. Но потом начался "Крокодил Данди" и уборщица пыталась послать нас в зрительный зал, ведь буфет у нас только для кинозрителей... "Что вы, ребята, вы такого больше не увидите... это такой смешной фильм, наши таких делать не умеют." Мы думали, она хочет денег, купили билет, но в зал не пошли, ведь буфет был открыт до следующего сеанса, а нам нужно было поговорить. Но подозрение обслуживающего персонала росло с каждой минутой. Почему вы не как все? Все же пошли в зал, а вы что, особенные?

— Я уже видела "Крокодил Данди", — сказала я вежливо.

— Да где же вы могли его видеть, это же премьера...

— Я видела его в Новом Лондоне, в кинотеатре под открытым небом.

— Девушка, покиньте буфет, не видите, у меня тряпка сохнет...

Ну подожди, Миша, не уходи, может, мы где-нибудь еще пристроимся, поговорим... Я бы пригласила к себе, но это далеко...

— Служба информации закрывается через пятнадцать минут.

— Как же так, вы же сами сказали...

— Дайте мне “Книгу жалоб и предложений”!

— Извините, книги нет... Она у нас в центральном бюро на Невском, но они сегодня на переучете.

— Вот в этом-то все и дело, русские люди слишком любят жаловаться. Я бы вообще все эти книги жалоб запретил и оставил бы только книги конструктивных предложений...

— А вы что, депутат?

— Нет, а что?

— И мы очень рады, что вы не депутат... Люди имеют право на информацию... Если им информацию не дают, они имеют право жаловаться...

— А что жаловаться! По-моему, уж чего-чего, а информации в наше время пруд пруди... Хлеба нет, а информации сколько угодно...

— Простите, — сказала Аня, — тут написано: “Бюро информации работает с понедельника по четверг, с десяти до пяти. Перерыв: с часу до двух.” Сейчас три сорок пять. Значит, бюро открыто еще час пятнадцать минут...

— А вы, девушка, откуда такая умная? Что, думаете, я читать не умею? Вы попробуйте тут поработать за два рубля в час... Я бы в кооперативе уже пятерку получала... а я вот не уйду. Жалко мне таких, как вы. Кто-то же должен выдавать людям справки.

— Девушка, вы не здешняя?





Родилась за три года до середины века. Отец — примечателен загубленными талантами, мать — нескончаемой добротой. На воспитание влияли три фактора: сказки Пушкина, исключительная личность тетки — «женщины от Некрасова», диктат реальности. Учиться в Москву на журналистику мама не пустила: «Не прокормлю!» Получив диплом врача, плакала, но медицину полюбила, как приемного ребенка. Работа и увлечение соотносились знаком равенства. Женскую суть посчастливилось оправдать материнством, радость и горечь которого познается уже 19 лет. Фантастический поворот судьбы привел к жительству в Париже. «Это где такой город?» — спросила по телефону сестра приятельницы. «Это во Франции, не в России». А жаль...

МОЯ БОГИНЯ

Тихий московский вечер как-то неприметно завершился. Природа одаривала город прощальным сентябрьским теплом, охра листьев устилала блеклый тротуар...

В уютном подвальчике "мастерской общения", оформленном под русскую старину, сидели трое: две средних лет женщины и седобородый мужчина.

— Все вы, женщины, любите молодых мужчин, — с укором и протестом в голосе сказал седобородый.

— А я люблю пожилых: они бывают красивы и умны. "Старики имеют мистическое значение", — сказал некто. (Мне захотелось его подбодрить.)

— Тогда я познакомлю тебя с моим папой. Неделю назад он приехал из Парижа в Москву и скучает. Ты хочешь в Париж?

— А ты хочешь Жар-Птицу?

— С тобой все ясно! Берем вино, садимся в такси — и к папе! (Говоря о пожилых, я имела в виду седобородого, а меня приглашают в мезозойскую эру.)

Нас встретило небольшое, похожее на лесного волшебника существо с седой бородой по пояс. Воображение представило его сидящим на теплой печке, в глухой деревне. Вокруг — пшеничные головки правнуков, которым он рассказывает всякие небылицы или читает

вслух сказки. Однако, многозначительно крикнув, он распустил павлином бороду и приступил к самоподаче. Он говорил, позируя, любуясь собой, не сомневаясь в трепетном восторге слушателей.

— Я диссидент, соратник Сахарова. Почти вся моя жизнь — трагедия. Когда мне было два года, ЧК расстрелял моего отца. В пятнадцать лет мать выгнала меня на улицу, променяв на нового мужа. (Не повезло с предками: недоласканный ребенок вырос в борца за ласку, то бишь за правду.) Много лет я провел в лагерях и психушках, — продолжал он. Эти года я вычитаю из своего возраста, поэтому считаю себя молодым. (Жизнь вам перепутала грим, папаша: душа на сорок лет, но природа неумолимо раскрасила вас на все восемьдесят.) — Я пишу книги, — он протянул три тонких брошюры, — вот мой портрет в центральном журнале. Я собираюсь писать роман о моей жизни. Но все это не так интересно, как секс. Давайте лучше поговорим о сексе. Что такое сексапильно и что такое сексофильно, например? — Он стал описывать щекотливые сцены с журналистками, бравшими у него интервью. Борода его шевелилась, как осьминог. Он громко хохотал над своими шутками, запрокидывая голову назад. Верхняя вставная челюсть двигалась отдельно. — Теперь я живу в Париже. Вы хотите в Париж? — В его глазах засветился десантный прыжок под юбку.

— Не смею даже мечтать!

— А вы будете моей богиней?

— Буду.

— Тогда прикройте дверь и раздевайтесь. Сын сюда не войдет. (Досадно, что все это входит в программу моего путешествия.)

Полуобнаженный парижанин выглядел как сухофрукт, скорее всего инжир.

— Сейчас я превращусь в вампира и немного вас попью. Но не бойтесь, не крови, а просто вашего естества, — он вдруг зачмокал, засопел, защелкал языком и припал, как молодой щенок к миске с едой. Лысина на

макушке порозовела и залоснилась. Все совершилось стремительно, в несколько секунд. Окончив процедуру, он победно засверкал глазами. — Теперь я буду считать тебя своей женой. Зови меня “Федор” и на “ты”, во Франции отчеств нет.

— Но у тебя есть жена!

— О, она не сексуальна, я не могу с ней жить, целыми днями она ходит с тряпкой по квартире и вытирает пыль.

Нашу с тобой разницу в годах ты не бери во внимание: последние тридцать лет я себе не засчитываю, а значит, мы ровесники. Должен тебе напомнить, моя богиня, что все великие люди имели молодых возлюбленных: Гюго, Тютчев, Роден. Чем же я хуже? Ты будешь меня вдохновлять на творчество. У, чувствую, во мне проснется молодость! Едем через три недели.

Федор выполнил свое обещание. Я высадилась на Северном вокзале Парижа, как космонавт на луну, с той разницей, что планета оказалась обитаемой. Париж предстал в своей ослепительной яви, ошеломляющем великолепии. Опьяняла его всемирная слава. Город манил, увлекал, захватывал, интриговал. Эйфелева башня, усыпанная золотистыми вечерними огнями, воспринималась сказочным видением. Триумфальная арка была похожа на райские ворота, пройдя через которые, казалось, увидишь ангелов. Но попадаешь в этот рай через Елисейские Поля, полные жизни, естества, красоты и греха. С каждым днем познания Париж не становился ближе, а скорее, отчуждался. Мои ежедневные изнурительные прогулки обостряли чувство одиночества. Я вспоминала города России, которые любила. Там меня ждали теплые люди, я была нужна им. Оказывается, города любишь за живущих там людей. Здесь я никому не нужна: все улыбки коммерческие, любезность демонстративная.

Эйфелева башня почему-то стала напоминать мне одноразовый шприц. Триумфальная арка — гигантского разрисованного слона без головы и хобота, Шатле — кладбище для не полностью умерших людей — клоша-

ров, которые лежали в собственных лужах, с язвами на ногах и едва заметными признаками жизни. Париж не входил в мое естество, он существовал отдельно, недоступно, и воспринимался мною как музейный экспонат, на который можно было только вдоволь смотреть. Возможность созерцания этого экспоната стоила дорого: дома сидел мрачный Федор в ожидании материализации той великой роковой любви, которой, по его мнению, он был достоин и воплощать которую предназначалось мне. Контуры великой любви не были обозначены. Смешной бородатый старец, похожий на гномика, бесконечно рассуждал о любви. Он стремился показать меня всем своим знакомым в Париже как неоспоримую улику своей молодости. В сущности, он гонялся за тем, что невозвратно, — прошлым. Он был ревнив, мои прогулки по Парижу ему не нравились.

— Что ты все ходишь по городу? Ты должна сидеть у моих ног, обнаженная, и смотреть, как я пишу книги, — его ноги зябли и он обувал обрезанные по шиколотку валенки. (Сидеть у этих чуней?)

— Давай ходить вместе. Ты совсем не знаешь Парижа.

— Я не могу ходить долго, у меня тромб в ноге. Но уж если мы выберемся, в метро ты сядешь ко мне на колени и будешь при всех целовать, ласкать меня. Пусть все видят. Тут так принято. — Зазвонил телефон. Федор попросил взять трубку и сказать по-французски, что жена господина Сидорофф слушает. Я так и сделала.

— Милочка моя, это я его жена, — ответил прокуренный голос. — А вы живете на наши семейные деньги. Съезжать вам пора, милочка моя, съезжать: — Трубку повесили.

На душе стало скверно. Зачем мне этот фантик из-под конфетки, которая давно прогоркла, спеклась и заскорузла? Я существую в другом мире, в другом измерении, в другом видении. В такие мину-

ты хотелось вспомнить лучшее, что было. Вот моя первая любовь — ничем кроме ума не приметный мальчик в школе, в девятом классе. Разве в своей искренностью? Пять лет я была под легким, как в телефонном аппарате, током, как бы ознобом любви. Знобило от счастья. В девятнадцать лет он внезапно женился. Плача, я послала телеграмму: "Как дорогую реликвию, храню очередность твоих лет". Позже, много лет спустя, под наплывом платонической нежности вышли стихи:

Для меня ты — изваянье,
медальон или портрет.
Я живу в любви сиянии
неизвестно сколько лет.

Нет к тебе прикосновенья,
ощущенья плоти нет.
Для меня ты — вдохновение,
медальон или портрет.

Так и не посчастливилось ни разу поцеловаться. Как был бы сладок и пронзителен тот несбывшийся поцелуй моей первой любви...

— Леля, поцелуй меня всасос. Почему ты целуешь меня, как ребенка, только в щеку? — после сна вид у Федора всклокоченный, седые вихры торчат во все стороны, кожа пропотела, рот провалился, зубные протезы лежат на вытянутой ладони.

— Сначала приведи себя в порядок, умойся, вставь зубы, а потом приходи. Что же ты без зубов пришел целоваться?

— Причем тут зубы? Целуются не зубами, а губами, — ответил Федор и обиженно пошаркал в ванну: после сна ноги не хотели ходить.

... Я вспомнила обаятельнейшую "пряную" улыбку своего возлюбленного. Каждый зуб был похож на произведение искусства. К тому времени я

освободилась от платонических фантазий, меня захлестнула жажда тела. Он так соответствовал моему физическому идеалу, что не верилось в такой счастливый подарок — обладание Им. Встречаясь, мы хотели забыть о времени. Окна занавешивались одеялом от света. Мы погружались друг в друга, в любовь, в вечность. Расставаться не хотелось никогда. Два года мы и не расставались. Затем пошли какие-то распри, недомолвки, мелочи. Любовь так и не смогла перейти в обыденность, она воплотилась в веселого румяного ребенка, сама же исчезла.

Тянулись зимние месяцы. Ближе к Рождеству город начали украшать искусственным снегом. Вечером этот обман удавался — была иллюзия натуральности. Зимнее бесснежье удручало. Где моя Россия? Мой колючий морозец? Падающие из ниоткуда тяжелые белые хлопья? Здесь зиму можно найти только в горах.

— Что ты всю неделю печешь блины, как на масленицу? — спросил Федор. — Ты провожаешь зиму? Ее же не было!

— Вот именно. Кушай! Это проводы того, что не сбылось, не состоялось. (Моя журналистика, мой вокал, мои деньги, мой мужчина жизни и, наконец, Париж.)

С каждым днем множились знаки вопроса о моем здесь пребывании. Часто звонила жена, попрекала деньгами и напоминала мне, что я не вписываюсь в их семейную идиллию. Федор целыми днями писал книгу. Злополучный тромб в ноге ограничил его подвижность. Федор жаждал проявлений моей привязанности.

— Скажи, ты меня любишь или Париж?

— Вас обоих.

— А меня — как?

— Платонически.

— Вот, вот в чем причина, вот почему во мне не проснется мое мужское! — он стал стремительно

сбрасывать с себя одежду. Все полетело на пол. Обнажилось сухонькое естество на тонких ногах. Кожа в некоторых местах свисала, как присборенная занавеска. Ягодицы напоминали сухие сморщенные ядра грецких орехов. На больной ноге остался полуваленок. Все выглядело так жалко и убого, что необходимо было срочно отключить зрение. Я сняла очки. Борода стала похожа на воронье гнездо.

— Сделай что-нибудь, ты же специалист, сексолог!

— Да, я специалист, но теоретик и не кудесница. Практикантки, как ты знаешь, стоят на Сен-Дени.

— Пойми, я нуждаюсь в великой любви, обожании и поклонении.

— Я именно так тебя люблю и уважаю как героическую личность, мученика и страдальца.

— Но ты не хочешь даже прикоснуться ко мне, поласкать меня. Я неприятен тебе физически.

— Твое предназначение в духовном! Оденься, озябнешь!

Зазвонил телефон. Это был мой муж, мой верный друг, мой товарищ и собрат. Наша нежная дружба в течение долгих лет периодически напоминала любовь, а затем снова превращалась в надежный семейный дуэт. Федор взял трубку.

— А, это вы? Не звоните больше, вы должны понимать: у нас с Лелей взаимоотношения, как у мужа и жены. Она любит меня, а не вас. (Старая калоша! Какое маразматическое право ты имеешь так ранить моего лучшего друга?) Я была в бешенстве.

— Подойди к зеркалу, хорошенько посмотри на себя, — сказала я Федору и почувствовала роковое значение этой фразы. Он надел свою яркую цветастую одежду, повязал на шею шарфик, который менял ежедневно; был мрачно сосредоточен.

На следующий день после моей обычной прогулки по Парижу я не сумела открыть дверь квартиры

— ключ в замок не входил. На двери была записка: “Я ушел к жене, замок в двери поменял. Здесь будут жить моя внучка с правнуком. На твоё содержание истрачено тридцать тысяч, я требую их возврата, после чего ты получишь свои вещи. Федор”.

Что это? Результат моей неосмотрительности? Наказание за неискренность? Или это расплата за созерцание дивного города? “...Без этой женщины жизнь для меня подобна смерти...” почему-то вспомнилось мне письмо президенту, в котором Федор просил для меня вид на жительство.

На душе было гадко, но вместе с тем ощущался итог, законченность, черта, как бы возвращение в свое “я”. Ноги побрели в церковь — там укроют и дадут ночлег. На одной станции метро я встала в стороне, прикрепила к куртке бумажку с надписью: “Хочу уехать домой, в Россию — не на что!” Я запела сначала тихо, как бы распеваясь, а затем громко, во весь голос, на всю станцию — “Не корите, меня, не браните”, “Ямщик, не гони лошадей”. Я иногда и раньше плакала от собственного голоса. Он меня трогал, было обидно, что за суетой дней мой вокал не состоялся. Сейчас я плакала от безисходности, стыда, на который меня обрекла жизнь. Французы останавливались, слушали, клали монеты прямо на пол или в руку. Кто-то поставил бумажный стаканчик и положил в него деньги. Мне сочувствовали и, видимо, верили надписи. Я не была похожа на простую нищенку. Успех моего дебюта слегка утешил и ободрил.

Придя в церковь, я спросила, нет ли работы. Работа нашлась — почистить колокол, загаженный голубями. Я поставила свечку и помолилась, как могла.

Завтра почищу колокол, рассмотрю все его надписи и барельефы. Слегка ударю по нему, послушаю, как он звенит. Потом пойду в метро с той же запиской и стаканчиком. Я спою все лучшее, что знаю, пусть французы послушают наши шедевры.

А когда приеду в Россию, начнется весна: запах лопнувших почек, особая свежесть ветра, неустанные трели птиц и вскоре - цветение садов. В России сады цветут буйно, но цвет может весь погибнуть из-за ночных заморозков. Я поеду в свой сад, всю ночь буду жечь костры, окуривая деревья теплом. Может, что-нибудь и сохранится?





Живу в Москве, в Марьиной Роще. Там у меня родились и выросли две симпатичные дочки, там я написала, а потом и опубликовала в московских издательствах вполне реалистические повести — “Не ищи псевдонима”, “Шесть телефонных звонков” и др. И вдруг... Я написала книгу “Призрак в ночной электричке”, которая целиком состоит из необъяснимых, таинственных, а порою и просто ужасных историй. Не исключено, что, прочитав ее, читатель скажет: этого не может быть! Как знать... Ведь я родилась под созвездием Рака, и планета моя - таинственная чаровница Луна. А впрочем, вера — дело добровольное. Но уж в достоверности “Болотного гостя”, который напечатан в этом сборнике, точно не может быть никаких сомнений!

БОЛОТНЫЙ ГОСТЬ

Вообще-то его звали Игнатом, но ведь народ любит давать прозвища. Мазай да Мазай — так его окрестили деревенские бабы за то, что он с ранней весны до поздней осени жил на болоте, в то время как его пятистенный дом в деревне пустовал. В свои семьдесят пять Мазай был крепким жилистым мужиком с большой головой и вечно свалявшимися в войлок волосами и бородой. Старуха его давно умерла, дети подались в город да там и остались.

Избушку свою на болоте Мазай обнес плетнем, весной вскапывал грядки под чеснок и лук. Он привык к болотному одиночеству, к зудящему комариному звону, посвистам куликов, прощальным крикам улетающих диких уток и кваканью лягушек. Одну из них, которая жила в желтых кувшинках под корягой, он узнавал по голосу.

Он знал на болоте каждую кочку, каждое гиблое место, и не зря его брали проводником приезжавшие поохотиться "партийные", как старик про себя называл людей из района. Иногда он любил стоять на краю чистого, как зеркало, проема и смотреть на опрокинутые в нем ольхи и кусты черемухи. От этого проема по надежным кочкам он пробирался через болото, минуя гиблые места, когда ходил за солью, хлебом и спичками в сельмаг.

Вечерняя заря уже окрасила ярко-зеленую, резко пахнувшую на закате осоку, когда Мазай, стоя у проема и наблюдая, как бесшумно покачивается в нем черемуха, услышал крик о помощи. Он приложил руку козырьком к глазам и в догорающих лучах солнца увидел тонущего человека. Трясина, равномерно дыша своей исполинской грудью, неумолимо засасывала его, и он, угодив по неопытности горожанина в одну из самых коварных ее ловушек, бестолково бил по воде руками.

Пока Мазай искал шест, пока по скользким кочкам подбирался к утопающему, увы, тот уже скрылся с головой в болоте, и старику оставалось только перекреститься, как вдруг там, где расходились круги и лопались пузырьки, на миг что-то мелькнуло.

“Ну давай, давай! Поднатужься, милый! Рванись! Иди... Иди...” — бормотал Мазай, тыча шестом, призывая несчастного к себе и понимая, что все кончено, но... как бы услышав его призыв, погибающий и впрямь сделал последнее нечеловеческое усилие. Из жижи вдруг высунулась кисть руки с растопыренными пальцами. Они хотели ухватить что-то в воздухе, конвульсивно шевелились, и старик, перегнувшись, вложил острый конец шеста в живущие последние мгновения пальцы. Сделал он это, скорее подчинившись инстинкту спасти себе подобного, чем надеясь на успех. И, о чудо! В смертельной агонии, но и в упорном неприятии надвигающегося небытия пальцы намертво вцепились в то, что было для них последней — пусть эфемерной — связью с остающимся по другую сторону воды миром.

Мазай, не веря своим глазам, встал поудобнее, широко расставив ноги, и дернул шест, как дергает удилице рыбак, когда клюет рыба. И, словно рыба, — молниеносно — вылетела на поверхность мокрая, точно облизанная, голова с раскрытыми в ужасе глазами. Мазай, не теряя даром времени, тащил на себя шест, и, когда утопающий смог протянуть ему руку, впился в нее, как клещ, рванув, что было сил.

Он поразился, с какой легкостью, как пробка из бутылки, вылетел из плотной жижи на сухой островок спасенный человек. Он был в одном сапоге, другой так и остался в болоте. Кепка плавала рядом.

То, что угодивший в трясины спасся, было чудом, великим чудом, — это Мазай понимал, но ему было невдомек, что тех мгновений, которые тот пробыл внизу, оказалось достаточно, чтобы нахлебаться болотной вонючей жижи и умереть. И Мазай не ведал, что вытащил не человека, а мертвеца. Ничего не подозревая, он заставил его нагнуться, постучал по спине, чтобы вылилась вода изо рта и ушей, и, заботливо поддерживая, повел болотного упыря в избушку, на свою голову вымавив нежить с уютного мягкого ложа.

Он привел его в избушку, передел во все сухое, вскипятил чай, настоянный на прошлогоднем брусничном листе. Спасенный не проронил ни звука. Он очень медленно приходил в себя, взгляд все еще был тусклым, замогильная печаль пряталась в нем, но это Мазая не удивляло. А чего еще ждать от человека, который, почитай, одной ногой в могиле побывал? С чего глаза его веселым быть?

— Ты, небось, студент? — спросил он молодого с виду болотного гостя.

— Сту-у-де-ент... — эхом откликнулся тот.

— А как нечиста сила тебя на болото без проводника понесла? Поохотиться на уток захотел? — Мазай между делом успел выпить полстакана самогона, и щеки его, окаймленные густой свалывшейся бородой, порозовели.

Гость, помедлив, будто что-то припоминая, ответил:

— Я ... вроде... клад хотел найти...

— Клад? На болоте? Что-то не то несешь, паря! — старик подбросил щепы в печку, огонь загудел, языки пламени стали вырываться из неплотно прикрытой дверцы. Синегубый, продрогший до мозга костей студент вместо того, чтобы придвинуться поближе к теплу,

резко откинулся назад, прижавшись к бревенчатой стене.

— Чего боишься-то? Не сахарный, не растаешь! — балагурил слегка захмелевший Мазай. — Не бойсь. Только болотные упыри да кикиморы огня боятся. Так-то... Стало быть, клад на болоте найти хотел? — допытывался он.

— Не то, чтобы клад... — опять, словно что-то припоминая, сказал гость, — я траву искал...

— Каку траву?

Гость не ответил. В глазах его стояло недоумение.

— Старик... скажи... А почему я, действительно, огня боюсь?

Мазай усмехнулся.

— Видать, в трясине малость мозги повредил. Ничего, пройдет денек-другой, оклемаешься. Так как ты траву-то искал на болоте, а?

— Кажется, кажется... А, вспомнил! Разрыв-траву!

— А кто тебе про разрыв-траву наплел?

— Я в одной старой книге прочитал... Если держать пучок этой травы в левой руке, она к кладу приведет. В Москве много зарыто кладов... — прошептал он, словно боялся выдать секрет.

— Так ты — москвич? — догадался Мазай.

— Москвич...

— Может, твоя правда. Из Москвы-матушки много богатых людей бежало и сто, и двести лет назад. Возвратиться чаяли, вот клады-то и зарывали. — Мазай отхлебнул глоток брусничного настоя из жестяной кружки и продолжал. — Слышал я про эту твою разрыв-траву-то, только по-другому мне про нее мой покойный дед сказывал. Царство ему Небесное! Человеку-то самому ее нипочем не найти, потому что к ней следов никто не знает. А надо кукушкино гнездо в дупле с птенцами найти, забить в дупло деревянный клин, и тогда кукушка — хошь-не хошь — полетит на болоте и найдет разрыв-траву... Ты спишь, што ли? Чего глаза закрыл, студент?

— Не студент я... — с какой-то горькой обреченностью промолвил гость.

— А говорил — студент! — упрекнул, обидевшись на ложь, Мазай.

— Что-то со мною непонятное творится... — шептал в тоске гость.

— С перепугу это, милоч. Ты слушай про разрыв-траву-то, коли добыть ее собрался. Когда кукушка найдет траву, она прилетит к дуплу, приложит пучок к клину, и тот вылетит, будто его обухом вышибли. Тут уж не медля в кукушку надоть стрелять, а то она проглотит траву, чтобы человеку не досталась... Слышь, парень, кинь-ка мне коробок, колено свело, встать не могу. Эх, старость, старость... — кряхтел Мазай, качая большой головой.

Гость повернулся к полке, где лежали спички, и тут страх погладил острой когтистой лапкой могучего старика по хребту, ибо вместо того, чтобы встать и подойти к поодаль висевшей полке, гость, словно резиновый, растянулся туловищем до нужной длины и взял с полки коробок.

Старик принял коробок, мысленно осенил себя крестом и тут же (снова мысленно!) чертыхнулся в адрес самогонки, из-за которой мерещится невесть что. Он совсем было успокоился, но проклятуший гость не унимался, какая-то мысль тревожила его, он силился что-то понять и пугал своими вопросами старого Мазая.

— Старик, а старик, — шептал он, приблизив вплотную свое бледное лицо, и Мазай почувствовал, как из синегубого рта потянуло тиной, — скажи, кто я?

Опять холодок поскреб по хребту острыми коготками.

— А кто тебя знат... — пробормотал Мазай, — по виду — студент, а там — Бог ведает. Не убивец же ты, не вор, небось... Да и брать у меня нечего... У тебя, парень, от испуга память отшибло, успокойся, вспомни, что к чему.

Тот, кого старик принимал за студента, стал пристально всматриваться в хозяина избы. Он уже ощутил в себе зов тьмы, но все же прошло еще слишком мало

времени, чтобы полностью утратить связь со всем земным и хладнокровно сделать свое дело. Живое, пусть только всего лишь в сознании, пока держало его, не торопилось отпустить в мир нежитей, и утопленник задал вопрос, который еще так недавно волновал его:

— Скажи, что сделать, чтобы стать счастливым?

Мазай качнул косматой головой.

— Экий ты! Вот я тебя с того света вытянул, разве это не счастье, а?

И болотный гость, будто отражение в зеркале, тоже качнул космами:

— Не знаю... Время покажет... Может, пожалею, а, может, привыкну.

— К чему привыкнешь? — не понял старик.

— Да так... Сам с собой рассуждаю... И все же, как жить, чтобы быть счастливым?

— Мудреный твой вопрос, и все же я отвечу, как сам разумею. Счастье в том, чтобы довольствоваться своей судьбой и не завидовать чужой. Так-то, паря!

— А зачем ты меня вызвал? Чью судьбу ты мне навязал? — резко спросил гость. Мазая показалось, что синие губы его дрогнули то ли в плаче, то ли в горьком смехе.

— Зачем я тебя вызволил из болота? — не расслышал укор Мазай, — ну, парень, и неблагодарный же ты!

Гость зябко поежился, пожаловался Мазая:

— Знобит меня. Солнца нет, так хоть бы при луне погреться...

— Может, самогонки хлебнешь?

Гость отказался.

— Нет, ночь подожду...

— Я тебя на ночь в тулуп закутаю, вмиг согреешься!
— пообещал Мазай.

Он вышел наружу, вытащил из кармана смятую пачку "Беломора", закурил, глядя на болотные тспи, а когда обернулся, то увидел, что гость смотрит на него, прижавшись лицом к стеклу.

Что-то нехорошее почудилось Мазаяу в пристальном взгляде искаженных стеклом глаз: они растянулись щелью до самых висков.

“По душу мою, что ли, пришел?” — невольно подумалось ему. Он взглянул под ветхий сарай, где лежала уже много лет домовина — толстое ошкуренное бревно. Как повелось издревле в этих краях, у каждого старика во дворе была домовина. Приходит срок — и родные выдалбливают в ней последнее пристанище покойному. Мазаяу не на кого было надеяться, он сам собирался загодя вытесать себе гроб из домовины, чтобы схоронили по-людски. И, внезапно ощутив в душе смертную тоску, он подумал, что пора, пора тесать домовину.

Ночь прошла беспокойно. Когда в окошко заглянул полный месяц, гость вышел из избы и не возвращался до первых петухов. Старик хотел проследить за ним, но глаза сомкнулись сами собой. Сквозь сон он услышал голос покойного деда. Сам себе привиделся маленьким мальчиком. Дед говорил ему: “Месяц — это солнце утопленников, дрогнут они в воде, вот и выходят ночью погреться в его лучах... а если ненароком попадетс я им живой человек, они с визгом и хохотом защекочат его до смерти...”

— Ты, старик, щекотки боишься? — спросил утром студент, когда они пили чай из брусники. Впрочем, пил только Мазай, гость опять не притронулся к кружке. Мазаяу показалось, что за ночь он сильно изменился, стал длиннее и очень уж тощий, и волосы падают космами до спины. Он ткнул острым пальцем под ребро старику и игриво повернул, щекотнув.

Мазай рассердился.

— Совсем ты умом помутился, паря! Лечить тебя надоть. Хватит у меня на лавке штаны протирать. Соберайся, я через болото тебя к фельшару сведу.

Студент поднялся с лавки, вышел на крыльцо. Мазай вышел следом.

— Я сам схожу, ты мне не нужен, отдыхай, старик, — отказался гость от предложения доброго Мазая.

— Сам? Мало тебе досталось? Снова на свою голову погибель ищешь? — проворчал Мазай. — Ладно, коли хочешь, иди. Видишь вон те колышки? Это я наставил. Смотри, не сбейся, а то снова ухнешь в тар-тарары!

— Я остороженько...

Еще что-то человеческое гнало его прочь от несчастного старика. Он почти бегом устремился к пробитой в осоке тропинке, но не справился с охватившим его вдруг желанием поиграть сегодня ночью под лучами месяца с человеком, оглянулся и крикнул:

— Вечером вернусь! Жди! Вместе клад искать будем!

Старик задумчиво глядел ему вслед, удивляясь настырности кладоискателя, но когда увидел, что тот, сбившись с надежных кочек, уверенно идет по трясине и вот уже благополучно миновал гиблое место, в котором вчера утонул, вдруг понял, что не домовину ему надо тесать, а осиновый кол. И поскольку болотный гость обещал вернуться к вечеру, он, не мешкая, пошел в редкий перелесок, чтобы выбрать молодое деревце с крепким стволом.





Родилась в 1905 году в Тамбовской губернии. Детство и юность прошли в Рязани.
Была скаутом.
Окончила курсы английского языка и два курса Института Иностранных языков.
Работала переводчицей, библиографом, 7 лет преподавала английский язык в школе.

МОЯ КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

1. Мои предки

Мой прадед с материнской стороны — поляк. О нем я знаю лишь, что его фамилия была Лозовский, что он был участником польского восстания, а после подавления восстания сослан на север России. У нас сохранились, как реликвии, его польский шелковый кушак и гобелен.

Моя бабушка с отцовской стороны — незаконнорожденная дочь крепостной и помещика. От него у нас сохранился один том Брема (Петербург, 1866). В приданое бабушка получила поместье, где я и родилась. Не знаю почему, но бабушка никогда не улыбалась.

2. Как я родилась

Родилась я в неуказанный срок. Лошади понесли, моя мать вылетела из экипажа и, неожиданно для всех, родила меня.

3. Как вместо меня крестили мопса

Крестили меня там же, в имении у бабушки, в зале. Кум был соседский помещик, кума — моя тетка. В самый

разгар обряда в зал ворвался мопс, сел между кумом и кумой, рычал, не давал бабушке пошевелиться.

— Черт, уберите собаку! — гаркнул кум столпившейся в дверях прислуге.

Кума испугалась, уронила меня, а бабушка впопыхах схватил вместо меня мопса и окунул в купель.

4. Как я росла

Помню себя с годовалого возраста. Многие этому не верят, но это так. Помню, как меня еще пеленали (тогда пользовались свивальником) и каким наслаждением это для меня было. Я сама вытягивала ножки и ручки, и так приятно было чувствовать, что становишься цельным, сплошным кусочком.

5. Красотой я не блистала

Родилась я раньше срока и была страшно мала. Бабушка с материнской стороны отказывалась брать меня на руки.

— Не поймешь, что это: то ли ребенок, то ли лягушонок, — говорила она.

6. “Нянечка, проспали!”

Так я будила по утрам свою замечательную нянечку-старушку. Мы с ней души друг в друге не чаяли и не расставались ни днем, ни ночью: она спала в моей комнате. И вот, разбудив так однажды свою нянечку, я встала, оделась, она взяла меня на руки и мы торжественно выплыли в столовую к великому изумлению родителей и не разошедшихся еще гостей.

7. Что я видела на небе

На небе ночью я видела два светила. Одно маленькое, белое, невзрачное — месяц. Другое красивое, большое, желто-оранжевое — луну. Мне говорили, что это

одно и то же, но я не верила, я верила только своим глазам.

8. Как рождаются дети?

Вопрос этот меня сильно интриговал. Мне отвечали: вырастешь — узнаешь. Однако, рассуждая логично, я сама все выяснила.

Дети рождаются после того, как священник в церкви соединит руки жениха и невесты. Но здесь возникал вопрос: почему же дети не рождаются, когда люди просто берут друг друга за руки или здороваются? Я решила, что здесь имеют значение слова священника, соединяя руки, он говорит: “Плодитесь и размножайтесь”.

Ребенок растет в животе у матери. Но как он оттуда выходит? Единственный выход — пупочек. Не даром мать очень мучается при родах: ведь пупочек такой маленький, а через него должен выйти целый ребенок.

9. Палкой по мозгам

Когда я впервые послушалась старшую сестру, она в гневе ударила меня палкой (правда, тонкой) по голове.

Но самое обидное, что моя жалоба — “Меня Катя палкой по мозгам ударила” — встретила не сочувствие, а взрыв дружного хохота.

10. Как я учила французский алфавит

Выучила добросовестно, но вместо буквы “икс”, к великому ужасу окружающих, произнесла другое слово, тоже из трех звуков, такое же непонятное для меня, но зато знакомое по надписям на заборах.

11. Как я летала

Летать начала рано (мне следовало бы стать летчицей). Первый раз летела в двухлетнем возрасте кубарем

по лестнице со второго этажа до самого низа. Приземлилась благополучно.

Второй раз — восьми лет с крыши дома. Приземлилась благополучно.

Позднее несколько раз с верховой лошади — всегда благополучно.

Я не считаю многочисленные полеты вместе с велосипедом — не всегда благополучные (я любила носиться на велосипеде как угорелая).

12. Юркин нос

Юрка — это мой школьный товарищ. Он любил изводить меня. Машет, например, перед моим лицом пальцем и твердит: "Воздух общий, воздух общий, воздух общий..."

— Перестань, а то укушу!

— Кусай!

Но здесь возникала проблема: как же я кусать его буду? Самое подходящее, пожалуй, нос. За нос я его и укусила. Он дико закричал, а потом ходил с синяком на носу.

Нос его страдал не один раз. Второй раз я его локтем по носу двинула (простите за выражение) перед самым его отъездом в Москву сдавать экзамен в Университет.

Приехал в Москву. Нос у него распух. Пошел к врачу. Славный такой старичок.

— Что у вас? — спрашивает.

— Да вот меня сестра по носу ударила.

— Знаем мы этих "сестер", — говорит доктор.

И денег с него не взял.

13. Как меня кусала бешеная собака

С ранних лет я твердо знала: "Никогда не беги от собаки", и когда я увидела, что ко мне бежит бешеная собака, я остановилась.

Собака подбежала, поставила передние лапы мне на живот, взяла в зубы мою руку около локтя и стала медленно сжимать челюсти. Все это время мы не отрываясь смотрели друг другу в глаза.

Потом она так же медленно разжала челюсти, встала на все четыре лапы и побежала дальше, а мне делали прививки против бешенства.

До сих пор я помню ее глаза: сколько тоски в них было.

14. Как я купалась в Парке им. Горького

Я решила обязательно выкупаться в сентябре, а сентябрь был уже на исходе. Дальше медлить нельзя.

Иду с подругой в парк, взяв с нее предварительное обещание ни в чем мне не противоречить. Заходим в заброшенную, хлопающую дверью купальню. Прошу ее подержать дверь. Быстро снимаю шляпу, пальто и все остальное. Надеваю купальный костюм и прыгаю в воду. Вода обжигает, но я все-таки плыву. Ко мне начинают стягиваться лодки. Одна подошла совсем вплотную.

Когда я оделась и вышла, меня встретила небольшая глазающая на меня с любопытством толпа.

— Вы каждый день здесь купаетесь? — спросил меня почтительно какой-то гражданин.

15. Как я работала переводчицей

Работала я с американским немцем, вздорным — со всеми перессорился.

Я сижу за столом. С одной стороны немец, с другой — русский специалист. Кричат друг на друга, стучат кулаками по столу, а я должна переводить.

Я не выдержала, расплакалась и убежала.

На другой день один из сотрудников рассказывает "Что здесь вчера было! Специалисты ругаются, ребенки ревут!"

16. Как я работала библиографом

Начала работать в Государственной Центральной Медицинской Библиотеке.

Ко мне заглянул один из сотрудников справиться, как идут дела.

— Хорошо, только вот терминологии незнакомой много. Кстати, не знаете ли вы, что такое... — и я произнесла слово, имеющее отношение исключительно к мужской анатомии.

Сотрудник очень серьезно и внимательно посмотрел на меня.

— Нет, не знаю, — ответил он.

17. Как я проходила чистку

Бегала я стриженная, косметики не употребляла, но когда приехала комиссия нас "чистить", я надела шляпу, густо намазала губы помадой и отправилась "чиститься". Села, небрежно положив руку на стол, и сразу начала рассказывать о своей бабушке-помещице.

Мое повествование прервал один из "чистильщиков", ярко выраженный тип интеллигентоненавистника. Сощурился ехидно глаза, он спросил:

— И индейки у нее были?

— Были.

— И гуси?

— И гуси.

— И утки?

— И утки.

Наш диалог прервал другой член комиссии, который решил, что хватит обсуждать проблему индюшек, уток, поросят и прочей живности. Он сразу перешел к делу, спросив меня, кто был мой отец. Отец мой был служащим. Меня поспешили удалить, так и не дав мне закончить рассказ о моей бабушке-помещице.

18. Мой эксперимент

(Что получится, если она говорит только по-русски, он — только по-английски)

Она: Джимми, кумыс очень крепкий (разговор шел о кумысе), бродит ш-ш-ш-ш (поочередное движение руками вверх-вниз — пытается изобразить движение жидкости в сосуде). Такой крепкий, что пробку вышибает (резкий взмах руки вверх).

Американец понимающе кивает головой.

— Что вам рассказали? — спрашиваю я.

— Мне сказали, что когда лошадей доят, они скачут через заборы.

19. Как я учила американца объясняться по-русски

Обед. Американец, любивший употреблять детские выражения, спрашивает меня, как будет "я сыт"? Я сказала.

Фурор был потрясающий, когда он встал, приложил руку к груди и проникновенно произнес:

— Спасибо, мое пузичко полно.

20. Мое падение с американцем

Вечер. Тьма крошечная. Мы идем по тропинке вдоль оврага. Он жалуется на свое одиночество, говорит, что так хочется иметь семью.

Мы не заметили, как сошли с тропинки, шагнули в овраг и благополучно скатились друг через друга до самого дна.

Я ужасно смеялась, а он был в отчаянии.

21. Я – рационализатор

Дача. Я усовершенствую конструкцию электрической плитки: кладу на нее шиферный лист, а уж сверху ставлю тяжелую чугунную сковородку с пирожками.

Вдруг раздается страшный взрыв. Сковорода взвивается под потолок и несется вверх дном через всю комнату, рассыпая по дороге пирожки. От плитки остались три железные ножки и раскаленная спираль.

— А я думал, где-то стреляют, — сказал после хозяин дачи.

22. Все остальное

Была три раза замужем. Первый раз — юридически, но не фактически. Второй раз — фактически, но не юридически. Третий раз и фактически и юридически.

Ни к чему хорошему это не привело, если конечно, не считать двух наследниц.

Сейчас мне 87 лет. Что будет в дальнейшем — еще не известно.

ТРИ СТРАНИЧКИ ИЗ ЖИЗНИ

- 1 -

Ранняя весна.

Солнце припекает.

Мы за городом. В роще. Кругом лужи, громадные лужи и ни одной живой души.

Андрей медленно идет через эти лужи, держа меня на вытянутых вперед руках, и не отрываясь смотрит на меня.

Я знаю, он идет так медленно по этим лужам для того, чтобы дольше держать меня на руках.

- 2 -

Вечер.

Андрей провожает меня.

Прощаясь, он обычно расстегивает перчатку на моей руке (прежде перчатки застегивались у запястья), целует мне руку и стоит, облокотившись на перила крыльца, пока мне не откроют и я не войду.

Главное обаяние Андрея в том, что все поступки его красивы.

- 3 -

Отец Андрея приехал в Москву.

Остановился у нас.

Мы сидим вдвоем на диване. Он спокоен. Никаких эмоций.

— Андрей расстрелян, — говорит он.





Мне и как критику, и как редактору, и как читателю интересны ее попытки обогатить реалистическую традицию новыми приемами письма, новыми средствами выражения, отзывающимися неслучайным знакомством с гипер- и сюрреализмом. Я радуюсь, убеждаясь на ее примере, что можно, оказывается, быть современным писателем, не порывая корневой связи с фундаментальными ценностями русской литературы...

Сергей Чупринин

Повесть "Поминование" (как и многое у Марины Палей) написана от первого лица... Проза не просто исповедальна, она не хочет быть собой и мягко намекает (на самом же деле жестко указывает): вы читаете лирику.

Андрей Немзер

В черных очках я оставалась вплоть до паспортного контроля. С волосами, я надеялась, будет проще: если пограничника и насторожит несоответствие цвета, я сошлюсь на дурное качество снимка, а если это объяснение не поможет, я, конечно, признаюсь, что на мне парик, но не сниму — только чуть сдвину его на затылок, чтобы предъявить свои темные волосы.

Если бы предусмотреть заранее, я взяла бы с собой три чемодана, — возможно, у таможенников сработал бы казенный рефлекс почтения, и все, глядишь, обошлось, — а так, сообразив, что у меня из вещей всего лишь сумочка, они молча приняли ее потрошить вывалилась пудреница, плоская коробочка с театральным гримом, флакон с жидкостью для снятия макияжа, помада в пластмассовых патронах... Это все? — спросил таможенник, уже разогретый злобой, поскольку обстоятельства требовали от него дополнительных усилий, похоже, умственных. Я ответила, что все, и тогда он сказал: не делайте, пожалуйста, из нас дураков, — и я объяснила, почему мне больше ничего не надо, но он, уже заведенный, с особой душевностью произнес: не делайте, я повторяю, из нас дураков, — и принялся развинчивать каждый патрон, и нюхал помаду, и злился, — а самолет отбывал через тридцать пять минут, а еще не был пройден паспортный контроль, и я поторопила официальное лицо, оно позвало своего шефа, и тот

сказал: вам не следует делать из нас дураков, будем держать до выяснения; вопросы, ответы, междометия, вскрики, — экзекуция затягивалась, до отлета оставалось пятнадцать минут, — и я заорала: ну гады же, гады! — и заплакала освобожденно, — было уже безразлично, что слезы смывают густую пудру с ресниц и щек, что они разрушают мой тщательно обесцвеченный образ, белесую маску, трясущимися руками только что подновленную в туалете аэропорта, под землей, среди хирургического кафеля, зеркал и могильного холода, — я уже знала, что все пропало, все кончено, — и мне стало зловеще легко, как на деревянной качели, взлетающей над оврагом, когда сердце чуть позади тела — или чуть впереди него, но напроць с ним не совпадает, — я поняла, что сейчас придушу этих двоих, как мышей, я даже рассмеялась простоте выхода, — но что-то случилось наверху, я ничего не поняла, и опять ничего, и поняла не так, и уже боялась понять правильно, и наконец поняла: наш вылет задерживался на два часа.

Разум возвращался ко мне толчками, неравномерно: сначала я заметила, что таможенники отошли, потом увидела, что они занимаются другим пассажиром, потом ощутила свои руки, вцепившиеся в сумочку, — и наконец восстановилось изображение картины, которая живет во мне годы:

я сталкиваюсь с тобой лицом к лицу, в этом безудержно грохочущем Вавилоне, — уже после окончательного разрыва, после глухой разлуки, — по существу, после жизни, прожитой зря, точнее было бы сказать, нас сталкивает, — уже после того, как я смирилась с пожизненной параллельностью наших существований, с нереальностью их пересечения в евклидовом заточении Земли, — и вот, после всего этого, наперекор здравому смыслу, научной логике, вопреки правде жизни, — и вообще, поправ теорию вероятности, — мы ненароком взламываем хрупкое устройство здешней геометрии, — была в нем, видно, тонкая закраина, — и, оступясь куда-то вверх, взле-

таем в запредельный просвет, где, увидев тебя, я ничуть не удивляюсь, даже не вздрагиваю, на протяжении всех этих пустых нежилых лет ты наотмашь, без отдыха, ежедневно обжигал мое сердце, — мелькал в толпе твой затылок, кто-то твоим жестом поправлял на плече сумку, некто выныривал из поворотни, чтобы навсегда уйти от меня твоей мальчишеской походкой, зарвавшиеся озорники с беззаботной жестокостью тщились подменить тебя здесь и там, я видела в толпе твой подбородок, почти твою спину, ты вздергивал плечи, еще издалека я различала твой наклон головы, велосипедист — Боже мой! — так спешно провозил твои брови, подставные лица с детской простотой повторяли твою интонацию, ты опускал глаза, ты усмехался, ты протягивал руку за газетой, иногда оборотни были обтянуты твоей кожей, снаружи у них были твои скулы и даже — дьявольская сочетанность черт! — твой нос, все прочее им вмонтировали от других существ, если бы ты знал, как это жутко, — я приноровилась видеть лишь то, что неоспоримо принадлежало тебе, я научилась влиять на независимое отделение твоих черт, на скорость их прорастания, я без усталости шлифовала этот навык — более того, я выпестовала в себе умение длить и длить это единоличное блаженство, — но, когда порой ты, в джинсах и куртке, курил на перекрестке возле моего дома, оглушая меня грозным, неизъяснимым, присущим только тебе соотношением губ и руки, — я уже не успевала отвернуться раньше, чем чудовище, укравшее у тебя жест, точнее, одолжившее неизвестно зачем, — уже тупо предъявляло свое страшное несходство, так и не узнав, что я заведомо простила ему расхождение и готова была заплатить чем угодно за еще один дубль, — торопясь, я продолжала мысленно повторять свое бессильное заклятье, а фантом уже сплевывал окурок и растворялся в перспективе улицы, — но теперь ты, именно ты, — ах, истинный Бог,

ты, ты, — ты, собственной персоной, приближаешься ко мне, совпадая с собой все резче, все гибельней, — оказывается, цветет яркий июньский день, самое начало лета, ты одет в светлый костюм, — тот, что был на тебе, когда мы поженились, — о чудо, он выглядит почти новым, — мелькает мысль, может, мы вечны, но не отвлекает, мелькает, может ты снова идешь жениться на ком-то, испаряется — ты идешь мне навстречу, — нет, ты только подумай: какова была вероятность нашего пересечения в этом неисчислимом ошпаренном муравейнике, где не жил ты, не жила я? Какова была возможность нашего столкновения в населенном пункте, где мы, отдельно друг от друга, бывали только проездом? каковы были шансы нашей встречи именно здесь, на самой окраине многовокзального торжища, в заброшенном месте, не представляющем ни делового, ни торгового, ни экскурсионного интереса, где, кстати сказать, ни ты, ни я не бывали до того ни разу? и наконец: какова была надежность гарантии, да и была ли такая гарантия вообще, что мы с тобой сохранимся живы, что не вылетит винтик из самолета, не сойдет с рельсов поезд, что, побежав догонять шляпу, ты не будешь сбит насмерть машиной, что, наконец, нас минуют чума, мороз, шлагбаум, что не сотрется в пыль сердце от напрасного бега? а вот же, и мы, и мир оказываемся еще живы, и еще сколько угодно жизни есть в запасе, — и вот я еду себе как ни в чем не бывало в метро — и ошибаюсь станцией, а ты, как выясняется, по обыкновению просыпаешь свою, — и я, вместо того чтобы повернуть назад, не знаю почему, поднимаюсь к выходу и бреду, куда глаза глядят, а ты тоже выходишь на свет и шагаешь себе, глядя в небо (как всегда), — и, может быть, я еще некоторое время иду безо всякой дороги, — когда в точке пространства, где одичалый гастроном соседствует с перелеском, как раз за ларьком, где кусты плодоносят пустыми бутылками, я вижу тебя:

ты идешь мне навстречу как ни в чем не бывало под небом моего детства, — и одновременно ты идешь по небу, — небо везде, — ты идешь, освещенный солнцем, — подумай, какова была вероятность, чтобы я шла бесцельно, одна, почему-то нарядная, словно на именины красавицы в ее заросшую сиренью усадьбу, — какова была вероятность, чтоб и ты шел один, — каковы были у нас шансы, чтобы у тебя была с собой целая сумка вина, — чтоб у меня была в запасе целая вечность, — и, знаешь, не сводя с тебя глаз, я вдруг поняла, что шансов у нас было как раз невероятно много, потому что совпадения — это, видимо, рифмы на Божьих скрижалях, а Создатель, судя по всему, любит стройные тексты, — так что я с силой хватаю тебя за плечо, ты не исчезаешь, — ты хватаешь меня за руку, и я не просыпаюсь, — ты больно хватаешь, а я не просыпаюсь, — в голубом океане медленно поводят плавниками молодые ели, нежно струятся светло-зеленые водоросли, чего-то там шепелявят, играя на травке, новорожденные кусты, — лето, благословенное русское лето распахивает сказочные свои терема, — и я чувствую такую прочность мира, такую несокрушимость, а может быть, благодать, — что хочется немедленно взлететь на самое острие телебашни — да и сигануть башкой в банно-прачечные облака, а лучше мчаться (отстреливаясь) по скользкой крыше курьерского поезда (волосы, ветер, надсадный визг паровоза), а лучше всего отплясывать чарльстон на крыле горящего аэроплана, под золотой фейерверк и канонаду духового оркестра, взрывающего сердца, как цирковые шары (а ты бы поправил очки и улыбнулся), — а куда мы садимся с тобой под грибок на детской площадке, — и уже через пятнадцать минут молодые мамы хотят сдать нас в милицию, потому что мы очень целуемся на глазах у малышей с ведерками и, обливаясь красным, пьем из горлышка, — и тогда мы

пересаживаемся в какой-то ржавый, поросший травой автобус, а он вдруг заводится и везет нас неизвестно куда, совсем прочь из города, — ты замолкаешь, ты это умеешь, веселье слетает с тебя в один миг, — беззвучный, автобус идет плавно, словно плывет, словно парит, — а за окном — у окна, грустный, сидишь ты, — за окном — до самых небес — расстилаются ласковые поля юного лета, — июнь густо заткал их маленькими мягкими золотыми цветами, — живые глотком дождевой влаги, цветы улыбаются так, будто не было зимы, не будет осени, как будто они ждут нас всегда, — но мы сначала еще не родились, потом еще не встретились (а только сильно тосковали друг по другу, — и я до тебя обозналась бесчисленное число раз, и ты до меня тоже), — поля, по-прежнему отдельно от нас, цвели безмятежно тогда, во время нашей краткой и страшной земной связи, — они так же безмятежно и щедро цвели, когда ты ушел, — и вот они продолжают цвести с таким таинственным терпеливым постоянством, что я понимаю: это солнце проливается через края и плещет вниз — небо повсюду, потому что рядом ты, и я чувствую это особенно сильно сейчас, стоя в очереди на паспортный контроль.

Я быстро продвигаюсь к началу этой опасной очереди. Надо сосредоточиться. Необходимо примерить, заучить и отрепетировать подходящее лицо — к моменту, когда подойдет очередь протянуть паспорт. Я судорожно перебираю ситуации, способные придать лицу выражение несуетной сосредоточенности. Идеальное зрелище собственных похорон, это дисциплинирует, — как раз настолько, чтобы немного размыть запекающуюся в глазах тревогу, эту опаснейшую против меня улику, — и, слава Богу, не настолько это трагично, чтобы, вконец перекосив лицо, сделать его сверхподозрительным. Важней всего кое-как закрепить это благоприятное (смотрюсь в

зеркальце) выражение и донести его до чиновника в сохранности. Чиновник нырнет в мой паспорт — вынырнет — и с привычной гримасой тяжелого отчуждения приостановит меня сквозь цейсовские очки. Я, свои черные очки уже сняв (дабы не пробуждать в нем рискованной инициативы), буду, допустим, покусывать пластмассовую дужку, — авось нервозность сойдет за рассеянность и беззаботность.

Он мгновенно сделает профессионально точный оттистик моих глаз: зрак в зрак.

На миг мы станем отчетливо двухвалентны.

Готово.

Возможно, затем он снова опустит глаза в мои бумаги — и снова вскинет их, придерживая пальцем какое-то слово. Но синие декоративные линзы по-прежнему будут скрывать темную сущность моих глаз. И я знаю: остановить меня не удастся никому, я вырвусь, выкручусь, я что-то придумаю.

Ты, на протяжении всего этого времени, стоишь возле валютного магазинчика "Duty free". Насилу сдерживаясь, чтобы не повернуться, я цепко фиксирую боковым зрением живое сияние, твои волосы цвета русских степных ковылей. Ты стоишь словно бы вдали, но все-таки катастрофически близко, настолько, что я уже боюсь, ты вот-вот уловишь это особое, выдающее меня с головой излучение тревоги, от которого дрожат стены аэропорта. Ты не можешь не узнать это излучение, — его не скрыть ни париком, ни гримом, ни очками, не замаскировать, не спрятать, его можно только немного унять, — успокойся, велю я себе, — слышишь, успокойся, не то рухнет весь замысел, успокойся, ну! Щадя сердце, медленно, очень медленно, я ползу зрачком к твоим ногам, замираю на миг у кроссовок, — затем, щурясь, то и дело моргая (как бы не глядя, не в счет), карабкаюсь по отвесным склонам твоих джинсов, по джемперу цвета речного песка... твоя мальчишеская сутулость! твой профиль ученого грача! Я жадно смотрю на тебя в упор. (Слава Богу, ты, как всегда, читаешь.)

Дразня опасное, мысленно прошу тебя: посмотри — нет, не сейчас, только не сейчас! Я снова отворачиваюсь, хотя ты продолжаешь читать. Но я чувствую тебя спиной — куда мне укрыться от жалящего твоего присутствия! Я вижу: ты разглядываешь красное электронное табло (ты ужасно любишь все, что пульсирует, скачет, сверкает, помигивает) и опять возвращаешь глаза в книгу, причем тоже отворачиваешься. Знаешь, это напоминает дурной с натяжками водевиль, комичность которого заключается как бы в том, что главные персонажи, стоя друг к другу спиной, ищут друг друга всю жизнь.

Красивое преувеличение! Ты и не думал искать меня, а я нашла тебя все равно. Сейчас мы снова стоим лицом друг к другу, и я смотрю на тебя открыто. Ты продолжаешь читать. И, возможно, ты читаешь о том, как некий мужчина читает книгу в зале международного аэропорта, а за ним следит загримированная женщина, — а читает мужчина про то, как в зале международного аэропорта мужчина читает книгу, а за ним следит загримированная женщина, — ты очень любишь эти латиноамериканские штучки, но не замечаешь при этом, что зеркальная анфилада бесконечна на обе стороны строки, — взгляни на меня, нет, не надо!

Читай. Ты устроен именно так: лежа на берегу моря, взахлеб рассуждаешь о французской живописи начала века, моря под носом не видя, помня о нем только через чужие картинки, — зато сидя в четырех стенах, когда море уже не заслоняет собой себя, чувствуешь его во всем планетарном объеме, — и весь морской мир пронизан твоими словами, — стихии всех морю соприродных миров освоены, заселены и обжиты именно тобой, — ты, как Бог, даешь имя всему, что живет снаружи и внутри моего сердца, — право первородства принадлежит тебе, — я называю мир твоими словами.

И вот сейчас именно ты не чувствуешь моего присутствия. Разве не странно? Да, это входит в мои

планы. Но все же: неужели какой-то парик, пудра, очки — способны скрыть камнепроломную силу моего к тебе пожизненного притяжения?

А знаешь, даже если б ты сделал пластическую операцию, я бы узнала тебя. Я бы узнала тебя, даже если бы ты изменил свой рост, запах, голос, — даже если б ты, замечая следы, изменил свою расу (зачернил кожу), — даже если б ты, чтобы уж наверняка сбить меня с толку, подмешал к себе что-нибудь и от желтой расы — тоненькую бороденку, под стать ей косичку, неотвязное желание писать танки и есть палочками пресный вареный рис... Когда ты оставишь оболочку человека, мне только легче будет узнать тебя. Безверье Фомы в сравнении с моим — расхожее требование зримых и осязательных доказательств, — тем не менее существует одно, во что я верую непрестанно: я угадаю тебя и на небе, — и там, несомненно, острей.

Мы не виделись девять лет, две войны по российскому летосчислению.

При взгляде с Земли твоя частная жизнь, как оборотная сторона Луны, скрыта от меня навсегда. Можно сделать однократный блиц-снимок, но увы, это все.

Что можно различить, глядя на этот снимок?

Ты живешь в городе, где снег всех цветов, кроме белого. А в городе, где живу я, — точнее, за окном моей комнаты, в узком, как пробирка, просвете тяжких лиловых штор, оседают по ночам в красивой химической реакции белые хлопья. Они белы, как эталон белого цвета для образцово-показательной зимней белизны, они даже чуть избыточно белоснежны. Ты мог бы поставить столбик чистого снега на свой письменный стол — или подвесить его к потолку, — но мне отказано подарить тебе снег.

Ты живешь далеко. Иногда я откладываю на глобусе расстояние от меня до тебя на все стороны света. На

севере я упираюсь в точку арктического полюса (это трудно представить), в самую что ни на есть земную маляшку, — на юге меня бросает в жар на берегах священных Нила, точнее, я попадаю в излучину Нила, к развалинам старинного города Фивы, что напротив города Луксор в Аравийской пустыне, — на западе я приземляюсь в распластанной, словно ластовица, голубой Гренландии, в городке Ангмагсалик, — мысленно отмеряя это же расстояние вглубь Земли, я приближаюсь к ее юному страшному ядру, — но зато вверх это значительно ближе, чем до Луны.

Мне часто снится ночь, поезд, я спрыгиваю на ходу, быстро иду по шпалам, рельсы разбегаются, как черные вены, и вот я вижу себя в густой металлической дельте, горизонт покрыт цистернами, товарняками, маневровыми паровозами, — все говорит о приближении города, — я знаю, это твой город, я уже собираюсь (это невероятно) в него войти, но какая-то учительница, похожая на палку, с пугающе правильной дикцией, разъясняет мне, что я поступаю сугубо неправильно. И я почему-то соглашаюсь.

Ты живешь на востоке. Всякий раз, замечая время, я мысленно прибавляю столько-то, получая, сколько там у тебя. Я представляю, хотя бы смутно, чем ты сейчас можешь быть занят, и мне достаточно этого скупого знания, чтобы ощущать постоянство слияния с твоим существом.

Сквозь стекло, не приближаясь к окну, смотрю я на Солнце. По стеклу ползает муха, — она елозит брюшком прямо по золотым губам Солнца, — но разве она обладает Солнцем больше, чем я? Обладать тобой полней невозможно. Я не перестаю удивляться могуществу, — и тому, что — как все самое главное в жизни — оно дано даром.

Да ты понимаешь ли, какое непостижимое для меня везение — встретиться с тобой именно в этой галактике, совпасть — точь-в-точь — в этом тысячелетии! Размино-

вание на несколько часов в пределах одного космического тела — можно ли Бога гневить!

Да, всякий час мы обратны друг другу — именно это дарит мне радость рифмованного времени, жизнь в удвоенном сердцебиении нерасторжимых любовных объятий.

Солнце и Луна обречены к невстрече, но невстреча и есть жесточайшая связь.

Я совпала с тобой — еще до рождения — и в ритме. Вся музыка мира играет для нас, о нас, в нас — нам ли не танцевать вместе!

Нет. Вполне бегло, без нот, я помню все части этих инструментальных сочинений. Как там? — оживление, раздражение, отвращение, или — умильность, усталость, угрюмость, или так, без перехода, — нежность, ненависть — да ты и сам знаешь на зубок это (аллегро кон брио), где, сколь ни меняй пластинку, финал одинаков: хрип, треск, сухое шипенье граммофонной иглы. Сердце гибнет в скачке за настроениями, в этом беге взагон, — сердце с каждым ударом забивается в землю, все глубже в землю, где горлом будет земля, улыбка размажется в глине, — там, во тьме, сердце не имеет привилегий, — помнишь девчонку на раскопках некрополя? помнишь, как зачерпнула она горсть из грудной клетки первых отрытых останков? Помнишь, как, не поверив, сказала: здесь было сердце? и повторила: это все, что осталось от сердца?

Но мы полетим. Мы воспарим к небесам в плотно задраенной металлической капсуле: этакий экспонат материализованного слияния душ в их естественной среде обитания.

Ты думаешь, размежевался со мной меридианами, отгородился горизонтом? Ты, небось, вообразил, что можно так запросто выйти из моего состава!

А разве хоть что-нибудь в нашей воле? К примеру, разве я сама прибавляю часы к часам? Мое сердце,

запущенное на автоматический режим, самостоятельно корректирует разницу. Так что всякий раз, когда я вижу циферблат, или время объявят по радио, промелькнет обычный уличный вопрос, или за окном, со дна двора, в полной тишине внезапно и отчетливо спросят: который час? — и ответом будет таинственное: седьмой (и почувствуешь себя единоличным зрителем всемирного действия), — или даже когда время долго не называется вслух, и оно безмолвствует в усыпившей себя крови, — а все равно вынырнет, чтобы напомнить о неизбежной плате за зрение, слух, работу сердца, — во все такие мгновения, где бы я ни была, чем бы ни заполняла жизнь, — это интимное арифметическое сложение производится во мне произвольно и четко, можно сказать, рефлекторно: так поскользнувшийся мгновенно — до мысли — вскидывает руки.

И кое-как сохраняет равновесие.

Возможно, это сравнение покажется тебе отвлеченным. Возможно, мой скромный сакральный ритуал ты все равно расценишь как незаконное вторжение в твою жизнь. И потом, — скажешь ты, — к чему эти иносказания?

К тому, — скажу я, — что у тебя нет времени меня слушать. Раньше было, теперь нет, это ведь так естественно. Поэтому я вынуждена говорить много, — ты приговорил меня наполнять бочку без дна: говорить.

Если бы можно было обольстить диспетчера местных расписаний — обморочить, подмазать — выкрасть время из прошлого, — я отдала бы его старухе, пропахшей подполом и грибницей, — в обмен на заговоренный флакон. Ты выпил бы из него, уснул, а проснувшись, уже не помнил бы, что успел разлюбить меня раньше: частичная ретроградная амнезия, ничего опасного для твоей жизни. Но старуха, получив от меня время, отдалилась бы от могилы не насовсем, а только на время, и, в соответствии с обменом, ты забыл бы тоже не насовсем.

Насовсем невозможно, а насколько позволено? Если подойти трезво, сколько удалось бы украсть? Пять минут? Но это величина неопределенная, как "стакан чая". Может быть, полчаса? (Ох, нормативные полчаса в русской классической литературе! Тебя не озадачивает эта, как по сговору, жестко закрепленная дозировка интимных воздаяний? Густое отточие — и: "Когда через полчаса все было кончено..." Слово текст из уголовного дела, где двойное самоубийство любовников иллюстрировано фотографией трупов и подписью: (*omnia animal post coitus terstia est.*) Нет, эти все кончающие полчаса с их подспудным несмываемым постельным клеймом мне выкрадывать неохота.

Я, пожалуй, нарву тайно букет минуток-незабудок на скромном нашем лугу, — ведь были же мы иногда счастливы бездумным счастьем цветов, — я нарву этих минут по кромке луга, — там это будет незаметно, там не убудет, а здесь, из обрывков, я, может, сплету цветочный коврик, я буду согреваться им в лютую ночь, я укроюсь...

Ерунда. Я не сплю по ночам.

По ночам мы не спим вместе. Это не значит, что мы спим врозь. Это значит только именно то, что по ночам мы действуем совместно, даже коллегиально: не спим.

У меня полночь, у тебя утро.

Я не ложусь, ты не ложишься.

Как сладостно думать, что ты еще долго не ляжешь — как раз все то время, что не лягу я!

Мы не спим вместе.

Я вижу тебя за твоим письменным столом.

Я чувствую запах пасты в твоей шариковой ручке.

Я даже позволяю себе вообразить, что и ты, может быть, думаешь иногда о моем одновременном с тобой бдении.

Сообща мы разбойничаем в райских садах.

Все спящее отдает нам безропотно и задаром свои драгоценные сны.

А все, что не спит, яростно сопротивляется и ускользает.

След в след мы идем горячей тропой охоты.

О, не спать вместе — это куда серьезней, чем вместе спать.

Это страшней.

Мне виден твой затылок: в свете настольной лампы волосы мерцают, как песок на плоском лапландском взморье (где — помнишь Финский залив — ты сказал: мы с тобой лежим, по сути, на берегу Атлантики...).

Ты за линзами своих сильных очков: почетный кавалер бессонницы, аргонавт, астронавт, огнепоклонник-шаман — пожизненный данник стихий.

Я гляжу в твой затылок, и балтийские воды начинают капать из моих глаз.

Тогда я хватаю бумагу и принимаюсь быстро-быстро рисовать — битвы Римской империи, будни средневековой инквизиции, — льется карминная кровь, дымит черным смрадом крупно нарубленная, очень неприглядная человечина, на периферии картины автора пытаются каленым железом — о, это больновато, — балтийская вода уже всюю хлещет из темных пробоин, я иду ко дну, — милый мой, какое благодение Вы для меня сделали, — и там, на чугунной глубине, вся тяжесть Атлантики, навалясь, расплющивает меня заживо, — рвутся, лопаюсь капилляры, — больно, слава Богу, отчаянно больно! Это — чтобы не рубить себе палец, руку, голову.

Если бы я заранее знала, что ты приснишься мне этой ночью, я бы легла не в четыре, а по крайней мере в час.

Ты близко — за деревом, за углом, за стеной, за дверью. Ты вот-вот появишься. И ты появляешься! Или я вхожу туда, где (я чувствую точно) ты уже есть. Иногда мне так и не удастся увидеть тебя, и все же реальность твоего близкого присутствия сияет из глубин сна, промытая проточной водой от ила, песка и слизи буд-

ней, — она так ослепительна, что, еще не до конца проснувшись, я шалею от этого неколебимого, словно введенного в регламент каждого сна, счастья. Возможно, в каждом сне я не только чувствую, но обязательно вижу тебя, просто я не всегда помню об этом, как не могу помнить все свои прежние жизни с тобой.

Кто дал право человеку будить человека?

Все настоящее происходит во сне.

Проснувшись, я долго не могу определить час. Одно лишь я помню: что бы ни случилось, Солнце, отработав положенную часть суток на тебя, летит ко мне, а от меня полетит к тебе, мы играем в мяч (это разрешено), — на моем закате я праздную твой восход, на твоём закате пытаюсь уснуть, и, знаешь, я как-то спокойно отношусь к тому, что мне будет столько-то лет, и столько, и столько, но мне невыносимо думать, что столько же может стукнуть тебе. Я хочу, чтобы и после моей смерти ты всегда оставался таким, как я вижу тебя сейчас, — а если истина живет сама по себе на ледяных вершинах, не снисходя до чувства, то пусть рухнут эти вершины и небо впридачу.

Оно нелетно сейчас, это небо, по-прежнему не пускает в свою легкую твердь. Ты в нетерпении поглядываешь на табло — наше общее табло, — а я не перестаю удивляться, что мы наконец совместились в точке времени, мы уже окончательно современники, — а что до пространства (я вдыхаю сейчас воздух твоих легких, я жадно соединяю его со своей кровью), то оно в течение нескольких дней неукоснительно сокращалось, — мы отправились, как в школьной задачке, навстречу друг другу, из пункта А и пункта Б в общий пункт М с суммарной скоростью поездов, видимо 240 км/час, причем в моем случае — задачка повышенной сложности — время вело себя милосердно лишь вначале, то есть не противоречило своей изученной природе: день и ночь — сутки прочь, прикорнешь — три часа домой,

перекинешься с тобой словом – ночи как не бывало, его еще можно было без хлопот убить чаем с кроссвордом, — но ровно за два часа до прибытия в пункт М стрелка, обессилев, застряла.

Меж пунктом А и пунктом Б проходит жизнь внутри вагона, и дым выходит из трубы. А в Гаврииловой трубе басы фальшивят на полтона, кривя проекцию судьбы. Морзянку клацают стоп-краном, в такт со стаканом шестигранным, с похмелья проводник суров. И ничего нам неизвестно: ни час прибытия на место, ни расписание катастроф.

Тем не менее исполинская дорога — я изгрызла ее глазами — съежилась до размеров этого зала ожидания, — а еще через некоторое время, уже скоро, нашим общим жилищем станет салон самолета "ИЛ-62", уже вполне соразмерный с человеческим телом, единственно возможный общий наш дом, — даже очень уютный, маленький, — бесконечно малый, если уж на то пошло, в сравнении с размахом хаоса за пределами ручного околоземного пространства — и в самих нас.

Ты стоишь совсем близко. Ты подошел, не заметив, что подошел ко мне.

Я вжимаюсь в стену за газетным киоском.

Ты стоишь так близко, что мне видны мельчайшие подробности твоей кисти.

Паспортный контроль позади. Чиновник пролистнул меня, не читая, — я просто думала о тебе, и все обошлось. Бог хранит меня, когда я думаю о тебе, а думаю я о тебе всегда.

Знаешь, какие со мной бывали случаи? Меня, например, в упор не видели контролеры, когда я шла между ними в недосыгаемые для смертных чертоги. Меня не замечали милиционеры, преграждающие путь к хлебу и зрелищам. Меня почему-то игнорировали часовые Кремля, когда я, вздора ради, лазала там везде, где нельзя. Насквозь пропахнув адюльтером, я медленно

выныривала из супружеских спален, а законные жены смотрели сквозь меня телевизор. Другие? — спросишь ты. — У тебя потом были другие? (Конечно, не спросишь. Если б ты был из тех, кто может такое спрашивать!)

Только другие и были, — скажу я. — О, насколько они все другие!

Бывало, я пописывала другим открыточки, — знаешь, такие, где нарастание восклицательных знаков как бы возмещает убывание искренности. В повседневности я без конца путала, кто из них любит чай покрепче, без сахара, кто послаще и не очень горячий, но пожире ("Я же тебе говорил!") и обязательно полный стакан. Когда другие, хлопнув дверью, уходили, я с наслаждением зевала, — в шлепанцах не догнать, а башмаки обувать лень. Когда они возвращались (другие всегда возвращаются), меня дома уже не было. То есть я была, но их почему-то постигал приступ незрячести, — тот самый, что с хранителями порядка и женами. Поискав меня в самых невероятных местах, другие, плюнув, уходили надолго. Как я бывала тогда счастлива!

Вот теперь и ты, стоя на расстоянии вытянутой руки, не замечаешь меня. Попросту говоря, ты и не смотришь в мою сторону. Это входит в мой замысел. И все-таки согласишься, странно, что ты с таким непритворным интересом разглядываешь обложки журнала, когда я стою слева от тебя, там, где сердце! И к лучшему. Воспользуюсь преимуществом незримой души.

Меня нет.

Я придаток зрачка, в злом азарте охоты спресованный до бестелесности, — у! как я голодна! как жадно подстерегаю каждый твой жест, — я знаю их все (вот! ребром указательного пальца ты резко поправил очки), — я бездомный глаз, подставленный голышом хлещущему потоку — о, как мощен этот напор в узком створе зрачка! — я, по сути, микроскопический кадр фотопленки, — бесконечной. как лента Мебиуса, — хранимой в тайне и тьме, — мне принадлежит одна

мгновенная вспышка света, но, прежде чем захлопнется шторка, в этот единственный световой миг, я зачем-то назначена уловить мириады слепых, бесцельных, безостановочных мельканий, которые мне не дано запомнить, снимки с которых мне все равно не узнать, — нет, я меньше, я и есть зрачок, — пробоина глаза, да, пустота, голое зрение, — отчего же я плачу, как человек, глядя сейчас на твои руки?

Я помню все их жесты. Я знаю все их гримасы, позы, оттенки выражений. В мире, где ничто не принадлежит никому, это — я смею надеяться — моя неколебимая единоличная собственность.

Ты протягиваешь продавцу бумажные деньги. Они всегда были так непрочны в твоих ладонях, как ноябрьская листва. Я наперечет знаю все рожицы и корчи твоих пальцев во время их вынужденного общения с деньгами. Я, случайное существо в цепи случайных существ, — я не понимаю, за какую такую доблесть перед лицом Господа я избрана видеть, как ты покупаешь газету?

Если бы руки твои мог разглядеть торговец, он сейчас же кинулся бы определять подлинность купюр: а не нарисованы ли эти знаки на фантиках от конфет? Ты кладешь деньги на прилавок так, словно играешь в магазин, но дети проделывают это куда серьезнее, они всю стараются походить на взрослых, — впрочем, ты тоже. Безрезультатно: деньги в твоих руках мгновенно превращаются в клочок бумажки, — даже странно, что в обмен на этот клочок дают книгу, хлеб, самолетный билет, — ты протягиваешь руку с деньгами, словно пустую: не покупаешь, а просишь.

Ах, я бы надарила тебе горы всех этих престижных и гордых мужских игрушек, которыми курят, пьют, убивают, ласкают женщин, обучают собак и укрощают коней, покоряют моря, пустыни, скалы и гладко заасфальтированные дороги. Кому же еще все эти штучки, как не тебе! Я завалила бы тебя пригоршнями безделушек,

недешевых и редких, которые тем и хороши, что не применимы к пользе, — я притащила бы тебе всякой вкусной всячины, — и, конечно, красивых сверкающих вин, — все, какие ты выбрал бы сам, — чтобы ты мог выпить их из рюмочек на тонких витых ножках. Шатаюсь от счастья, с тобой в обнимку, я ввалилась бы в один из тех магазинов, где грохочет, крутятся, сумасшедшая музыка: покупайте! покупайте! покупайте! — где изливает благоухание медовый свет: ах, господа, пожалуйста, покупайте!.. Я обвела бы всех медленным взглядом, заменяющим кольт. Я бы тихо сказала: "Все. Беру все. Заверните", — и меня услышала бы даже маленькая статуя Артемиды, выполненная, судя по всему, из чистого золота, — а может быть, покрытая золотой фольгой, — но внутри уж точно, из чистого шоколада.

Однако я не хочу глядеть дальше это феерическое кино. Его финал мне известен, какими бы режиссерскими ухищрениями он ни был бы украшен.

Мне не унять твоей тоски. Ее можно лишь слегка усыпить, на очень короткое время, но она от природы дикая, — она всегда помнит, что она дикая и не будет иной. Твоя тоска питается твоей кровью.

Что, зажил ноготок? Ноготок-то хоть зажил? Вот этот, на большом пальце левой руки. Я забыла — и вспомнила: зажил?

Ты всегда первоклассно играл в бильярд, ты вообще обожал азартные игры, — помнишь, однажды ты ушиб этот палец кием, — проступил кровоподтек, — сначала он чернел под белой ногтевой лункой, а ноготь рос, и черное пятно лезло вверх, и тогда я сказала, что когда это пятно доберется до края ногтя, ты меня бросишь. Ты усмехнулся. Любовь-с-ноготок не входила тогда в твои планы. Но, видишь, планировать нам удастся разве что длину ногтей, и то не всегда, — они ломаются, гнутся, — а чаще ломается человек.

Несчастье стряслось оттого, что дни пошли на убыль. Ты уже привык спать, отвернувшись к стене, горестно

отгородившись спиной, заведомо отторгая затылком мой взгляд, — даже зародыш взгляда под оболочкой испуганно сомкнутых век (как бы рано я ни проснулась — камень в груди просыпался раньше), — и твоя рука, как ни широка была постель (а она была широка, — потому что я, чувствуя перед тобой стветственность за погоду, за эти неисправимо пасмурные утра, — чувствуя перед тобой вину за все: за то, что есть на свете однолетние растения, а хуже, двулетние, которых еще жалче, потому что только они зацепятся как следует корнем, только дадут цвет, только наладятся они из земли, а уж пора в землю; за то, что у нас в доме завелась мышь, по столу бежала, яичко упало и разбилось, а есть и так нечего; за то, что очередной навуходоносор положил в пустыне сорок тысяч солдат, и так было всегда; что следом идущий навуходоносор уложит в пустыне следом идущих сорок тысяч, и семя их, перемешанное с кровью, бесцельно уйдет в холодный песок, и снова их вдовы, обреченные к бесплодию, будут рыдать и яростно мастурбировать по ночам, и так будет всегда; за то, что рано умер прекрасный русский прозаик Николай Гоголь, — что неминуче, сраженный своим же пророчеством, погиб Николай Гумилев, — а Чехов! Боже как жалко Чехова! за то, что нам не семнадцать, а за окном ругается дворник; за то, что мы слабы, глупы, ленивы, однообразны, наконец, смертны, — за то, что, может, бессмертны, — чувствуя вину перед тобой за все, я была на самом краю), — твоя рука, вытесненная твоим телом за пределы постели, смуглела, прижатая вертикально к стене, и кисть была беззащитно распластана, как у щенка, — и на этой кисти, на большом пальце, на самом кончике уже отросшего ногтя, — ты все не стриг его по забывчивости, а может, из благородства, — отчетливо чернело пятно. Я ошиблась: ты разлюбил меня раньше.

Когда я впервые увидела тебя, ты сидел в застекленном кафе, — точнее сказать, ты примостился на скале-

ченном стульчике у стола, заваленного грязным, — кафе это было обычной забегаловкой с сырыми пирожками, серым кофе, невытравимым запахом помоев, все там было обыкновенно, темно, осклизло, холодно, из сортира несло в лучшем случае хлоркой, — ты сидел, поставив локти прямо во что-то липкое, — я стояла снаружи, по щиколотку в майском газоне, и не могла оторвать взгляда от твоих рук: ты перелистывал газеты.

Это сбилось в городе, где не жил ты, не жила я. Стоя по ту сторону стекла, я видела, — мне даже казалось, слышала, — все, что внутри: старуха хлюпала туда-сюда тряпкой на швабре, заезжая по ногам стульям, столам, посетителям, — ребенок ел бессмысленно и нечисто, — сутулая посудомойщица, собирая со столов, неловко смахнула на пол стакан и сказала отчетливо: "Несчастливая я. У меня даже стакан не бьется".

Ты сидел, словно в маленьком кафе Монмартра. Я даже искала глазами рогалик и чашечку кофе, — они не просматривались, но это не меняло впечатления: вокруг тебя цвел Париж, ты был его центром, ты сидел в компании французских художников начала века, и я уже ревновала тебя к их традиционно русским женам. А ты продолжал листать газетку — точно, сухо, насмешливо, — ни в малой мере не присваивая, и уж, конечно, не соотнося с собой, а только вынуждено терпя материальность предмета. Было видно, что твои руки в любой момент стряхнут его и забудут.

Если бы я даже очень захотела, если бы ты стал меня слушать, если бы ты услышал то, что я говорю тебе, — я и тогда не смогла бы объяснить толком про это переключение чувства. Я вижу мир в крови и руинах, в травах, в слепых влажных побегах, это перемешано безо всякого смысла, картина недвижна как вечность, нещадна, мертва. Но стоит мне увидеть тебя, — скажи, может, как раз ты откроешь мне эту тайну, — почему, стоит мне увидеть тебя, — словно мгновенно нажимают во мне особую кнопку, — явь тут же ввертывает пейзаж: жизнь пригодна для жизни, она даже как-то не по заслу-

гам уютна, я рвусь брататься с миропорядком, реальность невероятно пластична, изящна, по-кошачьи увертлива, — я отчетливо вижу ее блистательный, бесконечно многообразный артистизм, — он буквально осязаем и воздух пахнет озоном, — скажи, черт возьми, ты как это делаешь? как умудряешься ты посылать в мое сердце такой чудовищной силы заряд? сколь всевластен и мощен этот общий — земной, мой, небесный — совместный, как высоковольтный провод, голый нерв красоты!

Увидев тебя, я почувствовала запах дождя. Давно я не чувствовала этот запах, я вообще уже мало что чувствовала. А тут вспомнила: мне пятнадцать лет, я иду из школы, во дворах жгут прошлогодние листья, и такой терпкий, как разотрешь в пальцах, лист смородины, — и еще не задумываешься о том, откуда это земля берет силы и милосердие, чтоб возрождаться каждый год, — и накрапывает русоволосый дождик, даже сердце щемит, такой он нежный, и грустный, и немного тревожный, ведь он всегда новорожденный, а жизнь его совсем коротка; и он по-разному пахнет на тропинке, на траве, на корнях сосны, уютных и толстых, и потихоньку ослабевают, а так и не найти слов, чтобы определить, как же он все-таки пахнет, но в пятнадцать лет это еще не беда, — а впереди сверкает громадное, как аэропорт, здание мечты, за ним летное поле, простор — и такое безграничное сиянье, что даже стыдно — но как-то сладостно стыдно — принять это все даром.

Потом я кое-что уточнила. Я поняла, ничего не дается даром, только в обмен. Я поняла однажды, что все у меня будет, понимаешь, все, — все игрушки взрослых, все их игры, — мне даже Большую Австралийскую государственную премию дадут, — а только как пахнет дождь, мне уж больше никогда не узнать.

Но стоило мне понять, что передо мной ты, — дождь, предтеча потопа, обрушился на меня прямо с неба!

А запах его был и вовсе уж младенческий, чтобы найти определение, надо уметь лепетать на языке младенцев.

...Кошка, ловко огибая потоки, тащила в зубах толстого своего котенка.

Скромный кордебалет прохожих грациозно скакал — и при этом вертел разноцветными зонтами.

Дождь колошматил джаз!

И, легко сбросив кору, я шагнула к тебе за стекло.

Ты поднял глаза.

И увидел меня.

И, как мне кажется, увидел Бог, что это хорошо.

Нынче, как я задумала, сошлись: изменчивые твои руки, французская газета. Ты сидишь в зале ожидания, — кожзаменитель кресла, цвета кофе со сливками, почти не отличим от натуральной кожи. А еще через какое-то время ты наконец окажешься посреди французского языка, под сенью кленов Канады и мягких абажуров чужого быта.

Я люблюсь долгожданным соответствием твоей мальчишеской элегантности — и обстановки этого предстартового комфорта со множеством лампочек, кнопок, с этим слегка возбужденным, отлично вымуштрованным штатом. О, как улыбчив продавец зажигалок и сахарной ваты! Как стерилен аптечный киоск, — как сверкает фарфором и никелем киоскерша! Как сверхкрупно большое, как микроскопично маленькое, как бесшумно то, чему предписано быть неслышным, как все четко отлажено, рьяно и великолепно, — плюнуть невозможно, чтобы не попасть в кондиционер, калорифер, унитаз с дистанционным управлением! Еще один пересыльный пункт для арестантов Земли.

Но дай же мне хоть недолго порадоваться, если тебе сухо, светло, если, слава Богу, ты не болен, не голоден, и можешь хоть немного передохнуть в чистоте и тепле! Дай же мне обмануться, дай хоть на миг передышку моему сердцу, — ты же не знаешь, как разит меня твоя

беззащитность! Как непереносимо мне твое виноватое обаяние, чуждое этим скудным равнинам, где некуда приткнуться глазу! И как непросто мне знать, что ты навсегда повенчан с ними, — это даже кровосмесительный брак, потому что вы прямая родня. О, какая загадка!

Кому пришло бы в голову, что твое неизъяснимое изящество самородно, что оно — скандальный подкидыш к порогу растерянных бедняков? Твой безрассудный шарм кажется отшлифованным консервативнейшими ювелирами Европы — за ним чудится упорная генеалогическая работа длинной череды строгих и взыскательных предков — суховатых, с милой придурью университетских профессоров, очаровательных выпускниц привилегированных пансионов, этих чаровниц с фиалковыми глазами, талией в рюмочку и клавирами, — возможно, вижу, как в зеркале, не корни твои, но ветви, твои неизбежно прекрасные побеги, — но скажи мне, как, каким образом — на лысых отвалах поселка, изуродованного каменноугольными шахтами, где порода людей и животных выбрана до самого дна, где ночь каторжно увековечена подземной жизнью отцов, узаконена, передана в потомство вместе с водкой, беспамятством, отравленным небом, — как сумела там откликнуться твоя бесприютная кровь ярим виноградником в Арле, как разглядела она оттуда пейзаж в Овере после дождя? О, гадкий утенок!

Только небо под стать твоей таинственной высокогородности, — тебе назначено беспредельное небо, что с грохотом рвется в двери аэропорта.

И, может быть, ощутив его особенно сильно, ты глубоко и освобожденно вздыхаешь.

Складываешь газету.

Подымаешь глаза.

И вдруг я хочу, чтобы ты увидел меня сейчас, сейчас же, — к чертовой матери мои планы, планы...

Посмотри на меня, это же я стою перед тобой!

Посмотри, ради всего святого!
Ты смотришь мне прямо в лицо.
Не видишь.

* * *

Мы летим на высоте тридцати трех тысяч футов.

Собственно, если я сейчас проснусь, ровным счетом ничего не произойдет. Кроме того, можно спать дальше.

Мы вместе. Мы сейчас настолько вместе, что если эта машина рухнет в океан, или ее похитят инопланетяне, или она совершит вынужденную посадку на остров, размером с пятак, с одиноко торчащей пальмой, — это будет нашей с тобой общей судьбой.

Ты сидишь впереди, чуть наискосок от меня, — у иллюминатора, рядом с негром в ярко-зеленой рубашке. Его завитки — непролазные джунгли, твои волосы — солнечный дождь...

Сейчас подойду к тебе, и, если сердце лопнет, значит, такова мне судьба — шагнуть к тебе — и умереть. Может быть, не худшая из судеб. Это очень сильно — знать, что сейчас шагну. Дай выпить воды... Пойми, у меня только одна пуля. Какая пуля? А был такой мальчик, он очень любил стрелять, он больше всего на свете любил стрелять, но денег у него было лишь на одну пулю, и вот он каждый день ходил в тир и все целился, целился...

Подожди, у меня дрожат руки... Кстати сказать, ноги тоже.

Подходя к аэропорту, я думала: как же увижу тебя — огромный зал, толчея... Но тебя увидела, конечно, первым.

Сердце грохнуло в горло, взорвалось, ударной волной перекрыло дыхание. Я вцепилась в какой-то угол. Все мое тело сотрясилось от медленных сильных ударов, — чугунное ядро, раскачиваясь внутри, равнодушно крушило постройку...

Я снова, как и впервые, видела тебя сквозь стекло, но на этот раз стекло было толще. (Ты скажешь: а так ли верно я вижу тебя — стекло, очки, линзы, слезы... Но ты же знаешь, ты, к несчастью, понимаешь это: я вижу тебя минуя оптические законы.)

Я стояла за стеклом, а в зале пассажиры пили пепси-колу, капризничали нарядные дети в костюмчиках, мягко проплывали поломоечные машины, — ты стоял в толпе чернолицых, желтокожих, невообразимо пестрых, — и мне передался твой ликующий восторг — ты и толпа иностранцев — о, апофеоз!

И я подумала: как это странно, что тебя можно физически обнаружить в пространстве, — то есть реально существует определенная точка координат, столько-то долготы, столько-то широты, вполне конкретные цифры, и вот, значит, можно сесть в трамвай, потом в метро, потом в поезд дальнего следования, потом снова в метро, потом в автобус, потом будет тротуар, останется пройти несколько шагов, повернуть налево и — ты действительно материально присутствуешь там. Разве это не странно?

И мне стало стыдно своей жадности, потому что, собственно говоря, я тебя повидала, уже повидала, а все, что сверх того, — алчба и обжорство, душа может не выдержать.

И я было поворотила назад, но хитрая Земля подкосила мне ноги, — я хлопнулась на мокрый поребрик.

...Она коварна, эта Земля, — ласкает и отталкивает одновременно, гонит и удерживает, — и в небо не отпускает, ревнива, — так хоть бы к себе забрала, но и с этим не сразу. Ей-то самой хорошо. Она прочна, потому что прочно держится на трех словах: я тебя люблю. Но только небо их воплощает.

Мы летим над Атлантическим океаном.

Ты, трехлетний ребенок, берешь из рук стюардессы хрустящие пакетики, бутылочки, фрукты, буклеты. Кушай хорошо, моя гордость. Посмотри картинки. Мама

хочет, чтобы ты поиграл. Скажи мадемуазель несколько слов по-французски. Молодец. Мадемуазель, правда он у меня ужасно симпатичный? Стюардесса улыбается. Ты у меня ужасно симпатичный.

Сейчас скажу тебе это громко и внятно. Уже не так страшно. Надо только выбрать предлог. Я заготовила их два. Значит, так. Я посылаю тебе розу с запиской. Или — бутылку шампанского. (Этот ход нравится мне больше.) Хотя, собственно, почему не послать их вместе?

Но роза уже не молода. В киоске аэропорта она была крепенькой, как морковка. Она мерцала в самой сердцевине дрожащей целлофановой дымки. Дышала, молчала. Но за несколько часов ожидания в бутылке из-под боржома она стремительно прошла все стадии женских возрастов, был в ней, видно, какой-то изъясн нетерпения, и вот ей сорок, дарить себя уже поздно.

А просто послать записку? Набросать что-нибудь из твоих словечек. Ты прочтешь, станешь вертеть головой, представляю... Но какие слова выбрать? Их было так много, и все — превосходные...

Даже если меня контузят, они остались на магнитофоне. Правда, он у меня старый, катушечный, весь переломан, — горит глазок, как в такси, но лента не едет. Я сама вращаю пальцем катушку, — слышен первоначальный гул, — еще быстрее, еще, — из пьяных, неряшливых завываний мне наконец удается выделить тебя, — с твоими умопомрачительными обертонами, — а попробуй удержи его пальцем, когда швыряет его, как и тебя, то к карликам, то к великанам, то снова к писклявым, оскорбительно мелким существам. И нельзя отвлекаться, убрать палец, шататься по квартире, занимаясь то тем, то другим, — и всюду слышать тебя, будто ты дома... Только сейчас, единственный раз, можно услышать твой голос вживую, — трудно себе представить, что это осуществимо. И надо торопиться — судя по всему, мы уже в другом полушарии.

Но в облаках пахнет человеческим духом. Мы таскаем его с собой повсюду, и, может быть, именно из-за нас облака так грубо вещественны, так откровенно, так бесстыже грудасты, — они прут, как опара из широкой квашни, неприкрыто телесны и потому скорее всего безбожны. Серебряный крестик самолета в их ложбинке — только модное украшение, он ничего не меняет.

Но если мы все-таки на небе, то все должно произойти само. Твой голос за бутылку шампанского! На небе — да мыслимы ли такие счеты!

Не спору, во сне я совокуплялась с самим чертом, — все было при нем — рога, хвост, смрад, невыразимая мерзость, — я совокуплялась с чертом прямо посреди проезжей дороги, — лишь бы ты посмотрел, лишь бы ты обратил на меня внимание. "Смотри, — я тебе, — чем я занимаюсь!" И ты смотрел.

Но небо выше снов.

Если ты не заметишь меня сам, то в небе нет смысла.

От меня зависит только привести в порядок свое лицо, то есть восстановить исходность.

В сияющей кабинке прохладно, укромно. С наслаждением сбрасываю парик, линзы, очки.

Оставляю на полочке постарелую розу. Краем глаза замечаю: изображение цветка в зеркале идеально.

Умываюсь, преображаюсь.

Смотрю на себя в зеркало.

Мои глаза.

...Мальчик задавал взрослым загадку: когда, в каких случаях пуля, выпущенная в зеркало из пистолета, попадает в свое же отражение? Правильный ответ: всегда. Во всех случаях.

Я знаю: будут маскарады, приемы, балы, — фейерверки, банкеты, заздравные тосты. Но я обнаружу вдруг маленькую дверь, зайду, затворю.

Будет тихо и холодно. Шум карнавала, неизменный и ровный, как травы английских газонов, не пробьется в это беззвучие.

И я пойму, что это будет повторяться всегда.

После длинных дорог, после всех площадей мира, после театров и цирков я вернусь к себе.

Будет тихо и холодно.

Я шагну к зеркалу.

Упрусь зрачками в свои же зрачки.

Допустим, я возвращаюсь в салон. Сажусь на свое место с твердой готовностью смотреть в твой затылок до конца. Допустим, пассажир справа с открытым любопытством принимает сверять мое лицо и мое платье. *You are more lovely than ever* (Вы еще прекрасней, чем прежде), — говорит он с ужасным акцентом, и я понимаю, что эта одна из немногих английских фраз, которые он знает. Допустим, я вежливо улыбаюсь, а он не отстает, — может, поэтому и не отстает, — он принимается говорить что-то быстро и много на кипящем и булькающем языке, — никогда прежде я не слышала этот язык, — и при этом еще жестикулирует, как глухонемой, — он говорит, как заведенный, смеется, размахивает руками и совершенно не обращает внимания на мой демонстративно отсутствующий вид, — я понимаю, что отвязаться теперь трудно, вот наказание, — да откуда он взялся, этот индивид, его вроде бы здесь не было, — встаю, — он хватает меня за руку, продолжая что-то яростно объяснять и доказывать, — я пытаюсь вырваться, — он свободной рукой достает из сумки плеер, кладет его на колени и, все больше раскаляя свою тарабарщину, тычет пальцем в меня, в плеер, — я выдергиваю руку, он нажимает кнопку, — и летит музыка, та самая, — помнишь, когда мы... помнишь...

И ты оборачиваешься.

Если бы я была Господь Бог, я бы держала в поле зрения не только галактики разом, но иногда

пристраивала бы глаза к потолку комнаты, где безмолвствуют двое и так отчетливо тикают, проклюнувшись, часики.

Пахнет смертью, и вечностью, и влажным истекшим семенем, и, жадно дыша, молчит гранатовое соцветье Вселенной, прекрасное и нерасторжимое во всех частях.

К потолку комнаты надо бы иногда пристраивать глаза Господу Богу, потому что светлый взгляд женщины, напоенный покоем, и смыслом, и невыразимой благодарностью, послан именно Ему, и до обидного глупо, если взгляд этот, рассеясь в пространстве, не в силах Его достичь.

У меня больше не будет такого взгляда. Получается, что мне нечем отблагодарить Господа Бога. Получается, что, даже простым соглядатаем пристроив глаза свои к потолку моей комнаты, мне не увидеть оттуда лучших своих глаз.

Но, может быть, лучшие — те, что невозможно даже предсказать? Те, что непредставимы мне самой? Те, что у меня сейчас, когда я вижу, что ты видишь меня, и при этом — о Господи! — рад, я же вижу, ты рад, рад, — ты, честное слово, рад!!

Мы поели, поспали. Точней, ты вздремнул, я глядела. Потом мы еще съели пополам бутерброд и выпили из стаканчиков. Я сама собрала крошки, обертки и вынесла в туалет — вполне семейная жизнь.

Потом, когда мы пристегивали ремни, тебе что-то попало в глаз, ты попросил посмотреть, ты всегда доверял мне в таких делах, мы принялись вместе орудовать зеркальцем и платочком, и тут стюардесса сказала: Монреаль, аэропорт Мирабель интернасьональ.

Уже приземлились? — по-детски обиженно спросил ты, и судорога изуродовала твой прекрасный рот. Я знаю эту судорогу, такая у тебя была, когда ты в первый раз меня раздевал, я думала тогда, это отвращение, а

это не отвращение, ты просто нервный такой, я потом видела эту судорогу часто, ты очень нервный, тебе нельзя расстраиваться, — я сейчас, — говорю я тебе.

Я спокойно иду по проходу хвостового салона, я изо всех сил стараюсь идти спокойно, ноги дрожат, проход еще свободен, сейчас бы рвануть, но ты смотришь в спину, я нащупываю в кармане обратный билет, все в порядке, вхожу в бизнес-класс, в проходе люди, пожалуйста, пропустите, ради Бога, скорей, скорей, пропустите, носовой салон, пропустите меня, пропустите, дайте дорогу, пропустите, тоннель к аэропорту, я бегу, скорей, скорей, пропустите, падаю, меня перешагивают, мы часто лежали с тобой, обнявшись, на полу, на снегу, на обочине ночного шоссе, это неправильно, что по нашим теням ходят, надо обвести контуры мертвых тел, случилось убийство, я бегу, дайте дорогу, сейчас только бы скрыться и на обратный рейс, а ты так и не поймешь, что только для встречи с тобой я устроила этот полет, подгадала предлог, заменила лицо, вымолила нелетную, а потом летную погоду, знаешь, мне даже кажется, только чтобы увидеть тебя, я сотворила эту Северную Америку, а заодно и Южную, и нашу с тобой Евразию, и все остальные материка этой большой и скудной планеты, где нам не судьба быть вместе, а сила притяжения которой так велика, что падающий из разжатых пальцев стакан, со мной всегда так, еще не успев долететь, разбивается вдребезги.





Февраль, четвертое. Обезьяна. 2-й Крестовский переулоч, Москва. Таковы пространственные, временные и астрологические координаты моего появления на свет.

Мир моего детства — Москва пятидесятих годов, полугодная, деревянная, с земляными дворами и палисадниками под окнами. Убогий, необустроенный, милый моему сердцу быт, коммуналки и бараки, безногие, безрукие, вечно пьяные инвалиды — герои победно закончившейся страшной войны. Задушевные танго, бесшабашные фокстроты, гимны, марши, парады. Школа, пионерская дружина. Смерть Сталина. Начало и конец детства. Прозрение.

Первый цикл моих рассказов — о детстве, об истоках, о доме, о маме... Это лавиной обрушилось на меня, я писала и писала... Это — главное. Все остальное - преходяще и не содержит тайны.

ПРОЩАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ

Афиша возвещала: камерный оркестр играет Вивальди, Моцарта, Гайдна.

Я решила, что пойду на этот концерт во что бы то ни стало. Видимо, это было написано у меня на лице, потому что кассирша, надменная и величественная старуха, похожая на актрису императорских театров, едва взглянув на меня, пообещала, что постарается что-нибудь сделать.

Я поняла, что она сдержит слово, и начала подготовительные работы. Сбегала в парикмахерскую, поставила набойки на туфли, купила новые колготки и шарфик, розовый в синий горошек — для оживления своего стародавнего туалета.

Все это в рабочее, разумеется, время. После работы я мчалась домой, нельзя было задерживаться ни на минуту.

Дома меня ждал отец.

Открывая ключом дверь, я одновременно нажимала несколько раз на кнопку звонка. Это был предупредительный сигнал — я пришла.

Едва переступив порог, я слышала из комнаты отца возбужденное: "Му-ы-ы, му-ы-ы!"

Он был рад, что я пришла, соскучился.

Дел было по горло. На миг я терялась, не зная, с чего начинать. А потом весь вечер носилась по квартире, как заводная, пока не падала от усталости, словно сраженная пулей, на бегу.

При этом я все время старалась разговаривать с отцом. Все равно о чем, лишь бы он слышал мой голос. Я кричала ему что-то из кухни, где готовила ужин, завтрак и обед, из ванной комнаты, переполаскивая груды белья, накопившегося за день. Так что к концу вечера в горле у меня саднило и голос садился. Из чего следовало, что ни артисткой, ни певицей я бы быть не могла. Правда, я могла бы стать музыкантом, как мечтал отец, но я предпочла более скромную роль библиотекаря в районной детской библиотеке.

На то были свои причины. И роль эта, меня вполне удовлетворяла. Оказалось, что я лишена тщеславия начисто и больше всего на свете ценю покой. Может быть, потому, что его у меня никогда не было. Только давным-давно, когда папа и мама еще жили вместе, я была совсем маленькой смешливой девочкой с темными кудряшками, и вся наша веселая и неразлучная семья вызвала бурную зависть соседей по дому.

Потом отец ушел от нас.

Я помню эту мизансцену, которую можно было бы назвать "Прощание", со всеми мельчайшими подробностями, будто видела ее вчера. Это была талантливая мизансцена, — ничуть не померкнув с годами, она до сих пор стоит у меня перед глазами, волнуя душу и бередя память.

Лето набирало силу, город изнывал от жары. Все выгорело, выцвело, пожухло. А отец принес охапку великолепных пионов. Он все делал так: цветы — охапкой, подарки — мешками, все — слишком, все — с избытком, через край. Не дарил — одаривал, не любил — обожал, не огорчался — убивался.

Мама прижимала к себе цветы, с трудом удерживая их. На атласных лепестках пионов застыли капельки влаги. Она слизывала их и счастливо улыбалась мокро-

ми губами. Потом отец что-то тихо сказал ей. Мама выронила цветы, испуганно и недоуменно глядя на него, а губы еще улыбались. Потом она села и начала заплести косички на бахроме скатерти.

Отец говорил долго и страстно, он стоял перед ней на коленях, плакал, целовал ей руки. Но мама, не прекращая своего занятия, отстранялась от него. Она уже почти всю скатерть стянула со стола, и никому не нужные пионы, падали на пол, к ее ногам.

Я лежала в своей кроватке, крепко зажмуривая глаза, и подглядывала эту сцену, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Не понимая еще, что случилось, я чувствовала, что пришла беда, и хотелось защитить себя и маму. Когда отец, думая, что я сплю, наклонился и осторожно поцеловал меня, пахнув сладковатым табачным дымом и пощекотав щеку усами, сердце мое зашлось от нежности. И незнакомая доселе тяжесть сдавила грудь.

Я так подробно вспоминаю этот день, потому что он определил всю мою дальнейшую жизнь и сформировал мой характер. У всех это происходит по-разному, у иных становление длится бесконечно долго, претерпевая перепады и перевороты, да так ни к чему определенному не приводит. А я стала взрослым человеком в семь с половиной лет.

Мой характер изначально был замешен на беспредельной любви к отцу. Из этих истоков и родились мои безжалостность и бескомпромиссность, два мощных стержня, определяющих мою суть долгие годы. Лишь совсем недавно эти железобетонные конструкции неожиданно для всех, и для меня в первую очередь, рухнули. Но об этом после.

Итак, отец ушел от нас.

Чтобы оценить истинную тяжесть этой катастрофы, надо знать, что мы с мамой боготворили отца. Он был нашим кумиром. Средней руки скрипач небольшого оркестра драматического театра, для нас он был гением. Мама без конца повторяла: "Когда папа станет солистом..." И мне грезились, как он выходит из темной

оркестровой ямы, где его никто не видит, на ярко освещенную сцену, элегантный, красивый, талантливый, вскидывает смычок и... За этим "и..." должно было наступить счастье, о котором мы мечтали, которого ждали, и путь к нему был только один — папа станет солистом.

Уйдя от нас, он лишил нас всего сразу — любви, мечты, ожидания и надежды на счастье. Без него мы никак не могли придумать, для чего живем, и бестолково суетились, пытаюсь отвлечь друг друга от горьких мыслей. Особенно старалась я, потому что видеть не могла мамыны потухшие глаза и ее вялую, с трудом удерживаемую улыбку.

Я кидалась из крайности в крайность. То становилась такой примерной дочерью, о какой мама и мечтать не могла. Я все делала сама, без напоминания: чистила зубы, готовила уроки, мыла посуду, никогда никуда не опаздывала, вовремя ложилась спать. Ну, словом, была пай-девочкой, сама себя не узнавала. Но мама словно вовсе этого не замечала. Тогда я превращалась в исчадие ада: дерзила, врала напрапалую, становилась почти круглой двоечницей, что стоило мне определенных усилий, валяла дурака, как могла. А мама снова — хоть бы хны. Она сидела, устремив глаза в одну точку, и я знала, что она думает об отце.

От отчаяния однажды я нарочно вылила целую чернильницу на свое нарядное, отцом подаренное белое платье, но, увидев результат содеянного, не выдержала, разревелась, да так громко, что на мой крик прибежала из кухни испуганная мама.

— Бедная моя девочка, как ты его любишь, — говорила она, прижимая меня к себе и нежно гладя по волосам.

Я вырвалась, затопала ногами и закричала, вне себя от горя:

— Нет, нет, я ненавижу его, ненавижу!!

— Не смей так говорить об отце! Не смей!

И она ударила меня по лицу.

Так из-за отца в наших отношениях с мамой возникла и уже никогда не исчезала тоненькая, как волосок, трещинка.

С той минуты я делала все наперекор отцу. Это стало целью и смыслом моей жизни.

Начала я с того, что перестала заниматься музыкой. Ведь это он хотел, чтоб я стала музыкантом. Правда, и я хотела того же. Но то было раньше. Теперь наши желания не могут совпадать. Поэтому я перестала ходить к нему в театр. И когда он перешел в большой настоящий симфонический оркестр, я ни разу не пошла ни на один его концерт. Правда, тайком слушала их по радио, и мне казалось, что я не только слышу его скрипку, но и вижу его, счастливого и гордого собой.

Ему нравились мои косы, и я отрезала их, постригшись коротко-коротко, под мальчишку, почти наголо. И всю жизнь носила такую прическу, как монахиня, принявшая постриг.

Назло отцу я поступила в библиотечный институт. Почему именно в библиотечный? Мама работала в библиотеке, а отца это всегда раздражало. Он считал, что она должна поступать в консерваторию. Мама жертвовала собой ради него, желая создать ему все условия для спокойной работы и занятий. А он, словно не понимая этого, сердился:

— С твоим голосом, с твоими способностями сидеть в этой дурацкой библиотеке просто преступно! Да что это за работа такая вообще: принеси-подай, как официантка.

Отец презрительно усмехался, недовольный, а мама ласково улыбалась в ответ.

— Ты неправ, работа у меня хорошая и нужная. А два музыканта в одной семье — это слишком. Зачем мне консерватория? Я же все равно пою, я буду петь для вас.

Ах, какие это были вечера!

Отец часто приглашал гостей на наш домашний концерт с чаепитием. Как и все остальное, он делал это с

размахом, и приглашенных всегда оказывалось много, они едва помещались в нашей небольшой комнате, чуть не половину которой занимал старый рояль, доставшийся отцу по наследству. По этому поводу он любил пошутить:

— Дед оставил моему отцу среди прочей недвижимости и этот рояль, а отец, не имея ничего другого, передал мне от себя лишь музыкальные способности.

Перед приходом гостей мама с утра хлопотала на кухне, пекла пироги. Уставшая, распаренная, простоволосая, в халатике, она выглядела уж очень по-домашнему. И я боялась, что на сей раз чудо преображения не произойдет. Но вечером мама надевала свое длинное "концертное" платье, туфли-лодочки на высоком каблучке, щеки ее от волнения пылали ярким румянцем, и никто бы не догадался, что всего лишь час назад она была обыкновенной Золушкой.

Гости обычно расходились за полночь. В такие дни мне тоже разрешалось нарушать режим, и я, полусонная и взбудораженная впечатлениями, в который уж раз думала: "Какое счастье, что такие замечательные родители достались именно мне, ведь они же могли выбрать себе кого-нибудь другого."

Но я совсем отвлеклась от главного.

А главным был мой обет молчания: я дала себе слово никогда не разговаривать с отцом. И ни разу не нарушала его до маминой смерти.

Я очень гордилась своей стойкостью и никогда не упрощала, а, напротив того, усложняла себе задачу. Так, я не избегала встреч с отцом, хотя вовсе не стремилась к ним. Но когда он приходил к нам, а случалось это довольно часто, вне зависимости от вечно меняющихся обстоятельств его личной жизни, я не убегала из дома, как этого следовало бы ожидать. Во-первых, меня просила остаться мама. И, во-вторых, я считала, что мое прилюдное молчание (а отец почти всегда приходил не один) гораздо красноречивее и эффектнее.

Вот о чем я думала тогда, не замечая, как страдает мама, как мучается отец. И была поглощена исключительно собой, упивалась своей стойкостью.

Всякий раз перед приходом отца мама просила меня остаться и вести себя хорошо. Она так и говорила: "Веди себя хорошо, пожалуйста". Как маленькой, не замечая, по-видимому, что я уже вполне взрослый человек. Я же насмешливо вскидывала брови:

— Разве я плохо веду себя? Самый строгий учитель поставил бы мне пятерку по поведению.

Мама беспомощно кивала головой, не смея заговорить со мной о том, что ее больше всего волновало.

Я и в самом деле была благовоспитаннейшей и благороднейшей девицей. Я ведь не дерзила отцу, не препиралась с ним, не сидела букой. Наоборот, я охотно принимала участие в общей беседе, отвечая на все вопросы, если только они не касались отца или не от него исходили. Тут я молчала, как глухонемая, повергая всех в безвыходную неловкость, потому что разговорить меня в такой ситуации не удавалось никому.

Нет, это неправда, что я не видела, как страдает мама. Видела и жалко мне ее было до слез. Но я простить не могла ей, что папа ушел от нас, что она поддерживает с ним так называемые "дружественные" отношения, да к тому же хочет втянуть меня в эту игру. И отца мне было жаль, если уж на то пошло. Когда он грустно говорил: "Зачем ты так коротко стрижешь волосы, дочь, они у тебя очень красивые" и неуверенно протягивал руку к моей непокорной голове, мое сердце готово было разорваться от любви.

Но зачем, зачем он приводил к нам этих гадких женщин?! Зачем мама пускала их, зачем улыбалась, стараясь казаться приветливой? Зачем?!

Та женщина, из-за которой отец ушел от нас, вскоре оставила его. И он снова женился. Это мама так сказала: "Женился". Для меня сказала, чтоб я плохо об отце не думала. А что мне было думать, когда жен этих он менял так часто, что я не успевала запомнить их имена.

Поначалу я ничего не понимала и только удивлялась. А когда выросла настолько, что, мне казалось, могла себе позволить порассуждать на эту тему, спросила маму:

— Ну и что, как, по-твоему, отец своих жен любит всех вместе, оптом или в розницу?

Я думала, мама рассердится на меня за такой бестактный вопрос, но она только покачала головой и сказала:

— Нет, доченька, любит он нас с тобой. Но он человек впечатлительный и увлекающийся, и больше всего на свете боится погрязнуть в привычках, в обыденности.

Она горько улыбнулась и добавила уверенно:

— А любит он нас с тобой.

Я чуть не заплакала от этих слов и, защищаясь, громко крикнула:

— А мне не нужна его любовь! Нисколько не нужна!

И вообще, решила я тогда, никакой любви мне не нужно. Я уж как-нибудь проживу свою жизнь без нее. Для чего она мне? Я достаточно натерпелась от любви своих родителей. Сыта ею по горло.

Вот еще один штрих к моему портрету, еще один нюанс моего мировосприятия: отрицание любви и презрение ко всем влюбленным, к их мечтаниям, страданиям и прочей белиберде. Я сама исключила себя из их рядов, вернее, я в эти ряды и не вступала, ни разу в жизни не позволив себе влюбиться. Поначалу, конечно, случались вспышки этой коварной болезни и последующие рецидивы, но я самым безжалостным образом боролась с ними и профилактику вела ежедневную и упорную. Так что вскоре у меня выработался иммунитет, чрезвычайно устойчивый к подобного рода вирусам.

Сейчас мне горько думать о том, как я сознательно коверкала собственную жизнь, причиняя тем самым горе близким и дорогим мне людям. Но тогда у меня была великая цель — жить так, чтоб отец постоянно чувствовал свою неизбывную вину передо мной. И я

старалась изо всех сил, ни на миг не расслабляясь, чтоб не давать ему передышки.

А о маме, о бедной моей маме я, выходит, совсем не думала.

Мы все время были вместе, я опекала ее, оберегала, навязывала ей во всем свою волю, лишая ее права выбора. И она в конце концов покорилась, моя бедная, моя добрая, моя несчастная мама.

Вечером накануне ее смерти я долго слушала ее, впервые не переча. Что-то появилось в тот день в ее взгляде, какая-то отрешенность, отстраненность, она еще была здесь, рядом со мной, ничто не предвещало конца, я еще держала в руке ее тонкие, длинные пальцы, которыми любила играть с детства, но ни перебить ее, ни возразить ей я уже не смела.

Утром мама умерла. Я не знаю, как это произошло.

Было воскресенье, мне не надо было рано вставать, и я спала, по обыкновению, крепко. Да к тому же сон мне снился светлый и радостный. Неуместный какой-то счастливый сон, который ни с нашим вчерашним разговором не вязался, ни предвестником сегодняшнего дня быть не мог.

Проснувшись я от голода. Нехотя высунула голову из-под одеяла, увидела, что мама тоже лежит, и в следующее же мгновение отчетливо и ясно поняла, — хотя откуда могла прийти эта ясность, не знаю, — что мама умерла. Я кинулась к телефону и набрала первый пришедший на память номер.

Раньше всех приехал отец.

На его лице было написано такое неподдельное горе, что я чуть было не кинулась к нему на грудь, но из-за его плеча выглядывали любопытные и чуточку испуганные глаза его новой жены, длинноногой и златокудрой, моей почти ровесницы. Я отпрянула от него и, сдерживая рыдания, давясь ими, молча прошла на кухню и не выходила оттуда до той минуты, когда все, пришедшие проводить маму, вышли из квартиры, а те, кто должны

были выносить гроб, замешкались в узкой прихожей, вымеряя, как лучше развернуться.

В комнате была одна мама. Ее почти не видно было за цветами, они высоким красивым холмиком покрыли ее тело. Я разбросала цветы и упала лицом на холодные и безжизненные мамины руки, которые никогда уже не защитят меня.

Очнулась я от нежного прикосновения рук, гладивших мои плечи и голову. На миг я замерла, отдавшись этой ласке, затем резко выпрямилась и, глядя отцу в глаза, отчетливо произнесла:

— Я ненавижу тебя.

Отец побледнел, прикрыл глаза, пошатнулся. Испугавшись, я протянула к нему руки, но в этот момент в комнату вошла его жена и проверещала что-то плаксивым голосом.

После смерти мамы стало еще хуже. Война пошла не на жизнь, а на смерть. Все, что я делала до этого, выглядело невинными детскими проказами в сравнении с тем, что натворила после. И ведь всего этого (подумать только!) можно было избежать, приди отец на похороны один. Объединенные общим горем и неискупимой теперь виной перед мамой, мы бы, наверное, помирились с ним тогда.

Я часто думала потом, зачем он это сделал, зачем взял ее с собой? И пришла к выводу: он просто не придавал ее присутствию никакого значения, скорее всего, даже не замечал ее. Душой и мыслями он был со мной и с мамой. Он даже предположить не мог, к каким трагическим последствиям приведет нас эта его беспечность.

Мне едва исполнилось восемнадцать, когда умерла мама. Училась я на первом курсе библиотечного. Нужно было что-то решать, чтобы раз и навсегда избавить себя от опеки отца. Точнее, от посягательств на опеку, ибо помощь от него я ни в каком виде не принимала. Почти все знакомые отца и мамы попытались оказать на меня

давление, увещевая, призывая, разъясняя, но, поняв тщетность своих усилий, отступились. Однажды это пробовала сделать жена отца, но я дала ей такой отпор, что у самой после долго дрожали руки.

Я была в ту пору бесконечно несчастна и одинока. Сердце мое тревожно и жалобно ныло, не желая закаляться в борьбе. Меня стали посещать предательские мысли: борьба моя несправедливая и, раз умерла мама, кому и что я теперь докажу. Я уже почти готова была сдаться, так ослабела моя воля, как вдруг откуда-то издалека, где дергалась в предсмертных конвульсиях моя непримиримость, пришло абсурдное, казалось бы, решение, — надо выйти замуж.

Да, да, конечно, замуж. Обеспечить тылы, усилить свои позиции и вперед — к новым штурмам.

О женихе я долго не раздумывала. Это, конечно, Антоша Силин, сосед и одноклассник, мой многолетний воздыхатель. Свою платформу любви я ему уже давно изложила, еще в седьмом классе.

— Дура! — сказал он коротко. — Подожду, пока поумнеешь.

Поскольку ни с какими глупостями Антоша не приставал, я не гнала его, он все время был рядом, и я привыкла и привязалась к нему, как к брату.

Антоша учился в вечернем институте и работал, это было как раз то, что нужно для обеспечения моей материальной независимости. И я без колебаний сделала ему предложение. Добрый и деликатный Антоша сразу согласился. Он знал, что я осталась одна, и кто, как не он, должен был обо мне позаботиться.

Ах, Антоша, Антоша, если б ты тогда отказался, ты бы уберег меня от самого тяжкого моего проступка. Но ты ведь не знал этого, добрая душа. Ты думал, что спасешь меня.

Антоша долго боролся со мной, стараясь примирить с отцом. Он использовал все доступные ему средства и все же не отчаивался. Он не верил в мое злодейство, считая мое поведение глупым детским упрямством. А я

тоже не сразу узнала, что за моей спиной у них с отцом установились самые теплые отношения, в результате чего отец был в курсе всех наших дел.

Это-то и погубило меня.

Узнав, что у меня будет ребенок, я просто поглупела от радости. Наверное, такой счастливой я не была с детства. А уж об Антоше и говорить нечего. Я ведь уже успела немало крови ему попортить, отношения у нас были трудные, мучительные. И вдруг — ребенок, наше общее будущее, наше дитя, которое, еще не родившись, связало нас какими-то таинственными узами. Наступил период полного душевного равновесия.

Однажды вечером Антоша сказал:

— Звонил отец.

Я промолчала.

— Я рассказал ему о ребенке.

Я промолчала, но на душе сделалось муторно.

— Он чуть не умер от счастья.

— А он здесь при чем? — внутренне холодея, спросила я.

— Ну, как же — внук все же или внучка, продолжение рода.

Он был счастлив и не заметил происшедшей во мне перемены.

Аборт я сделала, не сказав Антоше. Я понимала, что рано или поздно он все узнает, но главное было сделать, не отступить. А все остальное — потом. Откуда мне было знать, что возникнут какие-то осложнения, и врач вызовет его для разговора.

Пока врач говорил о том, что мне грозит бесплодие, но что еще не все потеряно, надо лечиться, я сидела, опустив голову, и не проронила ни звука. Когда же, обращаясь к Антоше, врач укоризненно сказал:

— Напрасно вы позволили жене прервать беременность. Это всегда чревато осложнениями, а тут еще запущенное воспаление, — я встала и вышла из кабинета.

— Зачем ты это сделала? — глухо спросил Антоша.

— Я не хочу, чтоб у него были внуки.

— Ты — не человек, ты — урод, — сказал он, и мне стало страшно, как над раскрытой могилой, в которую медленно опускали гроб с телом моей мамы.

“Непоправимо, непоправимо”, — стучало и пульсировало у меня в мозгу. И от этого гуда голова моя, казалось, вот-вот лопнет.

Я долго болела. Болезнь моя не диагностировалась. Это был горячечный бред отчаяния, мое воспаленное сознание не желало мириться с содеянным. Я не хотела возвращаться в ту страшную действительность, которую так непоследовательно и кропотливо сама для себя выстроила.

Пока я болела, Антоша все время был рядом, а когда, вопреки моему желанию, я все-таки выздоровела, ушел.

И отец мне больше никогда не звонил.

Я оказалась в вакууме, в полной изоляции, забытая всеми, никому не нужная. И поделом мне было. Это была еще слишком мягкая кара за все мои прегрешения. И я стоически принимала ее. Я перевелась на вечернее отделение. Работала и училась, училась и работала. Этим замкнутым кругом ограничила я свою жизнь. И как-то приспособилась, восприятие окружающей действительности сузилось до самого необходимого минимума понятий, а все остальное как бы атрофировалось. Даже болеть перестало.

И вот среди этого, казалось бы, окончательного затишья раздался удар колокола.

Звонила жена отца:

— Его завтра выписывают из больницы, мне он такой не нужен. Из-за тебя все случилось, ты и расхлебывай.

Она назвала адрес больницы и повесила трубку.

Отца я едва узнала. Он сидел в кресле-каталке, бледный, худющий, небритый, странно поджав левую ногу, а правой рукой поддерживал левую руку. Увидев меня, он заулыбался, радостно посмотрел на врача, застыв-

шего рядом в напряженном ожидании, и забормотал: "Му-ы-ы, му-ы-ы". Из его глаз потекли слезы.

У меня хватило сил сдержаться, прежняя закалка помогла. Переговорив с врачом, получив необходимые рекомендации и наставления, я повезла отца к себе.

Я бросила институт, устроилась работать поближе к дому. Все мои силы были направлены на то, чтоб наладить наш нелегкий быт. Ох, какой нелегкий. Ведь отец был абсолютно беспомощен. Мне приходилось и кормить, и одевать его, и мыть. И много всяких других неприятных и трудных забот свалилось на меня. И рассчитывать было не на кого — все сама.

И что удивительно, я не только не знала устали, но и все дурное, что долгие годы скупрузезно взращивала и культивировала в себе, вдруг исчезло вмиг, не оставив следа. На душе у меня было тревожно, я беспокоилась за отца, искала пути и возможности помочь ему, но и тревога эта, и беспокойство были иными. Душа моя наконец освободилась от тяжкого бремени чуждого ей злодейства.

То, что отец почти не мог самостоятельно двигаться, было ужасно. Но врачи говорили, что есть надежда на восстановление двигательных функций. А вот то, что он разучился говорить, читать и писать, просто повергало меня в отчаяние, которое лишь усугублялось беспомощностью врачей. Все специалисты, которых я правдами и неправдами находила и привозила к отцу, растерянно пожимали плечами, разводили руками и бормотали что-то совсем непрофессиональное, вроде: "Будем надеяться..."

Логопед, которого я с трудом и за немалое вознаграждение уговорила заниматься с отцом, через несколько сеансов перестал приходить, сообщив мне по телефону, что это "дохлый номер". Не желая верить этому, я сама купила детскую азбуку и часами мучила отца, заставляя повторять за мной какой-нибудь звук или показывать нужную букву. Но ничего, кроме "му-ы-ы", я от него не добилаься.

С разговорной интонацией, как бы рассказывая мне что-то или отвечая на мои вопросы, он твердил свое "му-ы-ы".

Почему именно эти три звука? Сочетание, похожее на слово "музыка", то, что прежде составляло радость и смысл его жизни. Но сейчас это не имело ни малейшего отношения к музыке, он ее просто не выносил. Он требовал, чтоб я выключала радио и телевизор, если звучала музыка.

"За что, Господи, за что ты так тяжело наказал моего отца, который привык блистать в обществе, быть душой компании, доставлять всем радость и радоваться? За что?" — спрашивала я, забыв о той вине, которую много лет так жестоко не прощала ему.

Жили мы очень дружно. Ни раздражения, ни досады не чувствовала я и никогда, даже мысленно, не сетовала на свою судьбу.

Свободное время я проводила только с отцом, все в своей жизни подчинив ему, его нуждам. Я привыкла к его мычанию, не испытывала уже того первоначального ужаса при мысли, что этот инвалид — мой отец.

Болезнь отца вошла в мою жизнь стремительно и непредсказуемо. Времени для раздумий, как поступить, у меня не было. Я не принимала решения, оно пришло само. И ни разу, никогда не усомнилась в правильности этого решения. И потому, когда немногочисленные знакомые, посвященные в мои обстоятельства, почти единодушно говорили мне: "Ты с ума сошла! Зачем тебе такая обуза? Отдай его в дом инвалидов и перестань мучиться", — я даже не обижалась на них. И их восторги по поводу моей самоотверженности тоже казались мне явно преувеличенными. Они просто не понимали, что любовь к отцу всегда была самым важным в моей жизни, и, изуродованная, исковерканная мною, сейчас она, наконец, приняла свое нормальное обличье.

В тот день, когда я собралась на концерт, мы впервые поссорились с отцом.

Я пришла домой пораньше, чтобы успеть покормить его и приготовить все, что нужно на завтра. Он очень обрадовался моему раннему появлению, весело мычал и следил за мной сияющими глазами. Любовь ко мне была единственным, как мне казалось, осознанным чувством, которое его покалеченный мозг сохранил из всей прошлой жизни. Теперь он жил только этим, ничего другого у него не было.

В тот вечер я убедилась в этом окончательно. Как только я сказала ему, что сегодня хочу пойти в консерваторию, и он немного побудет один, лицо его помрачнело. Он замотал головой, сердито ворча, схватил меня за руку, да так крепко, что я никак не могла освободиться. Я присела рядом и стала говорить, как мне хочется пойти на этот концерт.

— Помнишь, как ты впервые повел меня в консерваторию, была та же программа, помнишь?

Он замотал головой, и две крупные и медленные слезы поползли по его впалым щекам. Он еще крепче сжал мою руку. И мне показалось, что он вспомнил, хотя я не вполне была уверена, что он вообще что-либо помнит теперь.

Зато моя память хранила все до мельчайших подробностей.

Отец приобщал меня к музыке с раннего детства. Он не только водил меня на настоящие концерты, но и частенько брал с собой на репетиции и спектакли. Я тихонечко сидела в углу оркестровой ямы, из таинственной темноты которой по мановению волшебной палочки дирижера выплывала всегда неожиданная, странная и чудесная музыка.

Порой мне казалось, что я вижу музыку, такие яркие картины мелькали в воображении. Тогда я говорила отцу:

— Я сегодня опять видела музыку.

Он заинтересованно спрашивал:

— Ну, ну, расскажи скорее, какая она.

И я вдохновенно рассказывала, а отец слушал, счастливо улыбаясь. Я знала: в такие минуты он гордится мною.

Но так бывало не всегда. Иногда я скучала на концерте, с трудом высиживая до конца. Пересчитав трубы органа, кресла в ряду, мужчин и женщин, сидящих слева и справа (сначала до десяти, а затем, когда пошла в первый класс, уже до ста), я вертелась по сторонам и даже тихонечко напевала про себя что-нибудь свое.

Отец не ругал меня. Он сокрушенно вздыхал и говорил:

— Нет, ты все-таки совершенно не восприимчива к музыке. Это же великий Мусоргский (или Бах, или Паганини)!

В тот первый раз "Прощальную симфонию" играл другой, впоследствии долгие годы любимый мною камерный оркестр. Симфония исполнялась при свечах. Оркестранты неслышно, темными тенями покидали сцену, задувая одну свечу за другой. А мелодия, после того как смолкла последняя скрипка, еще долго трепетала и жила в моей душе, переполняя ее невообразимым счастьем, от которого хотелось плакать.

Я попыталась встать, но отец вцепился в мою руку так, что у меня заломило пальцы. Глаза его горели недобрым блеском.

— Да что же это такое, в конце концов! — взорвалась я.—Я безвылазно сижу дома уже три года. Я совершенно одичала. Посмотри, на кого я похожа, а мне, между прочим, всего лишь — двадцать пять. Я озверела от этих горшков и пеленок, они вот где у меня сидят!

Я, наконец, вырвала у него свою руку и провела ребром ладони по горлу.

Отец молчал. Он только смотрел на меня отчужденно и злобно.

— Я решила, что пойду на этот концерт во что бы то ни стало. И пойду, — твердо заявила я, хотя решимость моя пошатнулась, как только я начала свой гневный

монолог, текст которого я проговорила слово за словом, не предполагая, что последует дальше. Как плохой актер за суфлером.

Это были не мои слова. И мыслью моих они не отражали.

Я быстро оделась, теряя остатки решимости. Включила отцу телевизор, поцеловала его. Он оставался безучастным. Я помешкала немного, взглянула на часы, увидела, что опаздываю, и с облегчением подумала: "Не поймаю такси — вернусь".

Такси стояло у подъезда. Из него только что вывалилась веселая и шумная компания. Обескураженная и вконец растерянная, втайне лелея последнюю надежду, что таксисту со мной не по пути, я посмотрела на него со странным чувством, будто моя судьба в его руках.

— Пожалуйста, садитесь, — широко улыбнулся он и распахнул дверцу.

Нарядная, оживленная толпа подхватила меня и понесла вверх по белой мраморной лестнице к сверкающим зеркалам и многократно повторенных в них люстр. Раньше в эти минуты я всегда испытывала необычайный подъем и волнение, а в тот день чувствовала себя здесь чужеродным телом, нарушающим гармонию окружающего мира, где безраздельно царил праздник.

Концерт был юбилейный, коллектив оркестра отмечал свое двадцатилетие. Перед началом выступила музыковед. Она говорила эмоционально и образно. Но я не любила, когда музыку объясняли словами. Это раздражало и казалось надуманным и неискренним. По-моему, музыка необъяснима и неповторима, как сон. Пригрезится, растревожит, затянет в свой омут и вдруг оборвется неожиданно и исчезнет куда-то в неведомую страну до новой встречи. И явится вновь, любимая, узнаваемая, но всегда новая.

В тот вечер я все время ловила себя на том, что не слышу музыку, и, не дождавшись конца первого отделения, низко пригнувшись и шепча извинения, выбралась из зала и помчалась на улицу. Я беспокойно выпрыгива-

ла на мостовую, размахивая руками, но грозно ревуший поток равнодушно пронёсся мимо, отбрасывая меня обратно на тротуар.

Домой я добралась не скоро, так как пришлось ехать на городском транспорте. Встретила меня гулкая тишина, наполненная звуками музыки. Это была "Прощальная симфония". Решив, что у меня галлюцинация на нервной почве, я крепко зажала ладонями уши. Музыка отступила и зазвучала вновь, когда я опустила руки. Она звучала наяву и доносилась из глубины квартиры, из комнаты отца.

Картина, которую я застала, была ужасна.

Отец лежал на полу в неловкой позе, лежал, по-видимому, давно. По скомканному, сползшему с дивана на пол пледу я поняла, что он предпринимал безуспешные попытки подняться. Рядом валялся разбитый стакан, рубашка отца была залита чаем и облеплена засохшими чайинками. Он смотрел на меня с испепеляющей ненавистью, а с экрана звучала "Прощальная симфония". Телевидение транслировало юбилейный концерт.

Через месяц отец умер от повторного инсульта. Умер, так и не заговорив со мной. В его непримиримости, как в зеркале, отражалась моя. Я ничего не могла сказать ему и молча страдала.

Круг замкнулся.





Родилась 2 июля 1939 года. Поэт, прозаик, переводчик. Автор двух книг прозы — сборника повестей и рассказов “Вечная верность”, М. 1988 г. и романа “Некурящий Радищев”, М. 1992 г. Как переводчик представляла читателю на русском языке Готфрида Бенна, Пауля Целана, Теодора Дойблера, Еву Штриттматер, Ингеборг Бахман, Айрис Мердок (роман “Сон Бруно”), Патрика Уайта и многих других. Руководитель юношеской литературной студии “Кипарисовый ларец”. Живет в Москве.

СЕКСОПАТОЛОГИЯ

Клу сидела, обливаясь потом, в ванне с горячей водой, ждала следующей схватки. Она напилась таблеток, которые дала ей Ева, соученица по университету, чтобы устроить выкидыш, и теперь проклинала все на свете, потому что это оказалось вовсе не так легко и просто, как говорила об этом Ева: "Они меня раз пять уже выручали. Правда, один раз не получилось, поздно было". У Евы все, казалось, было легко и просто — она хотела — выходила замуж, хотела — не выходила, спала, с кем хотела, вообще делала что хотела и ничего не боялась, никого не стеснялась, действовала решительно и уверенно, словно получала на это несомненное одобрение свыше, и всегда была хозяйкой положения. У Клавдии боли были невыносимые, на третьей схватке она решила, что умирает, потому что нереальным казалось, чтобы живой человек мог вынести и пережить подобные ощущения: сердце разрывалось и выпрыгивало через гортань, отнимались ноги и на несколько мгновений она ослепла и видела перед собой бездонную черную яму, расцвеченную красными мерцающими запятыми. Надо было вызвать скорую помощь, но от одной мысли о том, как им, наверно, не захочется ехать ночью по очередному звонку очередного, как они, видимо, всегда думают, симулянта и как им придется объяснять, что с ней такое приключилось, она отказывалась от этой возможности и предпочитала умереть здесь, в

этой чужой соленой от ее пота ванне. Ева говорила, что должно быть схваток десять-пятнадцать, самая тяжелая шестая, потом будет все легче и легче, но выкидыш, кровь может пойти не сразу, через день-другой-третий, что у нее начинается все быстро, тут же, потому что, слава Богу, слабая матка, а вообще бывает по-разному. Некоторым не помогает, потом приходится все равно делать аборт, что очень болезненно. Удивительно, до чего Ева все знала в Москве — и куда пойти сдать анализы на мышах, и где взять нужную справку, и где не надо платить, а где — надо, и сколько, и кому, и в каком виде отдавать деньги — в конверте или внутри справки, или просто сунуть трешницу в регистратуру. Знала все адреса, как куда ехать и где кого спрашивать, в какую аптеку идти с этим рецептом, а в какую — с тем, что сказать скорой, чтобы забрали в больницу, и в каком районе вызвать скорую, чтобы попасть в больницу с обезболиванием. Клавдии даже в голову никогда не могло прийти, что все так устроено на свете, что такое вообще может существовать. Просто как будто бы не Ева иностранка, а сама она иностранка. Родители называли ее в честь Клавдии Шульженко этим ужасным плебейским именем, и Клавдия неприязненно относилась не только к самой певице, но и к праздничным концертам по телевидению, в которых она еще пела, закрывая косыночкой старческую шею. Говорят, она сидела при Сталине, как и певец Козин, ее, конечно, очень жалко, но Клавдия — не то имя, которое ей хотелось бы носить. С легкой руки Евы в университете многие стали называть ее Клу, но и к этому имени она не могла привыкнуть, ей казалось, что оно совершенно не выражает ее внутренней сущности. Хотя чье имя выражает? Найти бы такую мысль, на которой можно сосредоточиться настолько, чтобы она заглушила боль, но все мешается в голове, о чем бы она ни думала, едва начинается очередной приступ, — видно, не та у нее сила духа. Просто, она слабая, и ребенок ей совершенно ни к чему. Это единственное, что ей понятно, ради чего она

терпит сейчас весь этот ужас. Чтобы не пошло под откос вообще все — вся жизнь...

Вот, начинается снова, издалека накатывает эта боль, сначала глухая, нутряная, будто бы выносимая, как обычные месячные, а потом... Потом... Уже нет никакого потом, кричать страшным криком тянет изнутри, в груди, в животе зарождается этот крик, но кричать нельзя, нельзя, молчи, потому что это чужая квартира, это... Чья же это квартира? Что это вообще такое? Где это все? Не может быть, чтобы это было на той же самой планете, где она родилась, где на день рождения дарят шоколадных зайчиков и летом цветут в лесу колокольчики, где детям шьют красные платица с присборенными юбочками и надевают белые колготки... Чтобы девочка в этих белых колготках истекла вот так страшно потом, что все волосы ко рту прилипли... Как будто бы поможет, если закричать... Станные инстинктивные желания... Откуда они берутся? По незнанию... Все это ОН завлекает человека с самого детства... Зайчиками... Сиренью... Маками в степи... Любовью... Все обман... Самый большой обман — это любовь: чтобы шли на пытку и плодили ему новых подопытных зайчиков... И зачем ему все это надо? Жизнь? Эти страшные страдания? Смерть? Ей ничего этого не надо... Не надо мне, не надо... Пошли только, чтобы кончилось все... Умоляю, милостивый, всемогущий, — ничего не хочу, пусть все кончится, все, сейчас, что-нибудь в голове пусть лопнет, и тьма... Больше ничего не хочу. Все я поняла, все узнала... Не хочу больше ничего, не хочу-у-у... Кажется, повернула на убыль... Это очень больно, но не так... Значит, эту схватку выдержала, выжила... Господи, неужели я еще жива... Не верится... Не может этого быть... Как глупо все, господи. Это же родовые схватки, настоящие родовые схватки. Как я раньше не догадалась.

Самый большой обман — это любовь. Его поддерживают все—в книгах, в кино. Все эти книги пишут мужчины, кино снимают мужчины. Бог — слово мужского рода. Ну не смешно ли? Когда она была маленькая, ей каза-

лось, что для ее папы нет ничего невозможного: он мог достать любое лекарство, устроить маму в санаторий, когда у нее обнаружили туберкулез, доставал все подписки, получил квартиру со всеми удобствами и телефоном. Был совсем как Бог. Мама ничего этого не могла, ничего ни в чем не понимала, хотя они и работали в одном учреждении. Клу считала их интеллигенцией, и все считали, и они сами себя считали. Смешно теперь представить себе, кто они такие рядом, скажем, с дядей Алеши, послом в Норвегии, говорящим на пяти языках в своем величественном кабинете. Жалкие провинциальные обыватели. Жалкие мамыны старания принарядить ее в детстве. С двенадцати лет ее водили в ателье по крайней мере дважды в год — одно летнее и одно зимнее н а р я д н о е платье! Показать бы Еве эти платья, ее фотографии в этих платьях... Она говорит всем, что у нее нет фотографий, что она никогда не фотографировалась. Когда она вспоминает мальчика, в которого впервые в жизни влюбилась, она зажимает пальцами уши, чтобы не вспоминать. Это был небольшого роста мальчик с греческой фамилией Манасис, худой и всегда улыбающийся. Продолговатые ямочки на его впалых, смугло-розовых скулах и темные миндалевидные глаза, в каждом из которых горела в глубине ночная звезда, сводили Клу с ума, когда она видела этого мальчика и тем более, когда она его не видела. Он денно и ночью ошивался на набережной, и Клу ходила туда иногда, чтобы на него посмотреть. Он носил вылинявшие сатиновые штаны и местного производства рубахи, их у него было штук пять. Клу знала их все наперечет. Валя Манасис. Смешно вспомнить. Троечник. Работает теперь, наверно, на паровозном заводе — а где же еще? — или подался в морячки. Или в таксисты. Не век же ходить в сатиновых штанах, наверно, думает. Как будто полированная мебель мариупольского изготовления — это лучше. Она тогда посмотрела фильм Марселя Карне "Набережная туманов", осенью, в октябре, ей все казалось, Жданов — это Марсель, и

что можно встретить человека, который сразу увидит, что ты — это ты, в каком бы окружении ты ни находилась. Но Валя Манасис не обращал на нее внимания, хотя, кажется, обращал, то есть он всегда на нее смотрел, когда она проходила мимо, но, видно, ничего не понимал и думал о другом. Интересно, что он думал, когда перестал ее встречать — что все это было? Что все это значило? Впрочем, ничего это не интересно, она одумалась, слава богу, и поняла, что мальчики в Жданове — не Марсели Карне, а просто солдаты. Худшие из рабов, без малейшей искры сомнения в душе, самодовольные в своем телятнике. Был еще один мальчик перед тем, как она уехала учиться в Москву.

Конечно, она понимает, что сейчас, когда ей так плохо и больно, все представляется ей в мрачном свете, но ведь то, что она думает сейчас, останется с ней навсегда, она просто узнала правду о жизни, которую от нее старательно скрывали, чтобы заманить в ловушку этой детородной бойни, в которой они все барахтаются, послушные своему инстинкту. Послушные Богу и своим установлениям, условиям, по которым живут.

Когда она познакомилась с тем мальчиком, казалось, все, что пишут о любви, не только правда, но на самом деле любовь даже и лучше, ее невозможно описать. Действительность всегда двоилась в ее глазах. Что правда? Что ложь? Как на самом деле? Последняя ли правда то, что сейчас — эти неправдоподобные мучения здесь, в чужой ванне, когда она, как раздавленная бульдозером, потеряла все человеческие точки отсчета прежней жизни; или та цветущая у моря глициния, аккуратно подстриженные черные волосы, свежий запах одеколona и весны, лодка с мотором, неизвестно кому принадлежащая, таинственные телефонные звонки, всегда неожиданные, задыхающиеся, спешные, какой и была юность внутри у нее, у Клавдии, на фоне ровных, однообразных дней школы и родни, маминых и папиных знакомых, сослуживцев, соседей — "Здравствуй. Это я. Я на углу, на Ленина, у будки. Можешь выйти сейчас

же?" На нем всегда была свежая белая рубашка, бросающая отблески на его счастливое, безмятежное лицо, он всегда мучительно, резко исчезал — самое позднее в половине одиннадцатого, она заметила. Он как будто не любил с ней целоваться, а любил разговаривать, один раз даже бил себя по щекам, когда они слишком уж разобнимались вечером в парке, за танцплощадкой. Парк, танцплощадка, билетная будка на углу — все было жалким, бездомным, неприкаянным. Ей хотелось очутиться с ним в настоящем путешествии, остановившись в отеле, фотографировать Неаполитанский залив.

— Эта русская пара из десятого номера очень мила, она так хорошо воспитана, а он настоящий красавец. Обворожительные дети...

(С первого же курса, как только поступила на психологический, она записалась в кружок английского языка в Доме учителя, участвовала в театральных постановках... Но самыми заядлыми там оказались малоинтересные старухи, которым вообще непонятно, зачем все это было нужно. Там было скучно. Только когда у них на курсе появилась Ева, на втором курсе, — она перевелась из Варшавы ввиду своего замужества с Джако, который учился во ВГИКе, — Клавдия впервые в жизни увидела настоящих иностранцев, и ей иногда удавалось поговорить по-английски, хоть немножко потренироваться. Американцев она все равно понимала очень плохо.)

... Он говорил, что играет в футбол в специальной команде, которая здесь на сборах, и живет в спортгородке. Поэтому он очень занят и живет по режиму. Потом она увидела его в городе в курсантской форме. Обыкновенной курсантской форме. И дело не в том, что он ей врал. Это бывает с мальчиками, это она могла понять. В конце концов, им так же, как и нам, хочется чего-то лучшего, чем есть на самом деле. Но она не могла понять, как можно служить войне. За надбавку. За погоны. Как можно хотеть стать офицером и гонять солдат. Как можно хотеть самому стать солдатом. Она

ненавидела войну и презирала военную форму. Это было для нее ударом. Она не сказала ему, что видела его в форме. Но он и сам почувствовал, что что-то случилось.

— Что-то случилось, Клав? Почему ты такая?

— Какая? Обыкновенная. Ничего не случилось.

— Ничего? Правда ничего? Посмотри на меня. Ну вот, я же вижу, что что-то случилось. Ты... познакомилась с кем-то за эти дни? Да?

— Это единственное, чего ты боишься? Нет, ни с кем я не познакомилась. С кем тут можно познакомиться? Все известно, как свои пять пальцев. Это тебя может не волновать. Я скоро уеду...

— Куда?

— Поступать... Куда-нибудь.

— А как же я?

— Ты... Мы ведь разные существа. Раз-ны-е.

— Вот как? А мне казалось, что одно...

И потом, в следующую встречу:

— Значит, ты меня бросаешь... А я даже не представляю, как смогу теперь жить без тебя. Неужели это так обязательно — куда-нибудь ехать. Можно учиться и здесь. Неужели ты думаешь, легче найти человека, который тебя любит по-настоящему, чем факультет? На кого ты хочешь учиться?

— Не знаю... Я хочу уехать отсюда. Ты вряд ли меня поймешь.

— Подождала бы немножко. Уехали бы вместе. Через три года.

Она насмешливо хмыкнула.

— Я не крепостная. Меня еще не посадили на цепь.

— Разве я к тебе не так отношусь?

— Да нет... Я же говорила, что ты меня не поймешь.

Потом было ужасно тяжело, потому что он переживал, сох и хмурился.

— У меня будет отпуск летом, и я поеду с тобой.

— Куда?

— Поступать. Болеть за тебя.

Ей было неприятно, что он так скулит, и за себя противно, что ей это неприятно: любовь — дар небес, и надо принимать ее с достоинством и благодарностью. Но он начал ее тяготить. Ей хотелось, чтобы он говорил о чем-нибудь легком, разделил ее надежды, не предъявлял своих прав на нее — и чтобы они, наконец, расстались, дружески и просто. Объяснить ведь ему невозможно, что жизнь тускла и тосклива, что у людей как будто шторы на глазах, они не видят — впереди только смерть, и ведет к ней узкий коридор, из которого ни вправо, ни влево — все заказано, ничего не может случиться иного, чем каждодневная рутина: достать, не достать килограмм мяса, какая разница? Все их заботы кажутся ей такими дикими, когда жизнь, в сущности, ужасна, бессмысленна, жестока, в ней все борется не на жизнь, а на смерть, она вся — воплощение войны и вражды, этот ор продавщиц, склоки в очередях, потасовки из-за каких-то пошлых покрывал, просто покрывал на кровать, представляешь себе? И они мирятся со всем этим, мирятся с тем, что бессмысленно ходят каждый день "на работу" и делают какую-то ерунду, отец так и говорит, что все, что они делают — это коту под хвост, работать они не умеют, умеют только орать друг на друга и сваливать на дядю, что умеют они только умирать, русские умеют только умирать, а не жить... Они мирятся с тем, что бабушка, когда умирала от рака, две недели криком кричала на весь дом, и ее даже в больницу не взяли — места там нет для умирающих, пусть умирают дома, пусть вообще умирают где хотят и как хотят, и рожают в муках, и умирают в муках, и все те сорок миллионов, которые погибли на войне и в лагерях, все равно бы уже умерли в таких же точно муках, и все двести миллионов обречены, а люди живут, и как будто знать ничего не хотят об этом, зато что-то у них считается прилично, а что-то — неприлично, а вот по ее — так ходить в военной форме неприлично, ведь это значит признавать, потому что это признавать законной войну и какие-то ее правила. Это ее всегда возмущало, как

язык у людей поворачивается: по законам войны, это чудовищно. Вообще в жизни столько чудовищного, и никто на это как будто не обращает внимания, никто, она еще не встретила человека, который бы думал, как она. Родители ей совершенно чужие люди, они как бездумные пчелы, они обучают ее мелким житейским установлениям их улицы, их дома, их города. Это смешно. Она не хочет жить, как они. Ничего она ему не в состоянии объяснить. Обидно ужасно, что чувства, эмоции привязывают тебя к чуждым людям, мешают тебе думать, понять все как есть; трудно с ним было расстаться, хотя она и понимала уже то, что понимала; трудно было сидеть вечером одной дома и думать — вдруг он все-таки позвонит, хотя она ему сказала, что занята и надо срочно писать сочинение. Она чуть было не попала на эту удочку, чуть было не сдала в последний момент билет, так ей было тоскливо уезжать в неизвестность и жечь за собой все мосты их встреч и выяснений отношений. Но теперь она ничуть об этом не жалеет. Еще бы не хватало — все то же самое, что сейчас, выносить тогда или чуть позже, покориться участи, ехать с ним по его назначению куда пошлют — а куда его могут послать, известно — и там жить взаперти, нянчить младенца за младенцем и ничего больше в жизни не увидеть. И вот такими же были бы роды в каком-нибудь сибирском городишке или на Дальнем Востоке — кругом море крови, крики, стоны, и никто ничего, так положено, такие законы войны, даже антисептика не обеспечена. И она знала бы, что страдает ни за что, просто из послушания их законам войны, и еще ребенка своего собственного обрекает жить их жестокой мясорубочной жизнью... Раз всем плевать... Раз такое может быть... чтобы с такой болью... с такими страданиями... они бы смирились. Да еще культивировали бы их. Они обожают боль, пытки. Сладострастно вожделеют обречь на них... Сейчас им посмотреть на нее — было бы одно удовольствие!.. Им бы хотелось, чтобы она кричала, визжала, как свинья... А-а-а-а! Во-от! Ребенка надо родить,

а ты все хотела, как полегче! Вот тебе полегче! Так тебе и надо! Дрянь, отщепенка... Так бы и дала тебе еще пинка... Гинекологиня в университетской поликлинике так и сказала:

— Так бы и дала тебе пинка. Так бы извозила тебя ремнем, будь я твой отец или мать. Показала бы тебе аборт. Жизнь убивать, калечить себя смолоду. Самое дорогое на свете, материнство. А им плевать теперь. Погуляла — и ни за что отвечать не хочу. Не дам я тебе никакого направления, иди куда хочешь жалуйся на меня. Да и нет у тебя, кажись, ничего. Просто задержка и все припухло. А и было бы, не дала...

Этот раз ей не выдержать, это ясно... Паралич разбивает, говорят... Говорили... Каждый думает, что не его... А это как раз ее... Как раз...

— А-а-а-а!

Она опустила голову в воду, чтобы заткнуться, чтобы не услышали о н и, она даже не знает, есть ли здесь соседи, и вообще, есть ли здесь кто-нибудь... Есть ли кто-нибудь вообще на свете... Как страшно умирать вот так, как собака на помойке... Никто о тебе не вспомнит, никому ты не нужен... По пятьдесят копеек соберут... Мать жалко... Она не имела права, пока мать жива... А-а-а!

— А-а-а-а! Мамочка, прости меня! Боженька, боженька, ты же видишь все мои мысли! Я же никогда никому не хотела... Такого... Наоборот... Я наоборот... Почему же ты допускаешь такое над нами... Господи, чем мы тебе не угодили!

Она старалась говорить и кричать в воду, и захлебывалась, и вода лилась у нее из носа вместе со слизью, с соплями, она почувствовала, как что-то полилось из нее в ванну и ужасно завоняло. Она дрожащими руками рванула изо всей силы затычку, но затычка не поддавалась — руки не слушались ее, в них не было никакой силы. Она потянула за цепочку — цепочка оторвалась. Чужая ванна. Это была чужая ванна. Она нащупала маленький литейный изъян в затычке и подковырнула ее, обломав

ногти, но этой маленькой боли не почувствовала. Почему-то из пальца пошла кровь... Этого ничего она не понимала. У нее внутри продолжало рвать и выталкивать наружу ее живот, как будто на него давил сорокатонный домкрат. В ванну, кажется, стучались... Наверно, это галлюцинация.

— Эва...

Это Джакомо! Это он так говорит — нежным, почти детским голосом: "Эва"... Клу пыталась открыть кран. Ничего не получалось, не хватало сил.

— Эва! Эва, открой! — тарабанил в дверь Джако. Он кричал что-то по-итальянски. Ему практически было все равно, на каком языке разговаривать. Он свободно переходил с английского на французский, с французского на итальянский. По-русски он говорил, как немногие русские еще умеют: грамотно, сложно и тонко. Но ругался он очень смешно.

— Открой, тебе говорят, шлюха международная! — неистовствовал Джакомо. — Я тебя везде обыскался, обзвонил пол-Европы! Звоню в Варшаву, родители в обморок, делают вид, что ничего такого за тобой никогда не водилось... Мама мне сказала, слышишь, моя мама мне сказала, что тебя видели два дня назад в Монте-Карло. Можешь даже не отпираться, два дня назад, с этим аферистом Фибихом, дядя Антонио был там на конгрессе собаководов, он вчера прилетел в Рим и сказал маме...

Да-а-а, это квартира Веры, тети Джакомо... Тетя Вера, она живет здесь испокон века. У нее посадили мужа-коммуниста и сына, они оба погибли в сталинских лагерях, но у нее есть внуки, невестка и внуки, и у невестки есть новый муж, и у него тоже есть какие-то родственники, которые являются родственниками тети Веры. В общем, целая орава итальянских коммунистов, осевших в Москве еще с тридцатых годов. Тетя Вера в санатории для старых большевиков. Поэтому она, Клавдия, здесь... Не поэтому, а потому что ей не надо этого

ничего ...Ей надо написать диплом... Получить диплом... Не вылететь из седла.

— Эва, что с тобой! — испуганным голосом пролепетал вдруг Джако. — Почему ты молчишь? Тебе плохо? Но я же слышу, что ты там, что там льется вода! — хлопнул он по двери ладонью.

Только теперь, когда боль пошла на убыль, Клу смогла включить душ. Странно, она только что кричала как резаная, а теперь у нее не было сил напрячь связки. Она хрипло сказала севшим голосом:

— Это я, Джако... Это не Ева.

— Что ты надумала на этот раз? Послушай, — жалобно, своим обычным почти детским нежным голосом сказал Джакомо. — Открой мне, давай поговорим спокойно! Ты же знаешь, я никогда не сделаю тебе ничего плохого, хотя бы ты довела меня до любой последней черты! Ты же не можешь меня бояться, ты не должна меня бояться! Я все пойму, я все способен понять! Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, Эва! Открой мне, если ты жива, заклинаю тебя всем святым!

— Это я, Джако... Это не Ева, — шептала Клу. Он замолчал. За дверью стало тихо.

Клу перевалилась через край ванны и потянулась за полотенцем. Джакомо учился на режиссерском факультете. Он был внучатым племянником кого-то из основоположников итальянского неореализма, она все путала, кого именно. Перед этим он окончил колледж при Сорбонне. Стипендию ему платила итальянская компартия. Сто рублей в месяц. Видимо, и там требовался блат, чтобы попасть учиться за границу. Все везде одинаково. Все очень случайно. Руки и ноги у нее дрожали, трясся подбородок и не слушался язык. Она сбилась со счета, но кажется, все-таки последняя схватка не была такой тяжелой, как предыдущая. Все было очень далеко от нее, вся жизнь, люди, их проблемы и вождедения. Когда человек умирает, догадалась она, ему все равно, ему ничего не интересно. В щелку между дверью и

притолокой просунулось лезвие столового ножа и скрежетнуло по задвижке. Задвижка отодвигалась туго, Клу не подумала об этом. Она вообще не думала, что может умереть от этих невинных таблеточек, на которые Ева сама выписывает рецепты. У нее пачка заверенных печатью рецептов, она выписывает себе, что хочет. Она прекрасно разбирается в медицине. То есть их всех, конечно, много тут чему учили — и анатомии, и физиологии, но у Евы есть просто пачка заверенных рецептов. Они вместе проходили практику в одном отделении клиники, работали с дефективными детьми, и Ева запаслась, по дружбе. А Клавдии такое даже в голову не приходило, да и дружбы у нее ни с кем там такой уж не было. А Ева дружит со всеми. Они поразительно открытые с Джакомо, у них нет ни от кого никаких секретов, и их все любят, и все с ними дружат. А Клавдия живет, как в пустыне. Она не представляет себе, что будет, когда уедет Ева. Она останется совершенно одна на свете. Одна как перст. Она вцепилась рукой в лезвие ножа и прохрипела, приложив к щели губы:

— Джакомо... Это я, Клавдия! Я не могу открыть задвижку, подожди немного.

— Клу, это ты! Господи! Что ты там делаешь? Как ты там очутилась? А я... А я... Эта дрянь опять удрала с Фибихом. Я потратил все деньги, всю валюту... Даже рубли. Я выследил их по видео. Я давно придумал скрытый элемент у нее в сумочке. На пудренице. Как ты думаешь, она его любит?

— Нет, Джако, нет, — прошептала в щель Клавдия. — Подожди немножко.

Она отодвинула задвижку и опустила на пол: ее опять скрутило.

— Клу, что с тобой? — воскликнул Джакомо, распахивая дверь. Она видела только его ноги и край пальто в елочку: он даже не разделся. — Почему ты не отвечала столько времени? Тебе плохо?

— Плохо, — отозвалась Клавдия, свернувшись в клубок от боли. Вены у нее на висках, казалось ей, сейчас

лопнут. Джакомо опустился на одно колено и прикоснулся к ее плечу. Он такой худенький, щуплый, а она — здоровая русская девка, он не сможет ее даже поднять. Ева тоже маленькая, худенькая, с коротенькими-коротенькими белокурыми волосиками. Они как два эльфа, а лопают дай бог каждому. Все русские деньги проедают на лангеты в кафе "Прага". Когда не хватает рублей, обменивают валюту у официантов в "Национале".

— Что тебе дать? — спросил Джако, — валерьянки? Сердечных?

Клавдия молчала.

— Вызвать скорую? — предложил Джакомо.

— Нет, ни за что. Лучше умру, — выдавила из себя Клавдия.

— Да что ты! Думаешь, они тебя сразу на Лубянку, что ли? Так плохо тебе? Ну все, звоню в скорую...

— Нет, нет, нет, Джако, нет... Ты не знаешь... Они сами, как Лубянка... Ты не знаешь наших больниц. Не надо, умоляю тебя. Что угодно, только не это. Помогни мне... Я не могу встать.

Он обхватил свою шею ее рукой и начал приподнимать ее, поддерживая за талию. Из нее опять полилась какая-то вонючая жидкость. Джако уложил ее на Верину кровать, одной рукой отдернув покрывало. Клу трясло. Было очень холодно. Говорить она больше не могла. Она старалась подоткнуть под себя полотенце, чтобы не испачкать чужую кровать. Джако вытащил из-под нее половину одеяла и обернул ее им. Накинул сверху покрывало. Притащил из прихожей Верину драную шубу. Клу все трясло и трясло. Джако позвонил в скорую.

— Мы же цивилизованные люди, — сказал он.

Клу корчилась от боли, но кажется, все же было легче, чем раньше.

— Где Эва? — спрашивал Джако. — Ты знаешь, где она?

Клу отрицательно мотала головой.

— А как ты сюда попала? — спрашивал Джако.

Как на допросе, подумала Клавдия. Она не могла сообразить, что ему ответить. Нужно ли ей что-нибудь соврать, чтобы выручить Еву, и что именно. Ева дала ей ключи от Вериной квартиры три дня назад, и она понятия не имела, что Евы нет в Москве. В общежитии Ева вообще не засиживалась. Редко там ночевала. Приходила переодеваться, менять вещи, сдавать постельное белье в прачечную. Все считали, и Клу в том числе, что Ева живет большей частью в общежитии у Джакомо или с Джакомо у его тети Веры. Хотя Клавдия кое-что знала о других ее похождениях, например, о ее романе летом после третьего курса с Жаном-Мари, журналистом, с которым она познакомилась в самолете по дороге домой, в Варшаву, и из-за которого она приехала в Рим к Джакомо на три недели позже, чем они договаривались, и Джакомо прилетел в Варшаву, поговорив в очередной раз с нею по телефону, а ее родители сказали ему, что она уже улетела в Рим. Он вернулся, а ее там еще пять дней не было. Жан-Мари был женат, у него было трое детей, Ева была замужем, и это у них считалось в порядке вещей. "Я бы все равно никогда не вышла замуж за этого человека, — говорила Ева со своим милым лепечущим картавым выговором, — но поспать с ним очень интересно, он в этом понимает толк, не то что Джако." Клу почти с благоговением выслушивала подобные реплики Евы, потому что представляла себе, каким же она, с ее советским воспитанием, должна быть профаном в этом вопросе даже по сравнению с бедным Джако, особенно в те времена, когда она толком еще не представляла, откуда дети берутся и зачем замуж выходят. Самым главным в вопросе любви представлялись ей цветы, с которыми приходят на свидание, и билет, который тебе покупают в троллейбусе. А это было очень приятно и ожидалось с замиранием сердца, что остальное — еще приятнее.

Но и это было теперь от нее очень далеко. Она не понимала, к чему стремилась Ева, чего ей нужно было. Хорошо, она говорила, что в Польше тускло, мрачно,

одна бесконечная борьба, как скорпионы в банке, а жизни никакой, и не предвидится ничего, кроме очередного повышения цен, очередного решения партии и очередной забастовки. Но вот она вышла замуж за Джакко, вырвалась в мир, а ее продолжает точить какой-то червь поиска. Поиска чего? Джакко, по старым представлениям, из графской семьи, и Ева, можно сказать, теперь графиня, Джакко очень хороший, нежный человек — джентль, как говорят англичане, сугубо мирный, артистичный... С ним очень интересно — в мире кино, мыслей, искусства. "Чем кончается Макбет? — рассказывает он, смеясь. — Вы представляете, перед экзаменом, уже перед самой дверью вдруг как вцепится в меня и говорит: "Джакко, быстро, чем кончается "Макбет"? Я ему говорю — не кончается он, не кончается, по сей день на улице стоит, спроси у моей тети. А он мне: Ты понимаешь, старик, я из Воркуты, после армии... Там даже библиотеки порядочной нет, понимаешь..." Джакко все читал, абсолютно все — Адорно и Ортегу-и-Гассета, Ясперса и Хайдеггера, Бакунина, Бердяева, не говоря уже о Фрейде. Он сделал на третьем курсе курсовую работу, этюд, одночлестевку — идет по улице демонстрация со знаменами, с бумажными цветами, с воздушными шарами, с лозунгами, и на домах — портреты вождей, абстрактно, не резко — какие именно вожди, не видно, а за окнами, на которых эти портреты висят, в темной комнате сидит у телефона девушка и нервничает. Она встает, подходит к окну, но там ничего не видно, она смотрит слепыми глазами на сквозную ткань портрета, ломает пальцы, доносятся с улицы звуки музыки, и она бросается к телефону и снимает трубку, но там молчание, и она долго слушает это молчание, потом идет в ванну и режет себе вены... Все показано очень эстетично, изображение становится призрачным, призрачным... Ему сказали, что это пижонство и что был бы он не иностранец, ему поставили бы двойку, а так — композиция нормальная, работа с актером и оператором хорошая, смонтировано четко. Ни про что. Клу толь-

ко сейчас поняла, про что был этот фильм. Значит, Джако понимает. Зачем же он вызвал скорую?

Он звонил к себе в общежитие, к ним в общежитие и спрашивал, не появилась ли Ева. Потом заказал международную, попросил Рим и долго говорил с кем-то по-итальянски. Как раз в это время позвонили в дверь. Джако быстро сказал "Чао!" и бросился открывать, и когда он вернулся с врачом и сестрой, Клу поняла, что он ждал Еву. Боже, какой он смешной! Просто дурак.

— В чем дело? — резким деловым тоном спросил врач, оглядываясь вокруг себя в поисках стула. С его растоптанных ботинок на микропорке стекала вода. Клу ужаснуло, что ее сейчас заберут и некому будет протереть Верин пол. — Что такое? На что жалуетесь, — нетерпеливо повторил врач. Сорокалетний московский врач, который, может быть, никогда не выезжал из Москвы, потому что он здесь прописан, разве что в отпуск. Что он думает о жизни? Что он думает о тех вопросах, на которые так неожиданно и так животно, до выворачивания кишок напоролась Клу? Что он думает о боли? Вдруг этот человек, посмотрев на ее зеленые щеки, спутанные рыжеватые волосы, жидко желудевые глаза, трясущиеся руки и рот, все поймет? Вдруг он защитит ее, возьмет под свою компетентную и добрую защиту? Потому что ему станет жалко ее?

— Н-не знаю, — сказал Джако. — Я так и не понял.

Врач придвинул стул, стоявший у стола, и сел. Хозяйский уверенный жест понравился Клу, но не понравилось, что осталась стоять медсестра. Она обратилась к ней:

— Я выпила таблеток... Сейчас мне уже лучше. Только ноги отнялись...

— Каких таблеток? — сухо, с ударением спросил врач. Клу сказала.

— Так. Что сейчас чувствуете?

— Озноб. Сильный озноб. И голова болит.

— Одевайтесь, — врач встал. Клу растерянно оглянулась на Джако. Все ее вещи были в ванной.

— Я... Я не могу дойти до ванной, — сказала она, не попадая зубом на зуб. Сестра сказала Джакко:

— Принесите ее вещи!

— Я не знаю, где ее вещи! — схватился за голову Джакко. — Клу, в чем ты сюда пришла?

— Наденьте на нее что-нибудь, — поморщился врач.
— Все равно что.

“И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.” Кажется, это было как раз то, что ее сейчас интересовало: они, древние то есть, считали, что все от Змия, а Господь Бог тут вовсе даже и ни при чем. Сказал Змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, когда вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающее добро и зло... И сказал Господь Бог жене: что ты сделала? Жена сказала: Змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог Змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пята. Жене же сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою”...

Клу отложила книжку и опустила ноги в тапочки. Вчера утром у нее снова начались схватки, правда, не такие сильные, вполне выносимые, а когда они прошли, она встала на ноги и неожиданно пошла. Значит, можно было и не вызывать скорую, все прошло бы само собой. У нее только и успели, что взять на анализ кровь и мочу. В субботу и воскресенье врачей в больнице не было, и

ей было стыдно находиться здесь и есть. Правда, она почти не ела — не хотелось. И даже не тошнило. Все было будто бы нормально, и даже не верилось, что самое страшное еще впереди. А вдруг они выгонят ее отсюда и не станут делать ей аборт, и у нее родится какой-нибудь урод с обрубками рук и ног, говорили, что и такое бывает от этих таблеток, если они не подействуют и вовремя не принять меры. А похоже, что они не подействовали, и все, что она вынесла, было зря. Ей хотелось расспросить кого-нибудь, но вокруг были чужие. Они говорили о неправильном положении плода, о низком гемоглобине, некоторые из них лежали на сохранении беременности. Все их мысли были направлены на материнство. Когда они спросилси Клу, что с ней, она пожала плечами, мол, сама не знает. Утром они спросили, почему она не идет есть, и когда она сказала, что у нее ноги не ходят, они принесли ей кашу в палату, отвели в туалет под мышки и снова принялись расспрашивать, что с ней такое. Она опять сказала, что не знает.

— Но ты беременная или нет?

— Беременная, наверно, — безнадежно откликнулась Клу. Они засмеялись. Это неприятно поразило.

— Разберутся, — развязно сказала одна из них, бывшая толстуха, видимо, беременная, и возможно, не в первый раз. Клу вдруг ясно ощутила, что все это не для нее.

Им, стало быть, на заре человечества, сразу бросились в глаза и показались странными три вещи: "в муках", "в поте лица" и "в прах возвратишься". Три эти вещи сочли они настолько неестественными, требовавшими какого-то дополнительного объяснения как принесенные в сотворенный мир позже, за яблоко это несчастное, впрочем, оказывается, даже и не сказано, что яблоко, а "от дерева познания добра и зла". Что бы это значило? Разве Христос не "познание добра и зла" нес людям в своем учении? (Евангелия она прочла еще вчера; Джакомо, собирая ее в больницу, положил ей в целлофановый пакет с яркой картинкой тапочки, конеч-

но, Верины, как велела ему медсестра, халат - Верино старое кимоно, зубную щетку, мыло и Библию, старую потрепанную Библию на русском языке, с ятями, Клу даже не подозревала, что у тети Веры такое может быть, все-таки, она коммунистическое чудо-юдо, а если бы даже подозревала, никогда бы не осмелилась попросить.)

Или, может быть, людям не положено вникать, как обстоит с этим делом — с Добром и Злом — на уровне Бога, а то, что им положено понимать под Добром и Злом, и преподавал им Христос?

Но тогда зачем же этому проклятому дереву было стоять в земных Эдемских пределах? Ведь сначала Бог сотворил небо и землю, из глины сотворил Адама, и все, что там происходит, происходит в рамках географии Малой Азии и Северной Африки, даже всемирный потоп... Это, все-таки, тот Бог, который гуляет в Эдемских садах, — Бог явленный, каким и мы видим и слышим его во всяком проявлении жизни, даже и сейчас, в циничных репликах этих в ловушку жизни попавших теток, которые по-своему мстят ему за свои страдания... Наверно, Бог неявленный, Бог вечный и бесконечный — вне Добра и Зла! Звезды не добры и не злы, они — холодны. Единственный индикатор добра и зла — это боль, это отражение в сознании отношений боли, это чисто человеческие мерки... Значит, я свободна в своем выборе в тех пределах, в которых этот выбор не приносит боли ближнему... А зародыш, который во мне, это ближний или дальний? Говорят, в нем уже Вечная Душа... Семя вечности, космическое зернышко Жизни. Но зато я избавляю его от муки существования! Но и от Пути... А я сама, что за Путь я прошла? Понять, что ты живешь в хлеву, на скотобойне, Путь это или не Путь? Я никого не люблю, мне все противны, кроме Евы и Джакомо, может быть, его тети Веры... Да и то... Джакомо и Вера немножко жалки, Ева — страшновата, Алешу я презираю... Его ребенка, от-него-ребенка заранее вижу чем-то ничтожным, бездарным, блатным, недоразуме-

нием... А если у него еще не будет влиятельных родственников — мало ли, как оно может случиться, — так он и вовсе будет каким-нибудь подзаборным алкоголиком, амебой, размазней, каков, в сущности, и Алеша, если снять с него заграничные тряпки, раздеть, так сказать, догола. Нет, это не любовь... Сначала просто казалось. Вот эти самые тряпки, вкрадчивые манеры на фоне всеобщего хамства... А теперь — бр-р-р... А уж теперь — и вообще бр-р-р...

Это просто поразительно, до чего она одинока. Ей даже некому позвонить из больницы (если не считать Алеши, разумеется, но да с ним уже все кончено, это ясно, она даже решила не заикаться ему о том, что с ней случилось — слишком это унизительно, поставить себя в зависимость от его "человеколюбия", чисто внешнего, и хороших мин, лучше взять все на себя. Она не сомневалась, конечно, что Алеша поведет себя "как надо", то есть поставит вопрос и о замужестве, и об аборте, но самое страшное как раз — выйти за него замуж, это и значило для нее кончить свой путь, или Путь?.. Что она может об этом знать... Только Алеша — это угнетение души, она его с трудом выносит последнее время.) Вот уедет Ева, и она останется вообще одна как перст. И, может быть, до конца жизни больше ни с кем не встретится, не подружится. Она никогда не проявляет инициативы — боится неизвестно чего... Высокомерия, наверно. Хотелось бы ведь дружить с теми, кто выше тебя, а они всегда могут посмотреть на тебя сверху вниз. Замкнутый круг, из которого нет выхода. Ева — та сама подлетела к ней на переменке, прелестная маленькая полька в строгом, но по самой последней моде парижском джерси и черных элегантных сапогах — итальянских, конечно. Прическа — класс, густые белокурые волосы, подстриженные коротко-коротко и лежащие безукоризненно, просто непостижимо, как это они умудряются. На курсе больше ни одной человеческой стрижки, кроме Евиной — все какие-то поросычьи самоделки, или вообще трепанные ходят. Сама она тоже ниче-

го путного, кроме давно вышедшего из моды начеса, придумать не в состоянии. Чувствует себя страшной колхозницей. Вообще жить почти не хочется. Того врача, который забирал ее на скорой, она больше не видела.

Клу встала, оправила койку и медленно выпрямилась. Ноги держали ее, хотя дрожали и были немного ватными. Она могла идти, это было великим счастьем, спасибо, Господи, и на этом, пожалел, отпустил, припугнул. В конце коридора было окно, перед которым стояло кресло — в приемные часы на нем обязательно кто-нибудь сидел, даже по несколько человек, а в воскресенье люди просто шатались целый день по палатам. Кресло было занято. Она подошла и тихонько стала у края окна: внизу за пыльными стеклами зеленела пыльная сирень, солнце, жестокое апрельское солнце точно розгами наказывало зрение и даже нюх, — Клу уверена была, что задыхается от пыли. Между кустами вдруг во весь рост встала на хвосте против света довольно крупная гадюка, солнечные искры сыпались от ее боков, простреливая виски, Клу, кажется, успела услышать свой дикий, пещерный вопль и потеряла сознание.

Позже, когда она пришла в себя, у ее постели сидела Ева. Маленькая respectable Ева — белый брючный костюм, очки-"хамелеоны" с поляризованными стеклами — в этой гнусной, грязной больнице, с семечками по воскресеньям, в которой даже не было горячей воды и ванны на этаже, а тетки, или бабы, как они сами себя называли, изощрались в мате. Ева сидела, низко над ней наклонившись, и держала ее за руку. Когда Клу открыла глаза, Ева поцеловала ее в щеку и засмеялась.

— Ну? — сказала она. — Ни жива, ни мертва?

— Ева! — воскликнула Клу, и глаза ее наполнились слезами. — Где же ты была? Джако опять метался тут как безумный...

— Я же не виновата, что он дурак, — нахмурилась Ева, и Клу пожалела, что сказала не то, что надо. — Я была у Веры, поехала проведать ее, чтобы не скучала.

Посмотреть на природу. Я природу сто лет не видела. В Москве, как в каменном мешке, все давит, жжет подошвы... Я в ней долго не выдерживаю, — она затараторила, как всегда, быстро, то прикладывая указательные пальцы к вискам, то стуча ими по своим ключицам, то разводя в воздухе над головой. — Я знала, что она древняя, но не представляла себе, что она до такой степени разрушена, не представляю, чего вам бояться атомной войны... Хуже не будет. Может, даже лучше. Этаназия — это достижение цивилизации. Как и таблетки от беременности, которых у вас нет... Прости, я очень жалею тебя. Это ужасно, какая ты чувствительная. Люди ведь не одинаково чувствительны к боли, ты знаешь? Плохо физиологи учишь... Вообще, тому, что действительно надо, нас не учат. Но я много читала на эту тему. Даже народы в этом отношении разные. Я думаю, ты просто перепугалась. Не надо было ехать в больницу. Дужко дурак. Ну ничего. Как ты сейчас?

— О, Ева! — Клу взяла ее за обе руки, летающие в воздухе. — Давай выйдем, — шепнула она ей. — Помоги мне встать.

— Нет, нет, нет, — так же шепотом сказала ей Ева. — Говорят, у тебя только что был обморок, перед моим приходом. Даже побежали за сестрой. Просто она еще не пришла.

— Да... — Клу откинулась на подушку. — Я не помню, что со мной было... О-о-о-о! Вспомнила! Ева! Как ты думаешь, Ева, — она снова приподнялась, чтобы приблизиться, — здесь, в саду, ну, в этом вот не знаю чем, что вокруг больницы, могут водиться змеи?

Ева отпрянула от нее.

— Черт его знает, — сказала она. — По крайней мере, в Варшаве в больницах змей нет, это я точно знаю. Но... А что такое? Ты видела змею?

Клу задумчиво покачала головой. Да. Она ее видела.

— Идем, я тебе покажу, — прошептала она.

Ева помогла ей подняться, и они вышли в коридор. Народ начал расходиться, навещающие уходили домой,

и больные возвращались в палаты. У окна не было никого. Свет в коридоре еще не зажгли, а солнце уже село, и трава светилась под окном среди помраченных кустов и крон, будто красивой картинкой был заставлен торец темного коридора. В просвете между кустами сирени стоял мальчик в полосатых трусах и такой же курточке, смешно прижимая к груди панамку, точно снятую шляпу, и смотрел вверх, на окно.

— Одевают детей, как арестантов, — пробормотала Ева.

— Вот там она и была, — сказала Клу.

— Кто?

— Гадюка...

— Конечно, тебе показалось. Просто нервы. На таком расстоянии разве можно увидеть в траве змею? Да еще вечером.

— Солнце светило всю. Я ее ясно видела. Может, это мальчишки принесли ужа? В детстве я прямо умираю от страха перед мальчишками с их паршивыми ужами. Но таких огромных ужей не бывает, по-моему. Как ты думаешь, почему они их так любят?

— Кто?

— Мальчики.

— Ерунда все это. Им просто делать нечего. Так что они тебе сказали?

— Кто?

— Врачи.

— Ничего. Только взяли анализы в субботу утром, и все. Не знаю, что теперь делать. А вдруг они все-таки еще подействуют?

— Кто?

— Таблетки.

— Вряд ли. Они тебе делали промывание?

— Нет, не делали.

— Идиоты.

— Так что сказал тебе Джакко? — они уселись вдвоем в кресле у окна, как сидели здесь недавние посетители,

и Клу охватило вдруг чувство уюта и устроенности, несканзанно ее удивившие.

— Ну что он мог сказать? Все мальчишки кровавые в глазах. Параноик.

— Это же от избытка любви!

— Но жизни-то никакой. Вырвалась из одной тюрьмы, попала в другую. Уйду от него сразу же, как только окажусь на Западе. Пусть, если хочет, будет моим любовником. Но никак не мужем.

— Но ведь в Италии трудно с разводом?

— Это так в старых фильмах показывают, сейчас совсем другое дело.

— Он тебя убьет когда-нибудь.

— Он же гуманист! Знаешь что, по-моему, ты сама в него влюблена, вот бы вас поженить...

Клу промолчала. Конечно, если бы она познакомилась с таким, как Джако, до Евы... Все на свете случайно, но почему-то, ощущает она, у нее нет никаких шансов на подобный случай. Одна из титулованных героинь Диккенса поучала свою племянницу, или воспитанницу, что ли, что замуж, конечно же, надо выходить по любви, но любить надо в том кругу, где деньги... Что-то в этом роде. Она же вообще вне круга, Алеша не в счет. Он с курса, на котором трое мальчиков, и с ним все кончено.

— На-ка вот, съешь шоколаду, — Ева достала из сумочки три шоколадки и пачку "Сэлема". Шоколадки были фэергешные, и Клу подумала почему-то, что вряд ли Ева могла их привезти из подмосковного дома отдыха для старых большевиков.

— Не хочу, — сказала она, отодвигая их рукой, как плохо воспитанный ребенок. Ева бросила все это ей в подол.

— Завтра позвони мне сразу же после обхода. Я буду ждать твоего звонка у Веры. Сразу на аборт не соглашайся, это будет очень болезненно. Попроси отложить его хотя бы на неделю. За это время я попробую тебе достать столько новокаина, сколько нормально требуется, и задружу с врачом. В случае чего, дам им на лапу.

Или подарю блок американских сигарет. Все будет о'кей, не трусь. Только не поддавайся. Ну, попроси, заплачь, скажи, что плохо с сердцем. Поняла?

Клу кивнула.

— И сразу же мне позвони!

На следующее утро на обход пришел еще один новый врач — не тот, что забирал ее на скорой, не та полная женщина с сочной выпуклой родинкой на подбородке, которая осматривала ее вечером в пятницу, видимо, то была дежурная, а теперь появился лечащий врач, который будет, видимо, разбираться с нею уже до конца. У него было желчное лицо несчастного человека, сальные немытые волосы, и его несвежий мятый халат казался засыпанным перхотью. Это почти обрадовало Клу, потому что стыдиться такого врача можно было лишь в минимальной степени. К ней он подошел в последнюю очередь — ее койка была крайней слева.

— Так, — сказал он, присаживаясь на кровать и перебирая бумажки в папке, которую принес с собою. — Фамилия.

Клу сказала. Он еще что-то искал, и вдруг лицо его приняло злое, возмущенное выражение.

— А, это вы, — злобно прошипел он. — Нет у вас ничего. Нет, и не было никогда, понятно? Немедленно убирайтесь из больницы! Там уже выписка готова! У нас по сто человек на место страдающих людей, которым мы не можем помочь, а вы симулянтка, психическая: вам в диспансер надо на учет, и штамп в паспорте! Вставайте! Вы хоть мужчину когда-нибудь видели ближе, чем на танцах?

Палата разразилась хохотом. Клу трясло, она опять стала вся мокрая, как там, в ванне. Все расплылось перед ее глазами, она хотела опустить ноги в тапочки, но с этой стороны койки сидел врач, и она опустила ноги на другую сторону, на пол. Попытавшись встать, она снова почувствовала, что ноги почти не слушаются, но решила не заикаться больше ни о чем и выбраться

поскорее отсюда, туда, к Еве, которая все знает и все ей объяснит.

— Ну и блядь! — среди всеобщего смеха воскликнул кто-то, и постепенно до Клу дошло, что это шутка.





Родилась и живу в Москве. Писать начала с 1-го января 1979 года. Встретила Новый год, сложила дорожную сумку и в автобусе-экспрессе уехала в Пушино-на-Оке. Была многоснежная зима, лес со снегирями, а я почти не выходила из номера академической гостиницы. За два месяца написала три рассказа, каждый в лист. Все они были вскоре напечатаны. В 1988 году в "Советском писателе" издала книгу повестей и рассказов. Переводилась на другие языки. Кроме литературы занималась и продолжаю заниматься славистикой.

ПОТЕНЦИАЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

— Над людьми, которые ведут беседу, вообще разговаривают друг с другом, не зависимо кто есть кто, потенциал их возможностей.

— Это как нимб что ли, папа?

— При чем тут нимб? Потенциал возможностей. Сегодня в ЦДРИ я обедал с тенором. Он только что вернулся с гастролей по Испании, а мы с ним разговаривали на равных. Я запел по-испански: ля-ля-ля та-ли-ля-ля-ля... Он говорит: о-о! А он знаменитый тенор. Только из Испании. И говорит: о-о!

— Папа, а как ты нам танцевал тогда!..

— А? Кто? Я? Вот видите, танцевал. И могу петь. Потенциал возможностей. Вот, например, Фернандо де Ла Сантес. Его все уважают, хвастаются знакомством с ним. А чего он добился в жизни по стандартным меркам? Ничего. И в то же время он добился всего. Хотя он ничего и не добивался, просто жил и делал то, что умеет делать. Но он может гораздо больше. У него огромный потенциал возможностей. Единственный из тех, кого я уважал, продолжаю уважать и в кого я верю.

— Когда мне было двенадцать лет, Фернандо де Ла Сантес учил меня рисовать, да, пап? Я ведь всем обязана ему. Если бы не он...

— Лене Матюшину надо было уметь играть на гитаре, и я устроил Фернандо де Ла Сантесу через Министерство культуры персональную выставку, и он приходил и учил меня, Андрея и Леню Матюшина играть на мандолине и гитаре. Но самое странное знаете что? Когда я ему сказал: Фернандо, понимаешь, у меня, по-моему, нет таланта. Ну что ты, сказал он, ты же по нотам уже играл. Он не понял одно: я играл по нотам от своей бездарности. Если я по нотам не сыграю, я не сыграю никогда. А у него слух уникальный. Отец учил его играть с пяти лет на флейте. А потом он в детском доме играл на мандолине. А потом играл на кларнете, и его персонально порекомендовали поступать в Гнесиных. Но он не поступал. А я поступал. Пел "Дубину". Не поступил. Потом он учился в... в... ну, Палех... пять лет. И перед дипломом бросил. Зачем он мне? — сказал. А у меня наоборот. Я половину не учусь — диплом. Он учится полностью — от диплома отказывается. Парадокс отношений. Хотя он — да что говорить! — талантливее меня. Но я более силовой. А к Коненкову мы ходили вместе. Где магазин "Армения", по распоряжению Молотова Коненкову дали весь второй этаж. Мы пришли — выходит француженка. Такая молоденькая, грудь... Два испанца? — говорит. Сейчас доложу. Обязательно приму, — сказал Коненков, — но через год — через два. Я пока не освоился. Ничего, сказал Фернандо де Ла Сантес про грудь, если на глаз посмотреть.

— Папа, он и на меня так смотрел, когда мне было семнадцать. А я ведь родилась у него в доме, да, мам?

— Да. Когда я беременная тобой, вот с таким животом, уезжала из Испании в Россию, отец сказал: я приползу к тебе.

— Не будь идиоткой...

— Подожди. Я ехала через Париж, и меня все пугали: вы родите во французском роддоме, ребенка у вас заберут, отдадут во французский детдом. Наш советский консул дал мне комнату в гостинице, которая была забронирована на пять дней. Кипяченая вода стояла там

четыреста пятьдесят франков. Через пять дней меня оттуда выкинули. Куда мне деваться? Французский не знаю, ничего не знаю. Испанский немного знаю. Я обозлилась, собрала вещи, мне испанцы, ребята, помогли, и пришла в посольство. В Париже — я иду с пузом — все машины останавливаются, шоферы выходят, дают мне зеленую улицу. Тогда рождаемости у них не было. Пришла с вещами в посольство и говорю: Ну вот, все! Я отсюда никуда не уйду, пока вы меня не устроите. Я советская гражданка. Не нужно меня пугать. У меня паспорт остался, комсомольский...

— Не будь идиоткой!

— Подожди. Он меня пугал. Потом его выгнали. С усами такой был, небольшой. Я говорю ему: я никуда не пойду, вы меня обязаны устроить. Я здесь буду спать у вас и все. Он меня тут же посадил в машину, повез и устроил в пансион, в гостиницу, хозяйкой которой была испанка. Дали мне маленькую комнату, кухонька там была, посуда. И я ходила, покупала вермишель и мясо и варила обед.

— Не будь идиоткой.

— Подожди. Я — москвичка, живу всю жизнь в Москве, но если я нервничаю, я могу проехать мимо. Но как я могла, я теперь думаю, беременная, поехать в Испанию, а потом одна в Париж. Во-от такой живот! И одна все там, одна жила... Как во сне. Отец дал мне денег, конечно.

— Я, наверное, поэтому такая легкомысленная да, пап?

— Какие картины ты даешь на осенню выставку? "Белый замок"?

— И "Голову быка".

— Через пятнадцать дней я приехал в Париж, а ее уже отправили через Чехословакию, но все ее хвалили. Мне сказали: какая у вас жена! Молодец!

— Вот хлеб ломай, я еще отрежу. Яблоко...

— А Жорик мне из Парижа привез жвачку, Эйфелевую башню вот эту и трусики, да, мам?

— Но и тут! Они меня могли отправить беременную до Москвы. Но они и тут сэкономили. Они меня отправили самолетом до Праги. А там меня встретил один из посольства. Тоже фраер какой-то. Взял у меня деньги, купил водички и еще чего-то и обманул. Чего-то не принес. А потом я, беременная, ехала в сидячем вагоне, и какой-то мужчина, серб, со мной сидел и так меня жалел. Приносил мне что-то, ухаживал за мной. Я даже не помню что. А все очень дорого стоило. В Москве я жила у тети Стаси. Восемь метров комната. Она еще с мужем разошлась, и у них там шкаф стоял и диван. Сажу на Преображенке, где Богородское кладбище, стук в дверь. Приходит Фернандо де Ла Сантес.

— Я ей сказал: если что, обратись к нему, как ко мне. Он все сделает, и дал адрес.

— Я ему написала. Он приходит и приносит целый чемодан продуктов и деньги. И говорит: если что надо... А мне рожать сегодня-завтра. Я уже месяц переходила. В Испании и в Париже врачи сказали, что должна родить вот-вот. И вот я сажу на Преображенке и говорю: пойду встречать мужа. Она: ты совсем чокнулась? Откуда ты знаешь, когда он приедет? Может, он через месяц приедет, может, через два месяца, может, через полгода.

— Нет, говорю я, тетя Стася, я иду сегодня. Это был Космос. Да ты что, говорит она, мало ли что может случиться? Может, он через три месяца приедет, может, вообще никогда не приедет. И я не знаю, говорю, когда он приедет, но, говорю, пойду. Прихожу на Белорусский вокзал. Приходит поезд из Парижа. Идут испацы. Я подхожу и говорю: скажите, пожалуйста... и называю фамилию. Он в последнем вагоне, говорят. Вот. Пошла и встретила. Точно, что-то из Космоса было. И месяц переходила, ждала его. У меня в Париже были схватки страшные. В номере я ползала. А он приехал — и я родила, на второй или на третий день. Он приехал, пошел в Главк, пришел из Главка, а я говорю, что-то я не могу ничего делать. Он побежал, купил горошек. Я лежала, у меня схватки, он меня кормил, лежа...

— Не будь идиоткой! Мы с Фернандо де Ла Сантесом пошли в кафе-мороженое в высотном здании, сидели там и ждали.

— Подожди. Я говорю: я уже не могу. Мне уже плохо, давай поможешь. Он принес ведро. А теперь одевай меня. Мы уже на Герцена у Фернандо де Ла Сантеса жили. Комната шесть метров. Надевай мне чулки, говорю. А он не может. Он такой бледный был, — позвали соседку. Соседка мне надела. Надо трусы, чулки, резинки... А мне плохо, схватки... На Арбате это было, в Грауэрмане. Меня везут наверх, а я очень кушать захотела. И вдруг я слышу их голоса, отца и Фернандо де Ла Сантеса. Они мне что-то принесли, что-то неприемлемое — колбасу или чего-то такое, что для беременных нельзя. А мне так плохо. Мне говорят: еще не рожает, а рожать будешь — что будешь делать? Я говорю: я терпеливая, мне просто очень плохо. Они спрашивают всякие данные, туда-сюда. Потом пришла врач, говорит: быстренько в родовую, на стол. Я так боялась. А врачиха молодая, годика на два меня старше. Если мне двадцать два было, то ей, может, года двадцать четыре. Говорит: я от вас не уйду, только меня слушайте. Я три раза вздохну и потужусь. Три раза вздохнула и... Я даже помню, как ты из меня выскочила, как пяточкой от меня оттолкнулась. Мне тебя показывают, такая страшная. И фиолетовая, как коробка спичечная, какашка на попке. Длинная такая. Оказывается, они там испражняются. Говорят: девочка! Я давай смеяться. "Мама, почему вы смеетесь?" А я лежу и умираю от смеха. Хохочу. Они говорят: ваши роды надо было показать на Красной площади. Я говорю, я смеюсь, потому что — что подумает мой муж? А он мне пишет благородно: я даже рад, что девочка... ничего, что девочка... Я даже очень рад. Он же благородный! А мне потом все снились маленькие мальчики. Я сделала двадцать четыре аборта, и мальчиков было пять. А тогда они с Фернандо де Ла Сантесом с горя пошли пить шампанское с мороженым в кафе на площади Восстания.

— Да, это было на Арбате, на Герцена, в коммунальной квартире в комнате шесть метров. Там жил у Фернандо де Ла Сантеса Илья Глазунов, когда приехал в Москву, и ему с женой негде было жить. Тогда Фернандо де Ла Сантес увидел в нем талант, оставил Глазунову свою комнату, сам ушел к друзьям. Глазунов писал в ней заказные портреты, а кисти вытирал о шторы Фернандо де Ла Сантеса.

Я, когда встретил Глазунова, сказал ему про эту комнату на Герцена. Он дал визитку и сказал: когда я вам нужен буду... всегда к вашим... Но зачем он мне? Фернандо де Ла Сантес теперь его не уважает. Да не в этом дело. Хотя все взаимосвязано.

— Не знаю, что мне делать. Позвонил Витя, сказал: рейс такой-то. А я говорю: мне что, тебя встречать в аэропорту надо? А он: а как же! Это что значит? Самолет во сколько, в восемь вечера прилетает? Значит, мне из дома в полшестого, что ли, выходить? Сейчас сколько, мам?

Нет, он, Витя, очень хороший, положительный. Он на мне жениться хочет. Но я уже от него за месяц с Жориком отвыкла. И потом, я замуж не хочу. Не для меня это. Мы с Витей сколько жили? Пятнадцать дней? он уже говорит: ты могла бы бутерброды с сыром в духовку поставить. А я говорю: а я не хочу! И что же? Он встал и поставил сам. А дальше что будет? Мужчине все равно надо все подавать. А Жорик — гусар. Он такой же, как я. Я его люблю, мы с ним уже три года. И он тоже художник. И я от него ничего не скрываю. Мы с ним вчера попрощались. Он знает, что Витя приезжает. Он только говорит: не выходи больше замуж. Если тебе надо быть замужем, давай распишемся. Только замуж не выходи. А про моих мужчин он про всех знает. Я ничего не скрываю.

— Слушай!.. Твоя дочь... такая...

— Подожди. Хочешь салата еще? Я сегодня вермишель купила, два часа в очереди простояла. Может, вермишель отварить?

— Какая еще вермишель? Ты что, мама!

— У нас с Фернандо де Ла Сантесом был такой случай. Мы работали на улице Горького, облицовывали гранитом нижние этажи магазина "Ткани". Я Фернандо де Ла Сантеса кое-как уговорил, и мы пришли. Овсянников, бывший начальник треста, говорит: я вам создам все условия... Мы поставим голландки... А кончилось чем? Мы с Фернандо де Ла Сантесом пришли, взяли инструмент, сказали: ну, будем идиотами, давай работать. И начали работать. А был мороз двадцать-двадцать пять градусов. Но это нас не смущало. Но ни одной голландки нет. И мы работали на улице по граниту, как эти... как фэзэушники, которым требовалось полгода обучения. И мы обрабатываем этот гранит и смотрим друг на друга и говорим: мы что, и дальше будем так работать? Бить этот гранит? Мы не о себе беспокоились. Но там же были мастера по квалификации намного выше. Они-то имели право на варежки и чтобы руки греть. Комсорг сказал: а мы подумали, что вы пришли и сейчас сагитируете! "Пошел ты..." — мы поднялись — а мы трудиться не прочь — взяли и ушли. Потому что они элементарно не соблюдали... И на этом все закончилось.

— Папа, Фернандо де Ла Сантес сказал, чтобы понять икону, надо самому написать икону хоть один раз. Он обещал придти и научить меня. Ты будешь с нами писать?

— Я? Нет. Ты пиши сама, а я — нет.

— Почему?

— Потому что... потому что... Когда мы писали в Подольске этюды, Фернандо де Ла Сантес мне говорил: чего ты не пишешь? Мне всегда не хватало терпения — волосы или там еще что довести до конца. Рисунок я еще могу сделать, а вот фрагменты: листья там или... В этом

я отличался от Висенте, который на дипломе дал Ленина, а я дал Пушкина. Директор из-за поведения запретил мне делать дипломную работу. А Бугров, старший мастер, говорит: вот тебе ключ, будешь приходить втихаря и работать! Этому — Ленина, комсоргу — Сталина, а ты уже третьим, Пушкина. Что же? Приходил.

— Видишь, какой характер у отца: ночью приходил. Ты будешь доедать?

— Вот это?

— Вот это, от курицы.

— Это — обязательно. А это — отдай Ланочке. Да, приходил. И пел, и танцевали, и в кино... И хлеб продавали... И Пушкина делал. И вот — выпускной. Там — Сталин, Ленин и Пушкин... И что же? Они идут и нарываются на моего Пушкина первым. Он где-то в конце стоял, и они решили, давай начнем оттуда. И открывают. А я, как сволочь, еще и выбил на камне свою фамилию. Директор говорит: ну, раз отсюда... Это тоже наш мастер спорта по гимнастике... ведущий наш ученик... Пушкин... А комиссия из министерства. А Бугров, старый мастер, ему семьдесят пять лет, стоит и говорит: это наш воспитанник с тридцать седьмого года, из детского дома. Потом мой Пушкин попал в Германию в сорок девятом году, был в Берлине на выставке. А Толстого я сделал из белого камня. А белого медведя из белого мрамора. Почему-то почувствовал: белый медведь и белый мрамор. Его украли с подоконника в мастерской. А блюдо, тоже из мрамора, голубого, уральского, купили за тысячу с чем-то рублей старыми. И вазу с грифоном за семьсот пятьдесят. Но мне всегда не хватало терпения — волосы у Пушкина или еще что-то, листья на вазе довести до конца. Их за меня отделявал кто-нибудь из девушек.

— Это чья чашка? Твоя?

— Нет, это моя...

— Кому чай? Тебе что?

— Мне — кофе.

— А мне, мама, чай.

— Упрямая с детства: я сама... я сама... Два годика было. Сажая на горшок: я сама! И не писает, сдерживается. Как могла терпеть! "Я сама!.."

— А Висенте потом все картины Фернандо де Ла Сантеса увез в Испанию, как свои, и в Мадриде сделал персональную выставку. Фернандо де Ла Сантес полгода не забирал их с выставки в Москве, и Висенте увез их вместе со своими.

— Ой, не могу, мне плохо. Я не хочу Витю видеть. Я хочу еще раз Жорика увидеть. Я позвоню ему насчет магнитофонного шнура. Пусть он Генке, своему другу, дозванивается, я не могу дозвониться.

— Привет! Это я, Жорик, я не могу Генке дозвониться, его все время дома нет. Мне плохо, очень плохо. Я тебя люблю. Да брошу я Витю. Люблю-то я тебя. Сейчас выходишь? Ну ладно...

— Мы с Фернандо де Ла Сантесом видимся сейчас редко. Он одинок абсолютно. Нет для него уровня. Свое одиночество он может одолжить кому угодно. Его рвет им через край. Но... он и не одинок. Живет своей жизнью. Как хочет. И никогда не заменит вечер со своими мыслями на вечер... ну... например, с сыном Джины Лолобриджиды.

— Он что, папа, в Москве?

— Кто? Фернандо до Ла Сантес?

— Сын Джины Лолобриджиды.

— При чем тут сын! Я не знаю, может, и в Москве. Я так сказал.

— А мне интересно.

— В Испании, когда я отправил мать, тетя позвонила известному скульптору с итальянской фамилией. И он говорит: у меня большой заказ — дал кардинал в Мадриде, и мне нужен старший над группой. Через десять дней приходите, будет контрольная работа. И он познкомил меня с учениками. Я выбрал того, кто был постарше. Он, наверное, хочет, чтобы ты закончил алтарь, говорит ученик. Я смотрю, а там цепочка из мрамора,

каждое звено отдельно друг от друга. Пока в гипсе. Я как посмотрел: какой старший! Мне самому нужно еще учиться. Я взял и ушел. А в Сан-Себастьяне меня познакомили с директором крупнейшего в Европе кладбища. Я попадаю на обед, и хозяйка виллы, вдова такая-то, и хозяйка этого кладбища — подружки. И я жду, когда она придет. Я сижу на балконе буквой "П". Внизу фонтан и голая женщина. Совершенно голая, из мрамора салатového цвета, и на ней шелковая прозрачная ткань. Какая работа! Правда, я понял, как это делается. Оставляется мрамор немножко крупинками, а потом полируешь и сверху блеск. Если плохо мрамор обработать, а потом отполировать, то все это остается внутри. А сторож говорит: сейчас придет Родригес, я тебя с ним познакомлю. Будешь работать с ним. И говорит: знаешь, кто сделал эту работу? Этот Родригес... А у меня Пушкин. Все думаю: Пушкин... Пушкин! Толстой. И все. Вдруг идет молодой человек, бледный такой. Немного старше меня. Мне тогда было двадцать восемь, ему, может быть, тридцать. Вот это скульптор, говорит сторож. С ним ты будешь работать. Я пока посижу, говорит скульптор, подожду хозяйку кладбища. Но не кладбища, как мы понимаем, а мраморной мастерской. И я сижу. И эта женщина — голая. Го-ла-я! И этот шелк на ней. И все насквозь.

Я встал, вышел на улицу. И как раз мой брат двоюродный выходит и говорит: ты что? Я говорю: бегом отсюда! Да ты что! Разве я могу здесь работать? И уехал. А потом он мне звонит: я разговаривал с ним, он говорит: почему его нету? А я говорю: да разве я могу с ним работать?! Да дурачок! Ты начал бы с ним понемножку, признался, что практики нет, и ты бы пошел и пошел... Вот эта боязнь: с каким мастером я имею дело! А Лукарини! Ему кардинал в Мадриде... Тетя говорит: мой племянник — скульптор. Я приезжаю: у него пятнадцать учеников. Пятнадцать учеников! И вилла такая... скульптурные работы... Ты у меня будешь старшим, говорит. Ты где работаешь? Я говорю, я работаю там-то, масте-

ром по мрамору. Ты будешь старшим. И подзывает парня восемнадцати лет. Он, говорит, будет тебе помогать. Он — помоложе. А они уже с восьмью лет у него ученики. Я говорю: покажи свою работу. А какую работу я должен буду делать? В общем, там такие скульптуры! И цепи мраморные все друг от друга свободны. Но они пока в гипсе, а нужно из мрамора сделать. Потом он показал мне свои работы. И ты, говорит, здесь будешь старшим. Я как посмотрел... Он поговорил со мной: ты, говорит, мне нужен. Я еду на неделю в Мадрид, ты пока знакомься с работой. Потом я приеду, мы заключим контракт и так далее. И уехал. Потом тетя звонит: чего ты ушел? Да ты что, говорю, мне до них еще учиться и учиться. Ты — взрослый человек, говорит тетя, который видел мир. Ему нужен человек с возрастом, со стажем, который их организовал бы. Ты бы вникал в их работы. По своим способностям ты их догнал бы. А пока ты их держал бы, они же мальчишки. Что он, этого не видел? А уже все. Вот этот страх. Все время страх перед решением.

Или меня вызывает хозяин, где я работал по мрамору. В центре Бильбао на главной площади банк. Самая главная площадь. И говорит: вот на этой стене гранитной нужно сделать испанский герб. Прямо в стене. Пять на шесть метров. Леса поставят, говорит. Я тогда получал четыре тысячи песет, это все равно, что сейчас сто пятьдесят тысяч песет. А тут сразу я получаю пятьдесят пять тысяч. Это фактически за год зарплата. А я боюсь. Потому что по мрамору я работал, а по граниту у меня мало практики. Так... на улице Горького. И тогда я решил найти Эмилио, тоже скульптора. Русский бар в Бильбао находится в доме, где жил мой дедушка. В нем самая фаланга — местная власть. И как раз наш, русский, называется. Я ищу там Эмилио — его нет. Я его ищу — он меня ищет. А сам я — боюсь. Был бы Фернандо де Ла Сантес, мы бы... С Фернандо де Ла Сантесом мы кругом: и на Андроновке, и в Подольске. Любые работы мы брали и делали. А тут я один. Как? Что? И вот я ищу

Эмилио, а он ищет меня. Хозяин видит, что я что-то темню. Давай, говорит. Леса нам надо поставить. Когда ты возьмешься за работу? Да я не могу найти... Кого? Да своего земляка из Москвы. И, короче говоря, он понял, что я дрейфлю. А представьте себе, сделал бы я в центре Бильбао, столице Гаскони, этот герб испанский. Все! Я бы на всю жизнь был бы обеспечен. Не потому, что мне заплатили бы за год зарплату, а потому, что я пошел бы по рукам. Но опять страх. И не плохой я мастер, а вот...

— Но зато потенциал возможностей, папа.

— Да. Потенциал возможностей. Я вам говорил? Сегодня в ЦДРИ я обедал с тенором. Я запел по-испански: ля-ля-ля, та-ли-ла-ля-ля... Он говорит: о-о! А он знаменитый тенор. Только из Испании. И говорит: о-о! В Мадриде, там где барахолка, я однажды ночью попал в заведение совсем не богатое, абсолютно рядовое. Окна и двери были занавешены там бамбуком. Но приходили туда богатые и, как в Индии, занимались меди... меди... ну, новое явление теперь...

— Медитация, папа.

— Дело в том, что приходят туда эти богатые люди и доводят себя до экстаза. Знают, что здесь это можно. Например, женщина-аристократка в декольте. Конечно, она с тобой спать не пойдет, просто можешь с ней танцевать, смеяться, чувствовать себя свободно и абсолютно раскованно. Они оч-чень свободны. Поют и танцуют, и никто не обращает ни на кого никакого внимания. И я вдруг захотел петь "Дубину". Я говорю: мне аккомпаниста! И мне нашли русского мужика, с баяном, который мне саккомпанировал, и я спел "Дубину".

— Хорошо спел, пап?

— Да, хорошо. Тем более, что был в экстазе, и тем более, что был трезвый:

— Много песен слыхал я в р-родной стороне, и по радости — горю их пели. Из-тех-песен-одна-в-память-врезалась-мне, это песня р-рабочей артели-и-и-и-эх!..

— А мне, папа, в Измайлово на вернисаже предложили за "Белый замок" полторы тысячи. Но я не отдала. Не хочу. А за "Голову быка" — семьсот. Но я тоже не отдала.

— Ты мне этого не говорила. Когда ты там была?

— Не помню. В прошлой выходной. Или в позапрошлый. Какая разница!

— Чтобы это было в первый и последний раз.

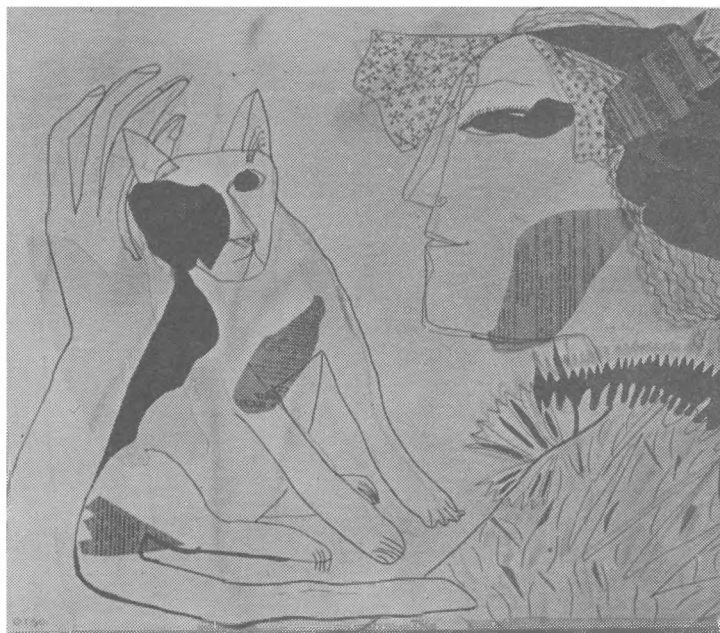
— Не рублей, папа. Долларов.

— А? Что?

— Полторы тысячи долларов. За "Белый замок". Но я-то цены на Западе знаю. "Белый замок" стоит минимум пять.

Ну, как я? Красный свитер и красные брюки с серой курткой. Нормально? До "Внуково" сколько ехать? Как лучше? До "Юго-Западной", а потом экспрессом? Я подумала: ну и что? Три дня... Мужик он отличный. А больше Жорику я изменять не буду...





**«На взгляд
феминистского жюри...»**

На взгляд нашего феминистского жюри, которое учредило свои поощрительные призы для участниц этого Конкурса, существует ряд определенных требований, предъявляемых обществом к тому, что сейчас означает БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ. Общество жестко контролирует эти требования, и даже для творческой личности выйти за их пределы весьма трудно. К сожалению, большинство из представленных на конкурс рассказов содержат в себе эти стереотипы. Героиня, как правило, выступает как существо постоянно возобновляющее ситуацию своего унижения и страдания. Эта позиция — быть постоянно подавляемой — как бы принимается в качестве естественной роли женщины в обществе. В рассказе “Прощальная симфония”, к примеру, отношения между дочерью и оставившем семью отцом под воздействием предрассудков о женской добродетели приводят к утрате героиней самостоятельности и обесцениванию своей жизни. Здесь присутствует вся палитра традиционной оценки женского предназначения: грех героини — это аборт, развод с мужем, искупление — отказ от профессии, а ее достоинства — это работа сиделки, затворничество, принесение в жертву всех своих духовных и эмоциональных потенций. В итоге жизнь героини оказывается совершенно никчемной.

В то же время во многих рассказах содержится и смутное чувство неудовлетворенности таким положением. Но этого мало: для подлинного переосмысления этих вопросов нужно выявить позитивный культурный потенциал феминистского менталитета. Это достаточно сложно, поскольку по поводу феминизма существует множество предубеждений и неверных суждений. Попытки выявить авторов, стоящих на подлинно феминистских позициях, среди участниц конкурса, были сопряжены с большими трудностями у нашего жюри. Поэтому наше жюри решило не присуждать первой премии. Вторую премию получил рассказ Ольги Лобовой ("Ленины сны"), две третьих — рассказы Ольги Ложкиной ("Первый") и Л.обови Романчук ("Кибер").

Героиня рассказа "Ленины сны", Васса, по-нашему мнению, это женщина, преодолевающая комплексы никчемности и ущербности. Более того она принимает на себя ответственность за свои поступки, создает свой жизненный стиль. Счастье для нее — не подчинение общественным предрассудкам и табу, а свободное выражение своей личности, утверждение собственного "я".

Рассказ "Первый" привлек наше внимание тем, что он достаточно рельефно выявил ложность самооценки героя (повествование ведется от лица мужчины), размышляющего об отношениях с любимой женщиной.

Как аллегория воспринимается и рассказ "Кибер" нашего третьего призера, который демонстрирует все возрастающий конфликт между требованиями реальной жизни, изменившейся ролью и значением женщины в обществе и абстрактно-технократическим типом патриархальной цивилизации.

Но все же, несмотря на некоторые удачи, нужно признать, что Конкурс не выявил ярких в феминистском отношении произведений. Может быть, есть смысл объявить специальный конкурс на эту тему? Однако это дело будущего.

*Диана Медман,
президент женского клуба "Преображение"
председатель феминистского жюри.*



Школа, институт, замужество, рождение дочери — пожалуй, основные внешние этапы жизни. Работала сначала инженером, потом преподавателем. Не писать не могу, это как дышать. А, может, это искус прожить много разных жизней, кроме своей. Высшая ценность для меня — общение с людьми. С живыми или через оставленные ими книги. Наверное, о себе — все. Остальное, что хотела бы сказать — в рассказах.

ЛЁНИНЫ СНЫ

Леня резвился, шутил и хохотал, достигал кое-каких вершин в работе, романчики у него всякие были, пока в таинственные тридцать три года вдруг — ни с того ни с сего — не пережил инфаркт. Долго после этого Леня нянчил себя, как ребенка, не пил, не курил и от женщин откровенно бегал, а потом, естественно, жизнь взяла свое. И хотя врач предупредил Леню о необходимости соблюдения строжайшего режима, и Леня испугался, конечно, но время шло, кардиограммы раз от раза заметно улучшались, и Леня то по праздникам рюмочку-другую начал пропускать, то с другом, заядлым курильщиком, табачком баловался, то романчик у него наклюнулся, и он не смог отказаться от плотских радостей, а потом и вовсе стал забывать про свое раненое сердце. Но однажды опять вдруг сильно кольнуло и долго потом поднывало, — и Леня понял, что хватит безалаберной холостяцкой жизни, а надо жениться: тогда поневоле и рюмочки ему ограничат, и табачок, да и любовные игры быстро наскучат, и пойдет спокойная жизнь, на что и намекало его бедное сердце.

Обзвонив друзей, Леня всех озаботил поисками невесты. Трудно сказать, как друзья, а вот их жены радостно встрепенулись: каждая имела хоть

по одной незамужней подруге, которой уж кто-кто, а Леня бы точно понравился.

Леня ездил на знакомства, как на работу, и даже иногда что-то в нем екало, но в общем и целом никто его не сразил. Жены друзей рассердились, и это внесло некоторый холод в их отношение к Лене, но он не унывал и с усмешкой просил шарить по сусекам, даже по самым дальним.

Однажды его свели с художницей Вассой. Та не только сразу перешла с Леней на "ты", но и без всякого стеснения — с первой же минуты знакомства — стала вглядываться в его лицо с поразительной жадностью, а затем, перебив саму себя в каких-то пустяковых дежурных фразах, вдруг заявила с придыханием и почти восторгом, что он просто великолепен в своем типаже пресыщенно-удачливого мужчины, и, не обращая внимания на явное ошеломление Лени ее словами и поведением, потащила его в мастерскую — тут же, в квартире, где, усадив против света, принялась спешно делать углем портретный набросок.

Леня, совершенно оторопев от столь оригинального приема, смотрел на Вассу во все глаза и боялся шелохнуться, но сеанс, по счастью, длился недолго, после чего Леня был приглашен на кухню, где уже допревал в казане удивительной вкусноты плов. Изящно управляясь ножом и вилкой, благодарной улыбкой отозвавшись на Ленину тираду, что талант — он талант во всем, Васса с легким вздохом заметила, что ее восемнадцатилетний балбес не любит этого блюда и завтра, в день обязательного сыновьего визита, ей придется еще раз встать к плите.

Мгновенно прикинув разницу в их возрасте и придя в связи с этим в некоторое замешательство, Леня растерянно спросил:

— Во сколько же ты его родила?..

— В шестнадцать, — небрежно ответила Васса и с превосходством добавила: — Представь, не только знала, на что шла, но и хотела этого сознательно!

— Но зачем?! — поразился он.

Она взглянула на него с крайним изумлением.

— Для работы, конечно... Я уже тогда прилично писала маслом.

— И что? — не понял Леня.

Васса усмехнулась.

— Видишь ли, художник должен как можно раньше пережить все, что только можно, должен как можно раньше и наплакаться, и настрадаться, и насмеяться, тогда палитра будет ярче, гуще, страстней, ибо замешана на крови, а не на уме, ясно?!

— Ясно, — смущенно пробормотал Леня и почему-то с тоской обернулся на дверь.

Она вздохнула и встала из-за стола.

— Ничего тебе не ясно. Привык жить по шаблону — и спокоен. Впрочем, не ты один...

Леня, встретившись с Вассой, поначалу продолжал искать и новых знакомств, но когда они всплыли, неожиданно понял, что вроде ему этого уже и не нужно. И вот почему: во-первых, Васса больше не заводила с ним разговоров, подобных тому, что возник при первой встрече; во-вторых, начав смеяться, плакать и страдать еще в отрочестве, Васса к своим тридцати пяти годам подошла спокойной, устало-трезвой женщиной, умеющей многое терпеть, кое в чем уступать и вдобавок научившейся ценить не прелести жизни, а саму жизнь, в-третьих, вынеся своему "балбесу", когда тому было всего двенадцать вердикт о необходимости жить с отцом, она строго его придерживалась и желала видеть сына лишь раз в неделю, что Леню очень устраивало; в-четвертых, картины Вассы, написанные в манере эпохи Возрождения,

совершенно как бы не современные, пользовались спросом, в деньгах весьма ощутимым. Поэтому Васса — одна из немногих Лениных знакомых — не умирала в очередях, а то скудное, что шло по талонам, отоваривал ей сын за приличное вознаграждение, и Леня, конечно, не собирался отнимать у него заработок; его радовало и то, что не будет упреков по поводу его относительно скромной зарплаты, а заодно и то, что в их дом не будет проникать злобная аура, неизменно сопровождающая человека, простоявшего три часа в очереди за мясом; в-пятых, Васса почти не пила и не курила, считая это искусственным взбадриванием, обмельчающим способность души водить рукой по холсту; в-шестых, Васса любила порядок, а поэтому наняла домработницу, и хорошо готовила, полностью выпадая из Лениного представления о безалаберности художников.

Поэтому однажды Леня сделал ей предложение. Васса сначала взглянула на него с недоумением, а затем вдруг обрадовалась:

— А что?.. Это идея! Действительно, пора попробовать и замужества!

Леня удивился:

— Но разве ты не была замужем?

— Нет, конечно, — тоже удивилась она, слегка пожимая плечами.

— А... как же отец Егора?

Васса усмехнулась.

— Ну, отец, и что? Когда мы сошлись, мне было пятнадцать, а ему двадцать семь, он был женат, и уже, по-моему, в десятый раз.

— Но... как же вы сошлись?! — поразился он.

— Так, как сходятся художник и натурщица.

Леня чуть не задохнулся:

— Ты была натурщицей?!

— Естественно... Я же тебе сказала, что прошла через все, — спокойно напомнила она.

Леня удрученно замолчал.

- Что, раздумал? — усмехнулась Васса.
- Да нет... — неуверенно проговорил он.
- Как скажешь. Мне и так хорошо.

Прожив с Вассой еще месяц, Леня отбросил возникавшие порой сомнения: в конце концов, и его прошлая жизнь не была ангельски праведной, если не сказать наоборот.

Когда уже отметили подачу заявления в большом кругу друзей с обеих сторон, Васса, убирая со стола, вдруг сказала:

— У меня к тебе только одно условие: никогда, ничем и никак не касаться моей творческой жизни. Я накладываю на это жестокое табу и, если что, дам тебе знать, когда меня нельзя трогать, во всех смыслах этого слова. — Обернувшись к нему и прочтя растерянность в его взгляде, Васса тепло улыбнулась. — Не пугайся, ничего криминального тебя не ждет. Сравни это с собственным сном: засыпая, ты уходишь, проваливаешься, исчезаешь и утром не помнишь, где и чем жила твоя душа. А если помнишь, то тебе меньше всего придет в голову осуждать себя за содеянное во сне. Может, ты там убивал, грабил, насильничал или, напротив, пел в церкви, но это всего лишь сон, уход в нереальность...

— Да мне и не снится ничего такого, — изумленно пробормотал он.

— Снится! — уверенно сказала Васса. — Ты просто не помнишь. Вот считай, что и я в своей работе, как в снах — наяву — не помню жизни.

Леня поежился.

— Слушай, Васса, лучше бы ты со мной о таком не говорила, я всегда почему-то пугаюсь...

Она покачала головой.

— Боже мой! В каком еще зачаточном состоянии пребывает твоя душа... Как ты, должно быть, счастлив!

— Да уж... — с приятной неуверенностью проговорил он.

Свадьбу отмечали дома и в кругу все тех же друзей. Но если друзья Лени поставили себе цель выпить за все, что было, есть и будет, то друзья Вассы увлекались скорее содержанием тостов, чем тем, что их укрепляло. Пили же они беспорядочно и все сами по себе: просто наливали и опрокидывали рюмку тогда, когда этого требовала душа, вовсе не считая, что сей факт надо сопровождать торжественными словами, к чему не привыкли Ленины друзья и от чего они поначалу сильно растерялись. Когда подняли тост за здоровье молодых, друзья Вассы, даже не пригубив, принялись рассуждать, а так уж ли верна мысль "В здоровом теле здоровый дух", и пока не доказали всем, и себе в том числе, что это чушь, не успокоились.

Валера, хороший Ленин друг, к середине вечера все же сориентировался и стал просто предлагать выпить, а Лене шепнул: "Замумукали, гады!"

Леня, старательно пытаюсь вникнуть во все то, о чем говорили гости, затем вдруг понял, что если их речи записать на магнитофон, то на всю оставшуюся жизнь исчезнет нужда в снотворном. К концу вечера он уже так откровенно зевал, что Васса сделала ему замечание.

— Васюль, скучно! — простонал он. — Хоть бы потанцевали...

Васса недовольно покачала головой и отстранилась от Лени. Когда гости засобирались домой, он наконец-то оживился и так резво кинулся в прихожую подать дамам пальто, что Васса сделала ему замечание еще раз.

Но, пожалуй, это было единственным, что омрачило семейное Ленино счастье в последующие месяцы, ибо Васса, в связи с предсвадебными хлопотами почти забыв о мастерской, после свадьбы бросилась наверстывать упущенное. Однако по вечерам, когда Леня возвращался с работы, его ждал вкусный ужин, а сама Васса занималась домашними делами или читала, и

ничто в ней не выдавало художницу. И даже если у Вассы гостили ее друзья, это не было уже так утомительно, как в день свадьбы: намеренно или нет, но гости приходили тогда, когда Леня работал во вторую смену, а к его возвращению компания почти готова была разойтись, и лишь ради приличия с Ленией выпивалась рюмка или две. Кроме того, уважая Ленину страсть к видеофильмам, гости всегда оставляли ему что-то новенькое и забористое в плане души или тела, и за это Леня очень любил друзей Вассы, оценив их ненавязчивость и понимание всеобщих интересов.

Так прошло месяца три которые Леня прожил с нарастающим удовлетворением от правильности выбора именно такой жены, пока однажды, вернувшись домой в обед и, не застав Вассу, он вдруг от скуки не решил посетить ее мастерскую. Скука мгновенно прошла, стоило ему взглянуть на холст, где красовался он сам, едва задрапированный в том месте, где это было категорически необходимо. На картине он, вставая с помпезного ложа, тянулся за роскошным бархатным халатом, а из-за его спины выглядывала пышная гологрудая красotka, с отчаянием пытаясь его удержать, в то время как Леня имел лениво-пресыщенное лицо и был намерен-таки одеться.

Покидая мастерскую с чувством глубокого ошеломления, Леня почти тут же услышал скрип открываемой входной двери и раздраженный голос Вассы, обращенный, видимо, к тому, кто входил за ней следом.

— Ты дома? — неприятно удивилась она, увидев Леню, и, перехватив его изумленный взгляд, холодно сказала: — Знакомьтесь, мой муж Леонид, а это мой натурщик Павел.

Леня испуганно протянул Павлу руку, ревниво отмечая, что тот и великолепно сложен, и очень красив. Между тем Васса, взглянув на часы, торопливо проговорила:

— Ты извини, но мы все-таки поработаем.

Павел ленивой, но вовсе не расхлябанной походкой направился в мастерскую, а Лене было предложено сварить кофе. Вот тут до него и дошло, что на той картине ему принадлежало только лицо, а вставал с постели и тянулся за халатом именно Павел. А если бы тянулся он сам, то и живот должен был быть побольше, и ноги потолще, и вообще... И Леня покраснел от досады.

Сварив кофе и робко постучав в дверь, он услышал раздраженное "сейчас". И все-таки, когда Васса брала из его рук поднос, Леня успел рассмотреть совершенно обнаженного Павла, курившего лицом к окну. Васса, усмехнувшись, бросила, что подглядывать нехорошо, и быстро закрыла дверь прямо перед его носом.

Часа через три Павел ушел, но Леня слышал, как на прощанье Васса ему сказала, что если он еще раз так сделает, то пусть пеняет на себя. Поразило его, что Павел не только не извинился, но и сердито посоветовал Вассе избавиться его от нотаций, иначе он вообще больше не придет.

— Жрать захочешь — прибежишь! — зло и грубо ответила Васса, а затем яростно хлопнула входная дверь.

Спустя несколько минут Васса наконец появилась на кухне, где уже сидел Леня, и со страшным грохотом начала переставлять кастрюли.

— У тебя неприятности? — мягко проговорил Леня, полагая, что так должно быть принято между супругами.

Васса, коротко взглянув на него и брезгливо сжав губы, ничего не ответила. Тогда Леня обиделся и сказал:

— А я, между прочим, узнал себя на картине и хотел спросить, с какой это стати...

Тут в Леню полетела тарелка, и он еле успел пригнуться. Вскочив, он ошарашенно уставился на

Васса. Та, скрестив руки на груди, спокойно и даже с усмешкой произнесла:

— Ты, поганец, нарушил договор и поплатился за это! Только учти: второе твое посещение мастерской станет последним!

— Но, Васса, послушай... — изумленно начал он.

— Нет, это ты послушай! — перебила она его. — Послушай и выучи наизусть! У меня в доме вашего любимого колхозного строя нет! Мое — это только мое и ничье больше! И без всяких навесных замков!

— Но, Васса, ты никогда мне не запрещала бывать в мастерской, — торопливо заговорил Леня. — И потом, ты забыла, ведь прямо в первый же вечер ты сама меня туда привела и стала рисовать!

— Я ничего не забыла, — холодно сказала она. — Это ты запамятовал, что был туда приглашен. — И повторила по слогам: - При-г-ла-шен!.. Чувствуешь разницу?!

— Конечно, — растерялся он.

— Так вот, возьми это за эталон и старайся вообще всегда и во всем чувствовать разницу! Это избавляет от многих разочарований.

Леня опять — и уже очень сильно — обиделся и нашел в себе сарказм, чтобы сказать:

— Но я вижу, этот совет не мешало бы использовать и тебе!

— Что-о?! — поразилась она, как если бы вместо человеческой речи Леня вдруг заквакал или замычал.

— А то! — с пафосом воскликнул он. — Может, я и сделал промашку, но, во-первых, я тебе не натурщик для подобного тона в разговоре, а, во-вторых, ты еще не объяснила, почему врисовала мое лицо в эту похабную картину!

Васса, устремив на него долгий и презрительный взгляд, затем нехотя проговорила:

— Извини, я была не права. — И вышла из кухни.

А Леня вдруг оделся и уехал к себе домой. Войдя в квартиру, он тут же отключил телефон и, поужинав

банкой китайской ветчины, с удовольствием улегся к телевизору, решив про себя, что, пожалуй, неделю он доживет здесь, но обязательно при отключенном телефоне, а так как Васса ни рабочего телефона, ни его адреса не помнила, то единственно от него теперь будет зависеть, захочет ли он вернуться. Но ни насиловать, ни уговаривать себя Леня не собирался: вот сможет душа очиститься, тогда да, он поедет к Вассе, а нет, так и суда нет.

Прошло три дня, прежде чем Леня поймал себя на раздумьях, а так ли уж верно он поступил, уехав. Промучившись выходные, он в понедельник решил вернуться.

Васса встретила его поцелуями и просьбами о прощении, тут же записала его рабочий телефон и адрес и дала обещание сдерживаться, но и с Лени взяла обещание свято помнить о наложенном табу на все, что касается мастерской, а затем со смехом созналась, что в эти дни ее только и выручало Ленино лицо на той злополучной картине, ибо искать его через друзей ей было стыдно. Леня, растаяв, разрешил Вассе пририсовывать себя даже к лошадям.

Счастливая супружеская ночь не только окончательно смыла взаимный осадок от ссоры, но и дала какой-то освежающий импульс их дальнейшим отношениям. Однако себе Леня не мог не сознаться, что теперь его так тянет в мастерскую, что лишь большим усилием удастся сдерживаться. Поэтому он очень обрадовался, когда заболел гриппом и получил возможность с утра до ночи находиться в квартире. И, естественно, в первый же уход Вассы из дома (на рынок, за лимонами для него!) он устремился именно туда.

Новая и почти законченная картина Вассы его сразила куда сильнее, чем первая: здесь Леня сидел, приподнявшись на подушках все в той же роскошной постели, а в нужном месте его чресла были прикрыты согнутой в колене ногой, принадлежащей ... Павлу! Вдобавок ко всему растрепанная голова Павла поко-

илась у него на груди, и Леня ласково запускал пальцы в его шевелюру, имея при этом блаженную улыбку.

— Эт-то что такое?! — беспомощно проговорил Леня, отступая. — Совсем она озверела, что ли?!

В этот момент ему вдруг показалось, что открывается входная дверь, и Леня, холодея от ужаса, выскочил из мастерской и зайцем шмыгнул к себе в постель. Сердце билось так, что звенело в ушах, но уже через минуту он понял, что скрип входной двери ему только почудился.

Когда Васса вернулась, у Лени уже был готов некоторый план. Отхлебывая чай с лимоном и повышенно восхищаясь заботами жены, он вдруг небрежно спросил:

— Васюль, а та картина, где я тянусь за халатом, уже ушла?

Васса усмехнулась.

— Разумеется. Она ушла, говоря твоими словами, еще задолго до того, как была написана. Это же заказ, неужели ты не понял?

— Не понял? — удивился он. — А откуда я мог это понять? Я и не знал ничего такого... И часто тебе заказывают?

— Всегда. Только тем и живу.

Леня с облегчением вздохнул.

— Значит, это не для души?

Она возмущенно фыркнула:

— Для души?! Да что у меня душа — помойка, что ли?!.. Это просто работа, поденка. Ведь иногда такую дурь заказывают, просто тошно... Но, представь, чем круче дурь, тем выше плата. Сейчас, например, завершаю откровенный для меня бред... — И вдруг, замолчав, она пытливо уставилась на Леню. — А ты, дружок, случайно не видел?!

К этому вопросу Леня готовил себя все то время, пока Васса отсутствовала, а потому с хорошо отрепетированным обиженным изумлением воскликнул:

— Ну что, уже и спросить ни о чем нельзя?!

Она извинительно улыбнулась и похлопала его по руке.

— Не заводись, не заводись, я просто спросила.

— Договорились же... — с отголоском обиды сказал Леня и осторожно продолжил: — А что за бред-то?

— Бред — он и есть бред, — усмехнулась Васса, поднимаясь. — Пойду готовить ужин, купила великолепной телятины, а тебе надо поспать, ты какой-то бледный.

“Будешь тут бледным”, — подумал Леня, с тоской и брезгливостью представляя, какие еще сцены ему предстоит пережить в тех табуированных снах, которые навязывает ему Васса.

Уже за ужином и опять как бы между прочим Леня спросил, использует ли Васса его лицо. Она сразу насторожилась.

— А что, тебе неприятно?

— Да нет... — испугался Леня.

— Понимаешь, — задумчиво начала она, — твое лицо как-то удивительно вписывается тогда, когда закладывают особенную дурь...

— Ну, спасибо! — обиделся он.

— Да не в этом смысле! — раздраженно проговорила Васса. — Просто у тебя такой типаж... Я ведь до свадьбы натурщиков пять сменила — ну не то и все!.. Главное, некоторые были в жизни куда дурей, чем самая крепкая дурь, но начинала писать лицо и чуть не плакала, до того получалось бездарно. А ты мне понравился сразу, я потому и писать тебя сразу кинулась: а вдруг, думаю, исчезнет, так я хоть одну картину сделаю... Понимаешь, я из головы не могу, должна иметь натуру, иначе все получается откровенно лубочное, пустое и трафаретное.

Леня в страшной догадке даже встал.

— Так ты что, может, потому и замуж за меня вышла?!

Васса с улыбкой покачала головой.

— Ой, вскочил, да в гневе, Боже ты мой!.. А ты почему на мне женился? Полюбил, да?

Леня растерянно сел.

— То-то же, — с ласковой усмешкой заключила она.





Я родилась в шесть вечера, в четверг в Кирово-Чепецке, небольшом городке Кировской (ранее и ныне Вятской) области, а с пятнадцати лет живу в Ленинграде — Санкт Петербурге. Этот город меня настолько очаровал, что я не стала ни лепищиком, ни журналистом, ни мастером производственного обучения, ни лаборантом хим. анализа, ни профессиональной певицей... Кем я не стану еще, пока не знаю.

Люблю фольклор (более десяти лет пела в ансамбле), люблю смотреть сны, писать стихи и просто люблю... "Первый" появился в первый месяц тысяча девятьсот девяносто первого года.

ПЕРВЫЙ

Пингвин! Опять куда-то эта дверь запропала! Ну куда, куда она провалилась?! Ч-чеерт, здесь ее тоже нет, и под этим барахлом не видно. Ну где? Где эта... пингвин поганый!! Ну почему мне всегда так не везет? Все против меня! Где? Где? Почему? Там?? У-уффф, жарко! Пингвин проклятый... Вспотел даже, весь мокрый!

Х-хррясь! Х-хрром! Швых! Ш-швахх! Ф-фффф!! Ну где же? Где эта дверь? А-аа, пропади все пропадом! Надоело!!! Вытащу этот щит, да и припру пока, а... потом...

Стоит!

Прости, прости, дорогая, ну не виноват я. Не хмурься, пожалуйста. Пойдем, а? Да-да, конечно, сейчас помогу тебе; ну, вот-вот, еще, еще немного... Что, затекли совсем? Ну ничего, пройдет... Как сейчас, лучше? Все еще дуешься? Забыла бы, передвигаешься ведь. Ой, хватит, перестань, пожалуйста. Я так спешил, так спешил, бежал к тебе... Дышу еле, в ногах колики, живот чего-то пучит, голова разболелась и вообще меня знобит всего. А ты-ы, даже не пожалеешь. Вот так всегда. Да я же о тебе думал, к тебе спешил. Не виноват я. Не я виноват. А ты вместо того, чтобы кинуться мне навстречу, пожалеть меня, стоишь как кикимора с этим бантиком на голове. Ну зачем ты этот пога... противный розовый нацепила? Ведь говорил же, что голубой в горошек лучше. Мало ли что тебе кажется, я-то лучше в этом

разбираюсь. Выбрось сейчас же, я тебе потом другой подарю.

Что? Ну вот, а сюда-то зачем заходить? Какой? Совсем-совсем раскололся? Да может его еще какой проволочкой скрепить? Думаешь, протечет? Ладно, давай я сам, сам потом посмотрю что-нибудь придумаю. Вот умница. Ну, или в крайнем случае пока так попользуешься.

Хорошо с ней, легко дышится. Только уж больно обидчивая попалась. Или замолчит вдруг ни с того ни с сего. Что вот опять? Говорит вроде, улыбается, а не так как-то, что-то не совсем, как обычно, и левый мизинчик вот опять задержался — верный признак, что не довольна. И чего, спрашиваю, случилось? — молчит. И ничего, говорит, не хочется. Ну что? Что с ней происходит? Да я все что угодно для нее сделаю, лишь бы развеять этот сквозняк в голосе... А вот возьму и отвезу ее, прямо сейчас, на этот, наш самый любимый островок на Таити! Знаю же, знаю, что именно это — ее давнишняя мечта. Пусть порадует, отдохнет, а я просто посижу с моей девочкой и позволю ей от души порезвиться на карнавале. Она будет великолепа в том наряде из вуали, который я так удачно перевил крашеной лианой. Да... Хотя — нет, это долго... а мне бы завтра поздравить этого... начальника прошлой моей экспедиции. Да, и опять-таки, пингвин... с опытами бы разобраться надо. Так что, пожалуй, пусть одна едет, развлекается. Хотя — нет, как это — одна? Я? Я — останусь? Нет уж, лучше мы — здесь, но вместе. Разве не прекрасно: я работаю с образцами, разбираю всю эту огромную свалку; тяну, вытаскиваю из кучи именно те, нужные пучки, а она пусть сидит рядом. И когда на моем лбу крупными зернами выступит пот, тихонько подойдет и так заботливо, едва касаясь, проведет своей ладошкой, снимет влагу усталости... а потом, потом не выдержит, принесет щипцы, сведет брови-стрелки и будет пытаться мне помочь. Но что она может своими прекрасными ручка-

ми? Нет уж, пусть лучше сидит рядом, а я буду чувствовать это и выдирать, выдирать проклятые пучищи. А все эти большие и мелкие облепившие их отростки полетят в разные стороны! И именно ее присутствие отвлечет меня от этого резкого, ни с чем не сравнимого запаха. А потом, когда я, наконец, завершу свой труд, она принесет мне удивительный нектар из пыльцы молодого цветка айи. Я спущусь к морю и подожду пока она не позовет меня нежно и не скажет: смотри, на этом зеркальном полу нет даже маленького кусочка отростков, и в комнате уже свежий воздух! Эх, знала бы ты, что я о тебе думаю! А то придирки по пустякам, намеки какие-то, обиды... И все эти мелочи, о которых ты напоминаешь... Да, подарил какие-то безделушки всем друзьям-приятелям и даже бывшему начальнику прошлогодней экспедиции к празднику Третьей Четверти Луны. Но ведь это же ничто по сравнению с тем, что делаю я для тебя! Ну разве может сравниться какой-нибудь размалеванный болванчик с таким большим, по-настоящему большим делом, как, например, мои постоянные мысли о твоём счастье?! Ведь постоянно-то я о тебе же, не о них думаю и очень много энергии трачу на это. И никакого сочувствия... Ну разве не я раздобыл новое седло для твоего гнедого? Оно такое удобное и красивое, а я уже заканчиваю чеканку на его стремени. Ты же опять колешь своим недоверием. Вот сказала, что конь скоро совсем не подпустит тебя к себе, а значит, эти вещи не смогут пригодиться. Разве я не разрываюсь на части, чтобы сделать этот большой подарок? Где же, где мне взять на все время? Ты же знаешь, как выматывает меня этот эксперимент и что я должен, должен его закончить. И еще разведение новой породы птицы Сирин... разве не для твоего удовольствия? Ее нужно кормить, переносить тяжелую клетку с места на место в зависимости от солнца. Ты же знаешь, что я еще ни разу тебе ни в чем не отказал. И сама видишь, какого труда стоит перетащить эту клетку. Пингвин поганый... Ведь иногда мне становится невмоготу и я прошу тебя поддер-

жать ее, чтобы передохнуть. Конечно же, ты не можешь этого не знать: однажды скоба поцарапала тебе руку... Нет, больше я никогда не допущу твоих страданий. Ты просто будешь рядом, и тогда мне все станет нипочем. Ну и ... вообще... сможешь убедиться, какой я сильный, выносливый мужчина. Да, как я хочу сделать тебя самой счастливой! А ты и не подозреваешь об этом. Ну где тебе знать, что может испытывать мужчина. Идет себе и идет, губки поджала...

Ну, что ты все хмуришься? Или что-то болит? Нет? Вот и отлично. Улыбнулась даже. Господи, да неужели она не понимает ничего? Неужели не чувствует? О-о-о... Ну как, в самом деле, сказать ей об этом?

Милая моя, ты так хороша сейчас с этими мокрыми волосами, облепившими твоё лицо, покрытое каким-то мелким бисером... А эти черные капли под глазками делают тебя даже милей. Что? Идет дождь, а у тебя нет отталкивателя? А-а-а, у тебя от этого размазалась краска, и щиплет глаза? Надо же, вот никогда не подумал бы. Ну ничего, вот сейчас я тебе подотру тут, еще здесь немного. Щиплет? Бедненькая, ну давай, намочи платочек поильней, и я тебя умою. Вот хорошо. Теперь совсем хорошо. Я не понимаю: зачем эта краска вообще нужна? Ладно. Смирюсь. Жаль, конечно. Хотя... вот и помада на ее губах странного цвета, зачем она такой намазалась?

А, естественный... Посинели? С чего бы? Замерзла, говорит. Не знаю: как так можно, вот я же рядом, и ничего, совсем никакого холода не чувствую. Сейчас, пожалуй, еще скажет, что обещал подарить последнюю модель с той выставки. Ну и обещал, помню же. Вот если б не напоминала... Да и что я сделаю? Что? Если так ни разу и не увидел. А вот вспомни-ка, вспомни, как мы вместе заходили в маленький такой, угловой и неприметный. Да, давно, еще прошлой осенью. И, главное, возможность была. Не захотела. А я предлагал. Расцветка! И что из этого? Ну-у-у, а где я тебе с тем механизмом возьму? Что, у меня других проблем мало? Искать...

Увижу где — подарю. Сказал же. А уж это не твоя забота — когда. Нет-нет, посмотрите-ка, это я-то не люблю? Другая бы, а... Все. Все. Хорошо. Успокойся. Я не прав. Моя.

И чего не купил тогда? А сейчас я виноват, конечно. Но кто тогда уговорил ее на эту замечательную горку для ее трубочек? Разве не я все время мучился, думая, как бы поскорее раздобыть этот... пингвиний ящик, без которого она, видите ли, жить не могла. Кстати и хорошо, что ту модельку не взяли, да и черный мягкий обматыватель оказался... А то до сих пор, наверное, нет-нет, да и напомнила бы, что ей некуда трубочки складывать. И вообще, надо как я: обходиться тем, что есть. Вот когда разрядятся мои держатели, тогда и думать буду, где взять другие. А ей, видите ли, все чего-то хочется. И это износилось, и то бы обновить, и колечко, и брошечка — прелесть... И на карнавал опять же просится, и даже на станцию взлетов ее не вожу! Хочется новое платье надеть? А зачем покупала? Да и вообще, если куда-то заходить, то только по пути, и никаких переодеваний. Я так считаю. А вчера! Подумать только! Стала доказывать, что ее вклад в нашу коллекцию больше! И что она, если уж вынимает экземпляр, то знает, для чего и зачем. А я, мол, я — самые ценные экземпляры — выбрасываю! Да как!.. Пингвин поганый... И вообще: коллекция — моя! И откуда бы вообще взяться-то ей, если бы я не ездил в экспедиции? Вот! Захочу и выброшу!.. А то: моя, моя, без разрешения... Говорит, что и сама могла бы набрать, да я ее с собой не взял. Пожалел ведь! Пусть, думал, отдохнет, один справлюсь. И ведь планы-то у нее совсем нелепые: все шленцы-бленцы или об этих, как там... больших таких говорила. Не плохо бы заиметь, конечно, но ведь не в этом смысл, к чему голову забивать? Нет, я ей еще докажу... А то все сплошные упреки, недоверие. Может, обвести кружочком, где мои, где ее? Правильно. Пусть видит. Делить не будем. Зачем? Вместе ведь, как-никак. Помнить — помни, но пользуйся, как прежде. Мне для тебя ничего не жалко. И люблю я

только тебя одну. Вот уже и губки заалели, и хохолок все так же мило топорщится.

Милая, может, ты хочешь чего? Не знаешь? Подумай, подумай, не тороплю. Знаю! Ты же так любишь сладкие шарики! Заулыбалась, смутилась,.. говорит, что рядом нигде нет. Ничего, найдем, лишь бы она еще разок так же поглядела на меня. А этих пушистых не хочешь? Лучше бы шариков? А чем эти плохи, и ехать никуда не надо... Бери, сколько хочется, разных. Выбирай, выбирай, не стесняйся. Да-да, и эти можно. Те, с завитушками? — Обязательно. Отлично! Ой, вспомнил, часть я возьму: завтра же мне к начальнику бывшей экспедиции... Сама понимаешь, неудобно как-то с пустыми руками... Вот опять. Ну что произошло? Объясни. Нет, я хочу знать. Хотел порадовать тебя, приятное сделать, а ты... Скажи, я не прав? Съешь, съешь все сама. А я завтра просто никуда не пойду. Буду весь день только с тобой. Что? Поехать все-таки? Конечно, ты — умница. А начальник этот, сама понимаешь... Ну что? Все в порядке?

А-ах, моя милая, вот за это я тебя и люблю. Только не обижайся, пожалуйста, и улыбнись, улыбнись. Я так люблю тебя, когда ты веселая и всем довольна.





Я — оптимист, ибо верю, что всегда может быть еще хуже, чем уже есть. А хочется представить так: дескать, прилетела я с Альфы Центавра и застопорилась. Не намеренно, конечно, просто произошел сбой, замыкание, по крайней мере, ощущение именно такое. Эдакий выпавший д;х.

Земной отрезок моей биографии пока особого интереса не представляет: школа, временные заработки, увлечение альпинизмом, поступление в Литинститут в знаменательный год разгрома ГКЧП, экзамены между бдениями у стен Белого дома, публикации в сборниках и журналах фантастики. Пишу прозу, фантастику, стихи. Пишу, ибо живу.

— Наверное, для начала, чтобы лучше познакомиться, я выскажу свое кредо, и пусть в дальнейшем не будет никаких недоумений, недомолвок и расчетов. Предельная ясность во всем — условие для нормальной работы, и потому в своей новой должности я откроюсь максимально с тех сторон, с которых, возможно, меня мало кто знал. Я не боюсь общественного мнения, и потому буду предельно откровенен. В какой-то мере этот анализ поможет и мне поставить все точки над "i" в отношении самого себя. Итак, начнем с того, что себя я считаю человеком положительным. Это мое право, и от него будем плясать. Вот. Значит, во-первых, я лично живу разумом, это главное, и считаю глупыми тех, кто подчиняется чувствам. Понятно, поэтому, что пытаться разжалобить меня совершенно бесполезно. Пробить меня можно лишь аксиомой или логически неопровержимым анализом. Женщины, я смотрю, как сугубо чувствительные создания, сразу сникли. Ну уж выбирайте, родные.

Новоиспеченный зав.кафедрой убрал упавшую на глаза прядь волос, поправил очки и, прикинув мысленно: дотянет ли почти оторвавшаяся на пиджаке пуговица до конца заседания, продолжил:

— Чувства — это инстинкты, приближающие нас к животным, а разум — это человек. Все можно объяснить им, даже чувства, если их хорошо проанализировать.

Разлад в личности, а там и распад начинается, когда допускаешь ненужные эмоции и чувства, которые ничего, кроме усталости и разочарования, не приносят. Все-таки логика — превыше всего, и это самое положительное явление в жизни. Понятно, да?

— Тогда перейдем к пункту два. Во-вторых, все равноправны. Сомнений не вызывает?

— Нет.

— А зря. Для меня равноправие состоит в том, что я не вижу различий между мужчиной и женщиной. Не вижу и не принимаю. Почему женщине надо уступать, хотя б и в морали, с какой стати? Лично я гораздо чаще симпатизирую мужчинам и услуживаю в мелочах именно им. Все должны быть равны, но не тождественны. Поэтому ничего нет глупее гармонического развития личности. Всех людей, как мужчин, так и женщин, — и это третье — я ценю только по уму. Моральные качества для меня не имеют значения. Только ум, дорогие мои, ум и логика. А самые умные люди, кстати, циники.

— А красота для вас, выходит, ничего не значит? — поджала удивленно губы секретарша.

— А что такое красота? — скривился зав.кафедрой. — Как таковой ее не существует. Она весьма относительна, это, скорее всего, просто выработанные привычки и взгляды на то, что хорошо, а что плохо. Я не признаю это искусственное понятие. Можно, конечно, приучить себя к чему угодно: к красоте, поэзии, музыке. Но зачем? Я из принципа не желаю себя к чему-либо приучать. Целесообразность — еще куда ни шло. Ее можно математически выразить, объяснить, рассчитать, сконструировать, а красота — это, поверьте, чушь.

“А мы, кажется, пролетели, — подумал сидящий впереди седоволосый доцент в велюровом пиджаке, — и здорово пролетели”. Он вспомнил, как отстаивал недавно его кандидатуру, доказывая, что более чуткого и отзывчивого человека нет. Да так, собственно, и было. Ну вот, опять. А что, собственно, было? Был только странный вид, не похожий на вид других солидных за-

ведущих и деканов, расхлябанный и легкомысленный. Та странность и навела всех на мысль, что человек, подобного вида — либеральный, откровенный и простой.

— Вопросы будут?

— Который час? — спросила секретарша.

— Час собирать камни, — обтекаемо ответил доцент в велюровом пиджаке.

— Вы поддержите работу кафедры по дальнейшей разработке кибернетического интеллектуального устройства, имитирующего человеческое мышление?

— Безусловно. Считаю, что можно и нужно создать машину, во всем заменяющую человека, то есть свести все биологическое и энергетическое к механике, копированию и замене. Это трудно, но возможно. Что такое человек? Механизм, совокупность движущихся элементов (молекул, клеток, нейронов); его мысли, память, чувства — совокупность их взаимодействий. Следовательно, его можно свести к набору элементов, воспроизводящих или подменяющих все эти реакции, и он от этого ничего не потеряет.

— А моральный комплекс?

— Все программируется, дорогая. Я — материалист, голый. Прошу это всегда помнить. И — пожалуйста, без комплексов. Положительные герои — это только умные люди, а не сентиментальные моралисты, как в том хотят убедить нас. Это мой принцип — никогда не соглашаться с общепринятым, так как общепринятое обычно глупо. Но, даже не имея ничего святого и отвергая внутренне саму мораль, я за то, чтобы внешне всегда ее придерживаться. Чтобы не было хаоса. Вот так.

— Ну, а теперь перейдем к научной части нашего заседания. Наука — это двигатель. Это высший смысл и высшее оправдание. Кто-нибудь будет представлять в этом полугодии?

— У меня почти готова работа, — вызвался пожилой ассистент, — "Новые соображения по топологии пространства".

— Прекрасно. Но учтите: если вы введете в свою топологию, в нашу топологию еще одно измерение, кроме реально существующих трех, я руки вам больше не подам. Все эти искусственные штучки уже надоели. А как там с кибернетическим устройством?

Посчитав нужным встать, доцент в велюровом пиджаке заложил руки за спину и, проследив взглядом за падением перламутровой пуговицы с пиджака заведующего, начал:

— Вообще-то мы в этом направлении пошли по совершенно иному пути. По пути естественного накопления информации. Зачем все эти извороты с запихиванием новых информационных файлов, когда самый простой путь уже придуман, и это — опыт. Опыт общения. Без этого устройства не будет. Несколько лет назад мы создали кибернетический зародыш, способный развиваться по аналогии с естественными эмбрионами и вбирать в себя всю поступающую в него информацию, со своим способом сортировки, хранения и классификации ее. Ребенок рос, не подозревая о том, что он — кибер. Программы работали бесперебойно, и имитация поведения была абсолютной. И — вот результат.

— Какой результат?

— Вы. А то, как будет дальше проходить эксперимент и развиваться программа адаптации, покажет время. Извините.



СОДЕРЖАНИЕ

Е.И.Трофимова.Вступительная статья	5
Нина Горланова. Любовь в резиновый перчатках	11
Елена Каплинская Не покупайте корову, если не умеете ее доить .	61
Алла Сельянова Новое поколение	101
Людмила Агеева Мы жили в Самарканде	129
Марианна Александрова Ненаписанное письмо	137
Светлана Боим Салат под русским соусом	145
Анастасия Волек Моя богиня	161
Надежда Голосовская. Болотный гость	171
Мария Кирпичникова. Моя краткая биография	181
Марина Палей Рейс	191
Рада Полищук Прощальная симфония	223
Ольга Татарина Сексопатология	243

Марина Урусова.	
Потенциал возможностей	271
Д.Я.Медман. От клуба "Преображение"	286
Ольга Лобова.	
Лёнины сны	289
Ольга Ложкина.	
Первый	303
Любовь Романчук	
Кибер	311

Фирма «АМРИТА»

производитель мягкой мебели
для офисов и квартир,
поставщик пищевых концентратов из Израиля,
эксклюзивный представитель
всемирно известной
фирмы Чехии «ТЕСЛА ГОЛЕШОВИЦЕ»,
готова представлять интересы различных
предприятий и организаций на рынке
стран СНГ и за рубежом.

*Россия, 113556, Москва, ул. Фруктовая, 5, корп. 3.
Тел.: (095) 316-91-09, 316-92-40, 113-04-56, 113-06-14
Факс: (095) 316-91-18*



Издательство «МНОР»

приглашает к сотрудничеству
серьёзных партнёров,
заинтересованных в выпуске
высококачественной детской,
художественной, развивающей
и обучающей литературы.

Издательство является собственником
оригинал-макетов ряда детских
иллюстрированных книг,
полностью подготовленных к производству.

Россия, 113556, Москва, ул. Фруктовая, 5, корп. 3.

Тел.: (095) 113-06-14

Факс: (095) 316-91-18

Литературно-художественное издание
ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА...
Сборник

Редактор *А.Воздвиженская*
Компьютерная верстка *О.Симагина*
Набор *И.Борисова*
Корректор *М.Семакова*



Издательство "Линор" ООО "Амрита"
113556, Москва, ул. Фруктовая, д.5, корп. 3
Формат 70x100/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Заказ 153 тираж 10000
Отпечатано МП "Агро-принт"

“У Евы все, казалось, было
легко и просто — она хотела,
выходила замуж,
хотела, не выходила,
спала, с кем хотела,
вообще, делала что хотела
и ничего не боялась...”

О.Татарина “Сексопатология”

“Все мужчины подлецы,
кроме Игоря!”

Н.Горланова
“Любовь в резиновых перчатках”

“...потому что светлый взгляд
женщины, напоенный покоем
и смыслом, и невыразимой
благодарностью, послан
именно Ему, и до обидного
глупо, если взгляд этот,
рассеясь в пространстве,
не в силах Его достичь.”

М.Палей “Рейс”